This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

КА
...ник. маг.
...ЛЕКСМАНЪ
...auer Str. 3
...ate 285, 286
5340

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Teleshov, N. D.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

К. Телешовъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

РАЗСКАЗЫ.

5340

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1903.

Teleshov, N. D.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

Н. Телешовъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

РАЗСКАЗЫ.

5340.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1903.

PG3470
T37A15
v.1

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“. Фонтанка, 86.

Содержаніе.

	стр.
Пѣснь о трехъ юношахъ	1
Домой!	11
Нужда	27
Елка Митрича	37
Съ Богомъ!	49
Противъ обычая	63
Сухая бѣда	79
Счастливецъ	139
Сумерки	155
Хлѣбъ-соль	167
Дѣти	179
Дуэль	265

Въ первый томъ, кромѣ новыхъ, вошли нѣкоторые разсказы изъ сборниковъ «На тройкахъ» и «Повѣсти и разсказы». Сборники эти разошлись и повторены не будутъ.

Авторъ.

ПѢСНЬ О ТРЕХЪ ЮНОШАХЪ.

I.

Было далеко за полночь, когда я вышелъ изъ дома. Все спало кругомъ и въ безмолвіи ночи гулко и одиноко раздавались шаги мои по кремневой дорогѣ. Обогнувъ небо, луна стояла уже надъ горою и яснымъ зеленоватымъ свѣтомъ заливала Желѣзноводскъ, по которому я проходилъ, и тѣнь моя шла впереди меня, длинная, блѣдная и косая.

На площади, на ступенькахъ церковной паперти меня ждалъ Халимъ, сидя съ поджатыми подъ себя ногами и безпечно покуривая; возлѣ него, понуривъ головы, стояли двѣ лошади подъ казацкими сѣдлами.

— Поѣдемъ,—сказалъ я Халиму, разбирая поводья.

Ночная свѣжесть бодрила меня.

Мы сѣли, накрылись бурками и, не разговаривая, тронулись по дорогѣ къ базару.

Залитый луннымъ свѣтомъ, какъ серебромъ, базаръ былъ пустъ и его досчатые шалаши, гдѣ цѣлый день галдятъ татары и казаки, стояли безлюдны и молчаливы, и всюду вокругъ было тоже безмолвно и пустынно, только топотъ нашихъ коней, ударявшихъ по кремню подковами, нарушалъ окрестную тишину и откликался эхомъ въ горахъ. И вмѣстѣ съ волнами свѣжаго ночного воздуха возвращались къ намъ эти отклики, мѣшаясь съ новыми звуками топота. Гокъ-гокъ-гокъ!—

сухо и отчетливо звучало въ долинѣ, и было похоже, что скачетъ насъ много всадниковъ. Подъ луннымъ сіяніемъ развертывалась передъ нами вся ширь съ лугами и холмами и было видно далеко окрестъ.

Миновавши базаръ, Халимъ повернулъ влѣво по лѣсной тропинкѣ. Сразу стало темно, душно и узко, и лошади пошли шагомъ, то шлепая ногами по лужамъ, то звонко задѣвая подковой о камень или спотыкаясь о корни. Кривой и частый лѣсъ, обступившій тропинку, и вначалѣ проникнутый луннымъ свѣтомъ, становился все глуше и темнѣе, и только листья наверху, колеблясь отъ вѣтра, то сверкали, то чернѣли, то крутились мелкими блестками, и казалось, что въ лѣсу идетъ волшебный серебряный дождь. Наконецъ, стало совсѣмъ темно. Защищая глаза отъ вѣтокъ и головы отъ сучьевъ, нависавшихъ надъ нашей тропинкой, мы ѣхали шагомъ, почти пригнувшись къ гривѣ коней, и часто впереди себя я слышалъ шумъ и шелестъ, а иногда и трескъ отстраняемаго Халимомъ сучка, и еще ниже и крѣпче пригибался я къ шеѣ лошади.

Время шло. Въ лѣсу было совершенно черно и душно, и я не подозрѣвалъ, что въ открытыхъ долинахъ поднялся уже предразсвѣтный вѣтеръ. Первый порывъ его встрѣтилъ меня врасплохъ, едва мы выѣхали изъ лѣса на поляну, и чуть не сорвалъ съ головы фуражку.

— Айда!—вскрикнулъ Халимъ и, ударивъ нагайкой коня, галопомъ поскакалъ впередъ по широкой зеленой луговинѣ.

У самой подошвы Бештау стояла сторожевая будка лѣсника; здѣсь мы остановились и сошли съ коней.

Передъ нами высилась крутая трехглавая гора, на вершину которой мы ѣхали.

— Какъ-то мы доберемся,—сказалъ я, глядя на кручу.

Сидя на корточкахъ и привалившись къ забору сторожки, Халимъ закуривалъ, и только тогда отвѣтилъ, когда уже пустилъ на вѣтеръ первый клубъ дыма.

— Чего-жъ не добраться,—на то человѣку и умъ данъ, чтобъ онъ зналъ, когда, что и какъ дѣлать,—загадочно проговорилъ онъ, щурясь на вершину.

Я сталъ ходить взадъ и впередъ возлѣ лошадей, разминая уставшія ноги, а Халимъ все сидѣлъ, курилъ и что-то обдумывалъ. Наконецъ, онъ спросилъ меня: что сталъ бы я дѣлать, еслибъ царь сказалъ мнѣ: или я отрублю тебѣ голову, или ты достанешь мнѣ коня, необыкновенной масти—ни вороной, ни бѣлой, ни сѣрой, ни рыжей, ни караковой, ни гнѣдой, ни чалой, ни буланой, ни пѣгой, ни саврасой и ни одной изъ тѣхъ, какія существуютъ на свѣтѣ.

— И красить чтобы нельзя! — строго подтвердилъ Халимъ.

Подумавъ, я сознался, что при такихъ условіяхъ мнѣ пришлось бы остаться безъ головы.

Халимъ усмѣхнулся.

— А я бы вотъ какъ сдѣлалъ, — проговорилъ онъ съ укоромъ,—я послалъ бы сказать, что конь у меня готовъ, и чтобъ за нимъ прислали, только не въ понедѣльникъ, не во вторникъ, не въ среду, не въ четвергъ, не въ пятницу, не въ субботу, не въ воскресенье, а въ любой другой день, когда будетъ угодно.

И Халимъ засмѣялся мелкимъ хитрымъ смѣхомъ и глядѣлъ на меня восторженными глазами, не то побѣдоносно, не то вопросительно.

II.

Далѣе дорога пошла уже круто въ гору, направляясь ломаной линіей: то вправо по косогору, то влѣво, то опять вправо, но все выше и выше надъ долиною.

Вскорѣ мы опять въѣхали въ лѣсъ, которымъ обросъ, какъ щетиной, Бештау. Начало опять темнѣть, и черезъ четверть часа, когда луну закрыло облако, мы пере-

стали уже видѣть что бы то ни было, кромѣ слабыхъ очертаній лошадиной головы, къ которой я плотно прижимался, спасаясь отъ вѣтокъ, бившихъ меня по бокамъ и фуражкѣ.

Лошади тяжело дышали, осторожно и медленно ступая по крутизнѣ; изъ-подъ ногъ ихъ сыпались мелкіе камешки, съ шумомъ катясь куда-то въ оврагъ.

— Халимъ!—то и дѣло окликалъ я своего спутника, затерявшагося во мракѣ.

Я ничего не видѣлъ. Передъ глазами стояла тьма и только по сторонамъ, точно разбросанный фосфоръ, зелеными искрами блестѣли тысячи свѣтляковъ. Луна, на минуту выглянувъ изъ-за тучи, освѣтила вдругъ черную пропасть вправо отъ нашей тропинки, по которой осторожно пробирались лошади, да влѣво—страшную чащу мелкаго, мрачнаго и кривого лѣса.

Проѣхали и этотъ лѣсъ, и снова очутились на лужайкѣ. Она была маленькая, на половинѣ горы. Къ низу отъ насъ сбѣгали овраги, а вверхъ змѣилась дорожка, опять также — ломаной линіей, до самой вершины.

Вѣтеръ усиливался съ каждой минутой. Рѣзче и яростнѣй нападалъ онъ на насъ, точно не хотѣлъ пускать выше. Его порывы немного сдерживалъ еще правый конусъ горы; но когда мы поднялись на площадку, совершенно открытую, вѣтеръ завылъ и рванулъ съ такою силой, что бурка моя взвилась и накрыла меня съ головою. Насилу я выбрался изъ-подъ нея.

Медленнымъ шагомъ, съ ноги на ногу, поднимались лошади въ кручу. Начинало свѣтать. Оставался послѣдній подъемъ—самый крутой и трудный. Мы были одни, на узенькой тропинкѣ, среди воздуха и вѣтра, и лѣсъ былъ ниже насъ и казался отсюда кустарникомъ. Халимъ часто оборачивался ко мнѣ и что-то кричалъ, но ни словъ, ни голоса не было слышно. Вокругъ все шумѣло, свистѣло, визжало и ныло. Это была дикая,

ни съ чѣмъ несравнимая музыка! Врѣзаясь въ высокую траву, густую и пахучую, вѣтеръ нырялъ по ней съ свистомъ и завываніемъ. Казалось, иногда онъ застревалъ въ ней и запутывался, но вдругъ вырывался на волю, злился и радовался, пѣлъ и плакалъ сквозь смѣхъ. Шаталась и стонала подъ нимъ вся трава, визжалъ онъ и самъ, раздувая вѣеромъ конскіе хвосты и дыбомъ поднимая гривы, и то бросался къ небу, то стремглавъ падалъ оттуда въ овраги, то, окруживъ вершину, бѣшено вертѣлся вокругъ нея кольцомъ, толкая насъ въ спину, въ грудь и въ бока.

Невольно закрылъ я глаза. Глядѣть становилось больно и невозможно. Бросивъ поводья, я держалъ лишь фуражку, надвинутую ниже бровей, всю измятую вѣтромъ, и почти не замѣтилъ, какъ очутился на самой вершинѣ.

Мы сошли съ коней и, оставивъ ихъ щипать траву, вошли въ яму, вырытую здѣсь для спасенія отъ вѣтра. Яма была не велика, но когда мы вошли въ нее, вѣтеръ носился уже надъ головами и не мѣшалъ. Разостлавъ бурку, я легъ. Въ горлѣ пересохло, хотѣлось пить.

— Давай кумысъ,—попросилъ я Халима, и онъ пошелъ отвязывать отъ сѣдла мѣшокъ съ провіантомъ.

Было уже свѣтло. Наступало утро.

Съ вершины было видно вокругъ на сотни верстъ. Это была сплошная зеленая долина, разстилавшаяся до самаго горизонта, и мелкія горы на ней — Машукъ, Желѣзная, Змѣевка — казались отсюда копнами сѣна, разбросанными по степи. Вдалекѣ, на горизонтѣ виднѣлась снѣговая цѣпь кавказскихъ горъ съ Эльбрусомъ и Казбекомъ, похожая на гряду далекихъ сѣрыхъ облаковъ. Кое-гдѣ въ окружности свѣтились озера и, словно бѣлая нитка, извивалась по зелени какая-то рѣчка, должно быть, Подкумокъ; а въ сторонѣ надъ самой чертою земли висѣла блѣдная луна, безъ лучей, угрюмая и усталая.

Халимъ наломалъ хворосту и развелъ костеръ. Сучья трещали, искры и дымъ относило въ сторону. Нанизывая на вертелъ куски баранины, Халимъ сидѣлъ на корточкахъ возлѣ огня, ко мнѣ спиною, и что-то тихонько пѣлъ — невнятное и заунывное, съ жалобными переливами, точно нараспѣвъ плакалъ.

— Про что поешь?—спросилъ я.

— Про горы. Пѣсня такая.

— Печальная?

— Кто знаетъ! — сказалъ Халимъ. — Можетъ быть, этого никогда и не было. А можетъ быть, это и правда: кто знаетъ!..

Я подсѣлъ поближе къ костру.

Подъ трескъ сырыхъ сучьевъ и подъ шипѣніе шашлыка, который пѣнился и розовѣлъ на вертелѣ, Халимъ пересказалъ мнѣ свою пѣсню о давно прошедшемъ — о незапамятныхъ временахъ, когда еще не было снѣга и льдовъ на кавказскомъ хребтѣ, и громады горъ стояли съ обнаженными каменными вершинами.

III.

Люди, жившіе у подножія горъ, своими злодѣйствами и непокорностью волѣ Божіей прогнѣвили Аллаха. И въ великомъ гнѣвѣ своемъ онъ приказалъ солнцу истребить этихъ людей. И солнце остановилось: не стало ни вечера, ни ночи, ни утра; вѣтеръ затихъ, воды загнили, и пересохли всѣ ручьи и колодцы. А палящее солнце все стояло на полуднѣ, и земля трескалась подъ его лучами, и все изнемогало отъ жажды и зноя.

„Всѣхъ истреблю грозой и огнемъ!—восклицалъ во гнѣвѣ Аллахъ,—только троихъ изъ васъ пощажу: Селима, Шахана и Алибека“!

И призвалъ Аллахъ на гору этихъ юношей и велѣлъ выслушать имъ свою великую волю.

Когда Селимъ, Шаханъ и Алибекъ, повинуясь волѣ Аллаха, отправлялись на гору, голодный народъ кричалъ имъ:

— Остановитесь и умирайте вмѣстѣ съ нами, какъ велитъ дружба, о которой вы пѣли намъ въ своихъ пѣсняхъ!

Трое юношей были самые красивые, самые добрые, самые честные — лучшіе изъ всѣхъ людей, и умѣли пѣть такія пѣсни, какихъ теперь никто не знаетъ и никто не поетъ.

Плакали юноши, разставаясь съ народомъ, плакали горькими слезами, а люди проклинали ихъ за измѣну и бросали камнями въ нихъ и пускали стрѣлы, но Аллахъ хранилъ своихъ избранниковъ. И никто кромѣ нихъ не могъ ступить на гору, а кто ступалъ, тотъ падалъ мертвымъ. Между землею и небомъ стояли тучи недвижимой пыли и солнце кровавымъ шаромъ висѣло въ воздухѣ, и весь горный хребетъ окутался мглою, и мгла эта прятала юношей отъ стрѣлъ и каменьевъ.

— Селимъ, Шаханъ и Алибекъ!—услышали юноши, когда вошли на голую каменистую вершину. — Васъ троихъ я хочу спасти. Идите внизъ по ту сторону горъ, а сюда я пошлю молніи и громы и истреблю нечестивый народъ!

Но они, упавъ на колѣна, сказали:

— Обрати гнѣвъ твой на насъ троихъ, великій Аллахъ, а людей пощади и возврати имъ воду, безъ которой они страдаютъ.

И юноши стали просить Аллаха, чтобъ онъ принялъ ихъ въ жертву себѣ.

— Тогда поймутъ люди, что мы погибли за нихъ, не нарушая дружбы и вѣрности, о которыхъ мы пѣли имъ; и не станутъ насъ проклинать, а поймутъ и сдѣлаются дружнѣй и добрѣй и будутъ сами пѣть о насъ своимъ дѣтямъ, и дѣти ихъ будутъ добры и вѣрны, и станутъ лучше, чѣмъ мы всѣ трое вмѣстѣ.

— Зачѣмъ погибать лучшимъ за худшихъ—воскликнулъ Аллахъ.—Пусть погибаютъ дурные!

Но юноши, не поднимаясь съ колѣнъ, повторяли все то же:

— Обрати гнѣвъ твой на насъ, а тѣхъ пощади. Казни насъ самою лютою смертью, но въ долины пошли воду, которая не изсыхала бы вѣчно.

Нахмурился великій Аллахъ, и чело его стало мрачно, какъ зіяющая горная пропасть, и далъ онъ знакъ холоднымъ вѣтрамъ, и поднялъ бурю надъ горами такую страшную и студеную, какой не бывало вовѣки. И солнце, стоявшее недвижимо, тронулось и быстро пошло къ закату, и въ долинѣ, обреченной на гибель, послѣ долгаго зноя вдругъ повѣяло влагой и ночною прохладой.

— Слава великому Аллаху! — воскликнули юноши, въ ожиданіи страшной казни.

И вдругъ почувствовалъ Селимъ, что кровь его стынетъ и сердце леденѣетъ, а самъ онъ весь растетъ и поднимается къ небу все выше и выше, и вмѣсто рукъ у него уже тянется туманъ, а вмѣсто ногъ клубятся облака; холодъ и ледъ ощущаетъ онъ въ сердцѣ и, собирая послѣднія силы, кричитъ на весь міръ:

— Слава великому Аллаху!

И расплывается въ небесахъ сѣдою косматою тучей.

И студеные вѣтры подхватываютъ тучу, рвутъ ее въ мелкіе бѣлые хлопья и снѣгомъ разносятъ по вершинамъ всего хребта, гдѣ никогда не бывало раньше ни стужи, ни снѣга. А Шаханъ и Алибекъ, слыша послѣдній крикъ товарища, безъ страха и восторженно вторятъ ему: „Слава великому Аллаху!“

И чувствуетъ сейчасъ же Шаханъ, какъ сердце его вдругъ заледенѣло. И видитъ онъ, что выростаетъ, подобно Селиму, и поднимается къ небу. Уже туманъ стелется вмѣсто рукъ и облака клубятся по поясъ, и ледъ сковываетъ дыханіе. „Слава великому Аллаху!“—

кричитъ онъ въ послѣдній разъ—и хлопьями снѣга разсыпается по вершинамъ горъ. И Алибекъ, привѣтствуя гибель товарища, славитъ въ отвѣтъ имя великаго Аллаха.

Заледенѣлъ, заклубился туманомъ, наконецъ, и Алибекъ, и вскрикнулъ онъ съ высоты небесъ, разсыпаясь снѣгомъ:

— Слава великому Аллаху!

И все замолкло.

Только снѣжная вьюга бушевала въ горахъ, заметая ихъ и покрывая вершины вѣчными льдами. Крутилась и выла метель всю ночь; всю ночь ревѣлъ ураганъ, какого никто не слыхалъ доселѣ, и въ ужасѣ думали люди, что наступилъ конецъ міра.

А когда на утро ясное солнце, уже не грозное и палящее, а радостное, взошло на небо и пригрѣло наметенные снѣга,—съ горъ побѣжали съ веселымъ шумомъ рѣки и ручьи—и жизнь вернулась въ долины на вѣчныя времена.

И теперь, кто всходитъ на высокія горы, гдѣ среди снѣга и льдовъ воютъ вьюги, тотъ слышитъ ихъ долгую однозвучную пѣсню:

„Помнишь ли ты, человѣкъ, Селима, Шахана и Алибека?... А если помнишь, то почему же ты забываешь добро и правду и не любишь людей, какъ любили ихъ трое юношей?...“

И лежатъ снѣга на вершинахъ уже тысячи лѣтъ, посылая людямъ воду, чтобы имъ не умереть отъ жажды, и люди счастливы, но вспоминаютъ трехъ юношей только тѣ, которымъ высоко на горахъ поетъ о нихъ вьюга вѣчную однозвучную пѣснь.

IV.

Халимъ замолчалъ...

Молчалъ и я. Только потрескивалъ костеръ, да вѣтеръ шумѣлъ надъ головою, иногда выхватывая искру и унося ее вмѣстѣ съ дымомъ и гася на лету.

Между тѣмъ востокъ разгорался...

Выше и шире выростали надъ горизонтомъ полосы свѣта, ярче и ярче онѣ желтѣли и розовѣли, и шествіе ихъ было величественно и дивно, точно онѣ шли возвѣстить міру о приближеніи божества.

Заря пылала... И вотъ уже подъ заревомъ ея рдѣло полнеба, и прямые золотистые лучи короной стояли въ воздухѣ.

— Солнце, солнце!—невольно закричалъ я, выбѣгая изъ ямы на голую вершину — навстрѣчу маленькой ярко-красной полоскѣ, показавшейся надъ горизонтомъ, какъ кусокъ раскаленнаго желѣза.

Не прошло минуты—и солнце выплыло большимъ краснымъ шаромъ, разгораясь все ярче и заливая золотомъ небо и землю.

И вся снѣговая цѣпь горъ, виднѣвшаяся какъ далекая туча, и ледяной Эльбрусъ, казавшійся сѣрымъ, теперь стояли розовые и сіяющіе на фонѣ яснаго небосклона.

Лошади наши щипали траву, Халимъ, не оборачиваясь, дожаривалъ шашлыкъ, и, стоя одинъ на высотѣ, я смотрѣлъ на дивныя картины, развернувшіяся кругомъ меня, полныя жизни, красоты и вѣчности.

Чистая, тихая радость наполняла мнѣ душу, и въ шумѣ вѣтра мнѣ чудилась заунывная пѣснь, долетавшая до меня съ далекихъ ледниковъ Эльбруса, пѣснь о трехъ юношахъ, пѣснь о томъ, какъ погибаютъ лучшіе люди за чужое счастіе.

ДОМОЙ.

(Изъ жизни сибирскихъ переселенцевъ).

I.

Была ясная лѣтняя ночь. Луна свѣтила весело и спокойно; она заливала своимъ серебромъ поляны и дороги, пронизывала лучами лѣса, золотила рѣки... Въ эту самую ночь изъ дверей переселенческаго барака, крадучись, вышелъ Семка, вихрастый, блѣднолицый мальчикъ лѣтъ одиннадцати, оглядѣлся, перекрестился и вдругъ побѣжалъ, что было мочи, по направленію къ полю, откуда начиналась „расейская“ дорога. Боясь погони, онъ часто оглядывался, но никто за нимъ не бѣжалъ, и онъ благополучно достигъ сначала поляны, а потомъ и трактоваго пути; здѣсь онъ остановился, что-то подумалъ и потихоньку пошелъ вдоль по дорогѣ.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ „божьихъ дѣтей“, которыя остаются сиротами послѣ переселенцевъ. Родители его умерли въ пути отъ тифа, и Семка остался одинокимъ среди чужихъ людей и среди чужой природы, вдалекѣ отъ родины, которую онъ помнилъ лишь по бѣлой каменной церкви, по вѣтрянымъ мельницамъ, по рѣчкѣ Узюпкѣ, гдѣ, бывало, купался съ товарищами, и по селу, которое называлось Бѣлое. Но гдѣ эта родина, это село и рѣчка Узюпка,—было для него такою же тайной, какъ и то мѣсто, гдѣ онъ находился сейчасъ. Онъ помнилъ одно, что пришли они сюда вотъ по этой

самой дорогѣ, что переѣзжали раньше поперекъ какую-то широкую рѣку, а еще раньше плыли долго на пароходѣ, ѣхали по машинѣ, опять плыли на пароходѣ, и опять ѣхали по машинѣ, и ему казалось, что стоитъ пройти лишь эту дорогу, какъ будетъ рѣка, потомъ машина, а тамъ уже будетъ и рѣчка Узюпка, и село Бѣлое, и родной домъ, къ которому онъ такъ привыкъ и знаетъ наперечетъ всѣхъ сельскихъ стариковъ и мальчишекъ. Помнилъ онъ еще, какъ умерли его отецъ и мать, какъ ихъ положили въ гробъ и отнесли куда-то за рощу на незнакомый погостъ. Помнилъ Семка еще и то, какъ онъ плакалъ и просился домой, но его заставили жить здѣсь, въ баракѣ, кормили хлѣбомъ и щами и всегда говорили: „теперь не до тебя“. Даже баринъ, Александръ Яковлевичъ, который всѣми распоряжался, закричалъ на него и приказалъ жить, а если будетъ мѣшаться, то обѣщалъ выдрать за волосы. И Семка волей-неволей жилъ и тосковалъ. Вмѣстѣ съ нимъ жили въ баракѣ еще три дѣвочки и одинъ мальчикъ, которыхъ забыли здѣсь родители и ушли неизвѣстно куда, но тѣ дѣти были такія маленькія, что нельзя было съ ними ни играть ни шалить.

Проходили дни и недѣли, а Семка все жилъ въ ненавистномъ баракѣ, не смѣя никуда отлучиться. Наконецъ, ему надоѣло. Вѣдь вотъ же она, та самая дорога, по которой они пришли сюда изъ „Расеи“!.. Не пускаютъ добромъ, такъ онъ и самъ убѣжитъ! Развѣ долго?.. И опять онъ увидитъ родную Узюпку, родное Бѣлое, опять увидитъ Малашку, Васятку и Митьку, своихъ закадычныхъ пріятелей, пойдетъ къ барынѣ Афросиньѣ Егоровнѣ, пойдетъ къ поповымъ мальчикамъ, у которыхъ растетъ много вишенъ и яблокъ...

Хотя страхъ быть пойманнымъ и удерживалъ Семку долгое время, однако, надежда увидѣть свою рѣчку, своихъ товарищей и родное село была такъ велика и соблазнительна, что Семка, затаивъ въ душѣ завѣт-

ную мечту, выбралъ удобное время и, отказавшись навѣкъ отъ даровыхъ щей, выбѣжалъ на дорогу и былъ вполнѣ счастливъ, что возвращается домой. Ему казалось, что нигдѣ нѣтъ такого хорошаго мѣста, какъ Бѣлое, и во всемъ свѣтѣ нѣтъ такой хорошей рѣки, какъ Узюпка.

Уже луна приближалась къ горизонту, уже наступало утро, а Семка все шелъ по дорогѣ, вдыхая свѣжій росистый воздухъ и радуясь тому, что всякій шагъ приближаетъ его къ дому.

II.

Кажется, все, что только возможно придумать для человѣка, все это видала и испытала обширная Сибирь, и ничѣмъ не удивишь ее, никакою новинкой! Проходили по ней тысячи верстъ закованные арестанты, громыхая тяжелыми цѣпями, кололи и рыли въ темныхъ рудникахъ ея нѣдры, томились въ ея острогахъ; по ея дорогамъ, весело звеня бубенцами, мчатся рѣзвыя тройки, а по тайгамъ бродятъ бѣглые каторжники, воюя съ звѣрями, и то выжигаютъ селенія, то питаются Христовымъ именемъ; толпы переселенцевъ тянутся изъ Россіи почти сплошной вереницей, ночуя подъ телѣгами, грѣясь у костровъ, а навстрѣчу имъ идутъ назадъ другія толпы, обнищавшія голодныя и больныя, и много ихъ умираетъ по пути,—и ничто никому не ново. Слишкомъ много чужого горя видала Сибирь, чтобы чему-нибудь удивляться. Не удивлялся никто и на Семку, когда тотъ проходилъ селеніемъ или спрашивалъ:

— Которая тутъ дорога въ Расею?

— Всѣ дороги въ Расею ведутъ—просто отвѣчали ему и махали руками вдоль пути, какъ бы удостовѣряя его направленіе.

И Семка шелъ безъ-устали, безъ боязни; его радо-

вала свобода, веселили поля съ пестрыми цвѣтами и звонъ колокольчиковъ проносившейся мимо почтовой тройки; иногда онъ ложился въ траву и крѣпко засыпалъ подъ кустомъ шиповника или забирался въ придорожную рощу, когда становилось жарко. Сердобольныя сибирскія бабы кормили его хлѣбомъ и молокомъ, а попутные мужики иногда подвозили въ телѣгахъ.

— Дяденька, подвези, Христа ради! — упрашивалъ Семка, когда его догонялъ кто-нибудь на лошади.

— Тетенька, дай, Христа ради, хлѣбца!—обращался онъ въ деревняхъ къ хозяйкамъ.

Всѣ его жалѣли, и Семка былъ сытъ.

На третій день передъ Семкой заблестѣла рѣка.

— Вотъ, вотъ! Она и есть!

Онъ помнилъ, какъ недавно съ отцомъ они переѣхали поперекъ эту рѣку; только ихъ было тогда очень много, и народъ перевозили не разомъ, а партіями. Онъ вспомнилъ, какъ на баркѣ, на которой они переплывали, ходили вокругъ столба двѣ лошади съ завязанными глазами и тянули какой-то канатъ, а возлѣ лошадей бѣгалъ съ кнутомъ старикъ въ рубахѣ и широкой шляпѣ и все кричалъ охрипшимъ голосомъ: „Н-но! проклятыя! Н-но! но! родныя!“ И лошади отъ его крика бѣгали быстрѣе вокругъ столба, и канатъ крутился тоже быстрѣе, а барка все ближе и ближе подвигалась къ другому берегу...

Широко разливалась передъ Семкой рѣка. Солнце уже закатилось, и багрянецъ неба ярко отражался въ водѣ. Было красиво и тихо, но всюду было такъ пусто, что Семка смутился. Вдалекѣ на противоположномъ берегу, виднѣлось какое-то селеніе, а направо и налѣво тянулись рощи. Спустившись по кручѣ къ самой водѣ, Семка началъ вглядываться то въ одну, то въ другую сторону, но было попрежнему все пусто и нѣмо, только у ногъ его сердито плескалась холодная рѣка, да по небу тянулись гуськомъ какія-то птицы.

Въ смущеніи онъ побрелъ вдоль по берегу, но нигдѣ не было ни души, не слышалось ни единаго звука. Между тѣмъ, багрянецъ заката началъ медленно угасать; блѣднѣе становилось небо и на дальнихъ поляхъ закурилась роса.

Семка задумался.

Потомъ онъ сѣлъ на песокъ и только тогда почувствовалъ, что усталъ и что итти болѣе не можетъ. Да и куда же уйдешь, когда передъ глазами вода?.. Сначала онъ глядѣлъ на эту воду, слѣдилъ, какъ она стремится куда-то впередъ и плещется о берегъ, потомъ глядѣлъ на небо, на меркнущее пространство вдалекѣ за рѣкою, на лѣсъ, на поляны,—и что-то грустное смутное ложилось камнемъ на его дѣтское сердце. Была ли это простая боязнь, или сознаніе круглаго сиротства, или раскаяніе, или, можетъ быть, дума о родинѣ, но только Семкѣ хотѣлось заплакать, хотѣлось ѣсть и пригрѣться, хотѣлось видѣть подлѣ себя отца съ матерью, и онъ, закусивъ палецъ, сидѣлъ неподвижно надъ рѣкою, уставившись глазами куда-то вдаль, и ничего не видѣлъ передъ собою.

Вдругъ среди затишья послышались звуки, неясные и негромкіе. Семка встрепенулся. Казалось, кто-то пѣлъ про себя, нехотя, заунывную пѣсню, пѣлъ лѣниво, сквозь зубы, почти сквозь сонъ...

Дѣйствительно, изъ-за куста, гдѣ рѣка дѣлала небольшой изгибъ, показался челнокъ; онъ плылъ неспѣша и держался возлѣ самаго берега.

— Дяденька!.. довези!—крикнулъ Семка, когда рыбакъ, мурлыча пѣсню, поровнялся съ нимъ.—Дяденька!.. а, дяденька!

Тотъ повернулъ голову, и Семка увидѣлъ его загорѣлое, нерусское лицо, съ клочкомъ черной бороды и вздернутой верхней губой, изъ-подъ которой виднѣлись острые бѣлые зубы. Сидѣлъ онъ въ такомъ маленькомъ челночкѣ, вырубленномъ изъ ствола, что

вода приходилась почти вровень съ бортами; при этомъ рѣчная зыбь сильно качала его, и было страшно, что онъ сейчасъ опрокинется и утонетъ. Но рыбакъ спокойно опустилъ весло (другого весла у него не было) и пристально поглядѣлъ на мальчика.

— Дяденька...—несмѣло повторилъ Семка,—Христа ради, перевези...

— А деньга давалъ?—рѣзко отвѣтилъ тотъ, и было замѣтно, что онъ недоволенъ просьбой.

Потомъ онъ нахмурилъ брови и сморщилъ носъ, отчего зубы его сдѣлались еще длиннѣе, и почесалъ себѣ грудь корявыми пальцами. Бѣлая рубаха, съ тесемкой у ворота, которая покрывала его сутулое тѣло, была разстегнута, и въ прорѣхѣ виднѣлась грудь, такая же темная, землистаго цвѣта, какъ было его лицо.

Грубый отвѣтъ, злое выраженіе лица рыбака и наступающая ночь среди пустыни совсѣмъ озадачили Семку. Въ эти три дня онъ перевидалъ много людей, но всѣ относились къ нему участливо, сердечно, и только сейчасъ, когда помощь была особенно дорога и необходима, онъ встрѣтился съ суровымъ человѣкомъ и въ первый разъ почувствовалъ своей дѣтской душою—*чужого*... Это былъ именно „чужой“ человѣкъ, которому все равно, будетъ ли Семка сытъ и живъ, или не будетъ. И Семка глядѣлъ на него со страхомъ, почти враждебно. Ему вдругъ стало такъ печально и тяжело, такъ стало жалко отца съ матерью, такъ сиротливо и горько, что захотѣлось броситься въ воду и умереть. И, не зная что сдѣлать, Семка схватился обѣими руками за волосы, повалился ничкомъ на песокъ и зарыдалъ громко, во весь голосъ; даже рыбаку стало жалко его. Онъ подумалъ, не заблудился ли мальчикъ и не живетъ ли на той сторонѣ рѣки.

Пожавъ плечами, онъ рѣзко крикнулъ, чтобы Семка взглянулъ на него:

— Гей-гей!..

Потомъ указалъ на дно своего челнока, гдѣ валялась кучей мелкая рыба, и грубо проговорилъ:

— Садись!

III.

Прошло двѣ недѣли.

Много дорогъ и деревень осталось позади, за Семкой. Онъ не унывалъ и брелъ не торопясь, только иногда поспрашивалъ:

— Далеко-ль еще до Расеи?

— До Расеи-то?—отвѣчали ему.—Да, не близко. Къ зимѣ, гляди, попадешь, а можетъ, и раньше.

— А зима-то скоро?

— Нѣтъ, зима не скоро. Еще осени не было.

Когда Семка проходилъ селомъ или когда издали случалось ему завидѣть высокую бѣлую колокольню съ золотымъ крестомъ, то слезы навертывались ему на глаза, а на душѣ становилось радостно и тепло. Онъ снималъ шапку, бросался на колѣни и, плача, восклицалъ:

— Господи! Пошли поскорѣй зиму!..

Иногда на краю дороги Семка встрѣчалъ одинокій деревянный крестъ; поблизости не было ни жилья ни даже сторожки, а только лѣсъ съ одной стороны, да степь съ другой,—и задумывался Семка надъ этимъ крестомъ, и всегда вспоминались ему отецъ и мать, вспоминался шатеръ среди поля, гдѣ они умерли,—и Семка, забывая усталость, ускорялъ шаги, шепча свое завѣтное слово: „Домой!.. домой!..“

Но вотъ, наконецъ, и городъ.

Было воскресенье, и Семка еще издали заслышалъ звуки соборнаго колокола. Эти мѣрные, гулкіе звуки опять напомнили ему родину. И трава вокругъ, начинавшая уже желтѣть, и вялые листья возлѣ дороги, и далекій призывный звонъ—такъ и вѣяли на душу чѣмъ-

то хорошимъ, домашнимъ, и Семкѣ вспоминались румяныя яблоки, которыя теперь, должно-быть, раздаетъ въ церкви батюшка, а старый дьячокъ, другъ и пріятель Семки, вытащилъ бы теперь изъ своего глубокаго кармана пару яблочковъ и сказалъ бы обычнымъ басомъ:

— Получи, Симеонъ, во имя Спаса. Разговѣйся, глупый.

Съ какимъ восторгомъ бросился бы теперь Семка на свою колокольню, сгрызъ бы эти яблоки и звонилъ бы безъ устали, покуда не прогонятъ!..

За городской заставой сначала запестрѣли передъ Семкой направо и налѣво бревенчатые сѣрые домики съ зелеными, красными и сѣрыми крышами, потомъ пошли бѣлые каменные дома; по улицамъ бродили куры, хрюкали свиньи; потомъ потянулись дворы и заборы, встрѣтились у почтовыхъ воротъ полосатые верстовые столбы, раскинулась площадь съ высокою церковью за желѣзной рѣшеткой, а напротивъ нея торчала сѣрая, тощая, бревенчатая каланча, гдѣ на самой макушкѣ ходилъ вокругъ по барьеру солдатъ, а впереди опять виднѣлись башни заставы...

Не останавливаясь, Семка прошелъ городомъ и снова вышелъ на трактъ, гдѣ было ему привольнѣе и веселѣе.

IV.

Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе во всемъ замѣчалъ Семка, что наступаетъ осень.—„Слава Богу! Скоро зима!“—думалось ему, и родное село казалось все ближе и ближе. На поляхъ не вились уже пестрыя бабочки, не кружились стрекозы; деревья роняли листву, трава увядала; небо чаще заволакивалось сѣрыми жидкими тучами; по ночамъ стояли холода. Но Семка думалъ: „Слава Богу! Теперь ужъ скоро!“

Проходя по тракту, Семка съ утра еще ничего не ѣлъ и теперь чувствовалъ голодъ. Завидѣвъ въ кустахъ человѣка, который сидѣлъ, поджавъ подъ себя ноги, и что-то жевалъ, онъ остановился и съ завистью глядѣлъ, какъ тотъ, облупивъ яйцо, откусывалъ, заѣдая хлѣбомъ.

— Тебѣ чего?—спросилъ человѣкъ, не поднимаясь и продолжая жевать.

Семка молчалъ.

Человѣкъ этотъ былъ не молодъ, съ сѣрой короткой бородой, съ загорѣлымъ и обвѣтрившимся лицомъ, съ узкими впалыми глазами. На ногахъ его были надѣты шерстяныя пимы, на плечахъ—пестрый пиджакъ, а на затылкѣ—картузъ.

— Тебѣ чего? — повторилъ онъ, вглядываясь въ Семку.

— Дѣдушка...—несмѣло отвѣтилъ Семка,—дай, Христа ради, хлѣбца кусочекъ...

— Самому, пріятель, Христа ради дали. Ну, да на... Подѣлюсь!

Онъ протянулъ ему корку и опять спросилъ:

— Ты чей такой? Откуда взялся?

— Домой иду... въ Расею.

— Въ Расею?.. Вотъ и я въ Расею... А зачѣмъ ты идешь?

Семка началъ подробно разсказывать о своей жизни. Онъ говорилъ, какъ было ему скучно въ баракѣ, какъ захотѣлось домой и какъ онъ убѣжалъ ночью, а незнакомецъ все слушалъ да кивалъ головою, точно хваля его за что-то.

— Молодецъ, братъ!—проговорилъ старикъ, похлопавъ Семку по рукѣ.—Только, гляжу я, плохая твоя жизнь!.. Видно, по моимъ слѣдамъ пойдешь: ни дома тебѣ не видать ни своего мѣста не знать... Собачья жизнь! Ей Богу, собачья!

— А ты, дѣдушка, кто такое?—съ интересомъ проговорилъ Семка и сѣлъ напротивъ старика.

— Кто я-то?.. Да никто... Такъ... Одно слово—неизвѣстный.

Старикъ глубоко вздохнулъ и провелъ ладонью по лицу, точно утираясь.

— Да, братъ... Ты человѣкъ малый, а и то вонъ родина-то назадъ тебя потянула... Всегда она такъ, точно мать родимая... тянетъ, тянетъ... Мѣста нигдѣ безъ нея не найдешь. Придешь, взглянешь на нее, матушку, однимъ глазкомъ, ну и легче!

— А что, дѣдушка, дойду я къ зимѣ до Расеи?

— Нѣтъ, не дойдешь. Потому пойдутъ холода, а на тебѣ вонъ даже пальтишка нѣтъ... Хаживалъ я... Знаю... Не дойдешь, говорю. Замерзнешь.

Отъ его словъ Семка закручинился. Задумался и старикъ. Оба, потупивъ глаза, молчали.

Семкѣ въ это время казалось, какъ онъ будетъ замерзать, и было горько, что никто объ этомъ не узнаетъ въ Бѣломъ. А старикъ думалъ свою думу и молча шевелилъ усами.

— Такъ ты куда?—неожиданно спросилъ Неизвѣстный, поднимаясь съ травы.

— Я, дѣдушка, домой...

— Ну, и я домой. Пойдемъ вмѣстѣ.

Оба они молча вышли на дорогу и побрели, не торопясь, впередъ.

V.

Свечерѣло... Лившій съ полудня дождь пронизалъ до костей и Семку и Неизвѣстнаго.

— Иди, братъ, иди,—подбадривалъ старикъ.—Поспѣшай! А то двинетъ это осень-то взаправду, понастоящему, а мы съ тобой еще до горъ не дошли. Что жъ тогда? Пропадать нужно.

— Иду, дѣдушка.

— И то запоздали... Какъ бы холодъ, боюсь, не ударилъ... А то бѣда!

Семка, несмотря на усталость, чувствовалъ себя хорошо. Встрѣча съ попутчикомъ его радовала и бодрила. Онъ былъ спокоенъ, что теперь ужъ не собьется съ дороги и что дѣдушка приведетъ его куда нужно; да и поговорить было пріятно: а дѣдушка все время разсказывалъ и про родину и про Сибирь, гдѣ копаютъ золото, говорилъ объ острогахъ, о волѣ, о суровой сибирской зимѣ и о зеленой весенней травкѣ, которая такъ и манитъ человѣка домой, такъ и не даетъ ему покоя ни днемъ ни ночью.

— А что, дѣдушка, мы ужъ много прошли?—спрашивалъ Семка.

— Видишь,—голоднѣй стало: значитъ, къ Расеи подвигаемся. А за горы перевалимъ,—тамъ еще голоднѣй будетъ; потому и говорю: поспѣшай! Въ Расеи деньгу любятъ, а у насъ съ тобой этого самаго нѣту, ну, и ночуй, гдѣ хочешь, и ѣшь, что знаешь. Сибирь, братъ, добрая!.. Только добро-то ея намъ не по вкусу... не по зубамъ! Поспѣшай, парнекъ, поспѣшай!

Въ сторонѣ отъ проѣзжей дороги остановился обозъ. Было темно и холодно, и красное пламя костровъ привѣтливо манило путниковъ. Распряженныя лошади въ потемкахъ бродили по полянѣ, пощипывая вялую осеннюю траву; воза стояли съ поднятыми кверху оглоблями, а мужики, разведя огонь, грѣлись и варили ужинъ.

— Богъ помощь!—сказалъ Неизвѣстный, подходя къ костру.—Дозвольте погрѣться, пріятели!..

— Садись,—отвѣтили равнодушные голоса.

Старикъ подсѣлъ и протянулъ къ огню руки. Семка тоже приблизился. Промокшее платье его вскорѣ согрѣлось, и по спинѣ пробѣжала пріятная дрожь.

— Откуда Богъ несетъ?—спросилъ кто-то изъ мужиковъ, вглядываясь въ лицо Неизвѣстному.

— Издали идемъ. Къ домамъ пробираемся.

— Парнекъ-то твой, что ли?

— Нѣтъ, встрѣчный. Переселенскій онъ-то... Сиротой остался.

— Вишь ты, промокъ, сердешный!

На Семку всѣ обратили вниманіе. Онъ сидѣлъ возлѣ самаго костра и, ежась, глядѣлъ, какъ горятъ и корчатся въ огнѣ сучья, какъ тянется по вѣтру бѣлый дымъ, какъ пѣнится и шипитъ въ котелкѣ варево.

— Сирота, стало-быть? — спросили мужики и опять стали смотрѣть на Семку.

Потомъ начали разговаривать о хлѣбѣ и о работѣ; потомъ, когда поспѣла ѣда, принялись за ужинъ.

— Ѣшь, несчастненькій, ѣшь,—угощали Семку.—А то, вишь, зазябъ.

Семка наѣлся и прилегъ отдохнуть. Послѣ горячей пищи ему было пріятно поваляться возлѣ огня. Сучья весело трещали, пахло дымомъ и свѣжею корой,—совсѣмъ такъ же, какъ бывало въ Бѣломъ. Только если бъ это было дома, онъ накопалъ бы сейчасъ картошки и бросилъ бы въ огонь. И Семкѣ вспоминался обуглившійся картофель, который и пахнетъ, и руки жжетъ, и на зубахъ хруститъ.

Надъ головою Семки свѣтились звѣзды, такія же ясныя, частыя, какъ въ Бѣломъ,—и ему хотѣлось думать, что Бѣлое теперь гдѣ-нибудь близко... Ноги его ныли отъ усталости, земля холодила бокъ и спину, а костеръ такъ хорошо пригрѣвалъ ему лицо, и грудь, и колѣнки.

Мужики все еще о чемъ-то разговаривали; и дѣдушка тоже разговаривалъ съ ними. Семка слышалъ его голосъ: „Трудно, пріятели, трудно“... И мужики говорили тоже, что „трудно“. Потомъ голоса ихъ стали глуше и тише, точно зажужжали пчелы... Потомъ поплыли передъ Семкой красные круги, потомъ разлилась широкая, холодная рѣка, а за рѣкой показалось Бѣлое... Семка хотѣлъ броситься къ нему вплавь, но Неизвѣст-

ный поймалъ его за ногу и сказалъ: „Трудно! трудно!“ Потомъ опять завертѣлись красные и зеленые круги,— и все перемѣшалось...

Семка спалъ, какъ убитый.

VI.

Было раннее сѣрое утро, когда онъ открылъ глаза. По небу тянулись тучи; холодный вѣтеръ налеталъ порывами на потухшій костеръ и, выхвативъ кучку золы, со свистомъ разносилъ ее по полю. Мужиковъ уже не было, а Неизвѣстный, свернувшись въ комокъ, лежалъ на землѣ.

Семка приподнялся и сѣлъ.

— Дѣдушка!—позвалъ онъ старика, но тотъ не отвѣтилъ.—„А гдѣ-жъ мужики-то?“—подумалось ему сейчасъ же, и вдругъ стало страшно за Неизвѣстнаго...

Вѣтеръ свистѣлъ, раздувая золу; по чернымъ головешкамъ шуршали обгорѣлыя вѣтки, и все поле, казалось, шуршитъ и стонетъ... Становилось жутко.

— Дѣдушка!—крикнулъ еще разъ Семка, но голосъ его отнесло вѣтромъ въ другую сторону.

Глаза его противъ воли закрывались, голова отяжелѣла и сама падала на плечи. Семка снова прилегъ, а вокругъ и отовсюду гудѣло ему въ уши: з-з-з-з!.. И ему чудилось, что Неизвѣстнаго убили разбойники, чудилось опять гдѣ-то близко Бѣлое, но войти въ него кто-то мѣшаетъ, кто-то тянетъ назадъ, тянетъ туда, на огромное поле, гдѣ стоитъ сѣрый баракъ.—„А... ты домой?!“ говоритъ чей-то сердитый голосъ. Затѣмъ приносятъ горячія щи и наливаютъ Семкѣ прямо въ ротъ, льютъ на голову, льютъ все больше и больше, такъ что на головѣ выростаетъ цѣлая горячая гора, а щи все льютъ, все льютъ... Голова распухаетъ, внутри горитъ костеръ, Семка задыхается—и открываетъ глаза.

Надъ нимъ сидитъ Неизвѣстный и печально киваетъ головой.

— Что, братъ?—говоритъ онъ, трогая его лицо рукою.

И Семка видитъ надъ собою небо, солнце, сѣрую бороду, впалые глаза...

— Что, братъ?.. Дѣло-то наше, видно, дрянь!

— Дѣдушка,—еле пробормоталъ Семка.

— Ну-ка, братъ, встань, посиди!

Старикъ поднялъ его, посадилъ къ себѣ на колѣни и далъ привалиться къ своей груди головою.

— Что, братъ?

— Ничего,—пробормоталъ снова Семка.

— Очувствуйся немножко, да надо итти какъ-нибудь... Не помирать же здѣсь! Богъ милостивъ.

Черезъ часъ они уже брели тихонько по дорогѣ, обнявшись. Неизвѣстный шагалъ мѣрно и увѣренно, а Семка часто спотыкался и сбивался съ шага.

— Городъ-то больно далече,—жаловался старикъ.— Въ больницу бы тебя положить... Ты вѣдь не то, что я... Тебѣ можно... А мнѣ вотъ и глазъ нельзя туда показать... въ городъ-то. Эхъ, житье, житье!..

Немного спустя, Семка остановился.

— Дѣдушка... ноги не идутъ. Давай посидимъ.

— Отойдемъ въ рощу. Тамъ потеплѣе. Ну, держись за меня. Вотъ такъ! Ну, пойдемъ.

Въ рощѣ оба они сѣли. Неизвѣстный велѣлъ Семкѣ положить голову къ нему на колѣна, а самъ наломалъ сучьевъ и сдѣлалъ изъ нихъ постель.

— Ложись, ложись, мужичокъ!.. Ложись!

— Дѣдушка,—взмолился Семка,—не бросай меня одного! Христа ради... дѣдушка!

Онъ горько заплакалъ и не говорилъ уже болѣе ни слова. Опять ему стало казаться, что вокругъ все гудитъ и свиститъ, опять кто-то тянетъ его за голову, и все предъ нимъ кружится и горитъ... „Домой! домой!“—тяжело выговариваетъ иногда Семка и черезъ силу открываетъ

глаза, но уже ничего не видитъ... Иногда кажутся ему какіе-то новые люди, незнакомый новый баракъ, то видитъ онъ мать, то рѣчку Узюпку, то опять незнакомыхъ людей, то дѣдушку Неизвѣстнаго; и ночь и день мѣшаются вмѣстѣ, и, наконецъ, Семка снова открываетъ глаза.

Онъ лежитъ въ комнатѣ на мягкой постели; онъ ясно видитъ надъ собой потолокъ, видитъ, какъ за окномъ шатается голое жидкое деревцо; онъ въ страхѣ думаетъ: „Опять баракъ?—и хочетъ вскочить и бѣжать, но тѣло его не шевелится, а голова точно примерзла къ подушкѣ.

„Гдѣ жъ дѣдушка?“ подумалъ Семка, ища глазами знакомое лицо. Но не было ни старика, ни лѣса, ни трактовой дороги, и Семкѣ стало горько и больно, зачѣмъ бросилъ его Неизвѣстный,—и тихія слезы обильно заструились по его блѣдному, исхудалому лицу...

VII.

Однажды, въ больничномъ халатѣ, все еще слабый послѣ болѣзни, Семка стоялъ у окна и задумчиво глядѣлъ на пустынную улицу, гдѣ вѣтеръ гонялъ черезъ лужи сухіе осенніе листья. Позади Семки стоялъ Демидычъ, больничный солдатъ, и тоже глядѣлъ, думая свою думу. Онъ уже разсказывалъ Семкѣ, какъ его больного, безъ памяти, принесъ сюда старикъ. „А тутъ случился исправникъ... Глянулъ онъ, это, на старика, да и говоритъ: „Здравствуй, красавецъ!..“ А старикъ-то такъ и присѣлъ. „Опять, говоритъ, гуляешь?..“ Ну, сейчасъ его и взяли... Третій разъ старикъ-то съ каторги бѣгаетъ. Третій разъ его ловятъ“.

Обо всемъ этомъ Семка уже слыхалъ отъ солдата! и всякій день, когда молился, говорилъ: „Господи, спаси дѣдушку-Неизвѣстнаго!..“

— Нынче ихъ отсылаютъ, — говорилъ солдатъ. — Гляди, сейчасъ поведутъ.

Вскорѣ до слуха Семки донеслись глухіе странные

звуки. Потомъ показались солдаты съ ружьями на плечахъ, а за ними шла толпа въ сѣрыхъ халатахъ и круглыхъ шапкахъ, громыхая цѣпями, которыя болтались и звенѣли у рукъ и у ногъ; по обѣ стороны и позади шли также солдаты; всѣ ежились отъ холода.

Съ замиравшимъ сердцемъ Семка прильнулъ къ стеклу и во всѣ глаза глядѣлъ на эту сѣрую толпу, отыскивая знакомаго. Вдругъ онъ отчаянно закричалъ, почти взвизгнулъ и началъ бить по стеклу кулаками.

— Дѣдушка! дѣдушка! дѣдушка!

Среди арестантовъ онъ увидалъ Неизвѣстнаго, который, путаясь въ цѣпяхъ, проходилъ почти возлѣ окна.

— Дѣдушка! дѣдушка! — кричалъ Семка, не помня себя отъ радости и отъ ужаса.

Заслышавъ стукъ, многіе повернули головы. Оглянулся и Неизвѣстный. Семка видѣлъ, какъ онъ взглянулъ на него своими впалыми сѣрыми глазами, видѣлъ, какъ онъ вздохнулъ и печально покивалъ ему головою.

Слезы градомъ брызнули у Семки, сердце бѣшено колотилось въ груди, — а между тѣмъ партія и конвой прошли уже и скрылись за угломъ дома. Семка все еще бился и кричалъ: „Дѣдушка!..“ а сторожъ равнодушно говорилъ:

— Чего ревешь? Нечего ревѣть; тебя вернутъ скоро на родину, потому ты — дите, и тутъ тебѣ вовсе не мѣсто. Сказано: вернутъ, — не ори!

Но Семка рыдалъ и все старался заглянуть куда-то вкось, за уголъ, куда унесъ свои цѣпи его случайный вѣрный другъ — Неизвѣстный.

НУЖДА.

I.

Какъ послѣ весенняго разлива рѣкъ остаются на просыхающихъ лугахъ новые бугры песку и ила, нанесенные половодьемъ, такъ и здѣсь, на широкомъ сибирскомъ полѣ, послѣ лѣтняго движенія переселенцевъ осталось за лѣсомъ много новыхъ могилъ; какъ послѣ схлынувшей воды, которая неслась по лугамъ и дорогамъ, остаются въ пескѣ и травѣ мелкія рыбы, запоздавшія убраться вмѣстѣ съ водой и обреченныя биться и задыхаться въ пыли подъ знойными лучами солнца, такъ и здѣсь осталось послѣ схлынувшаго многотысячнаго народнаго потока нѣсколько дѣтей, обреченныхъ на вѣчное сиротство или на смерть. Родители ихъ либо умерли въ пути, либо, забитые нуждой, ушли въ неизвѣстный край, покинувъ больного ребенка на произволъ судьбы.

Такимъ сиротой и остался Николка, худенькій пятилѣтній мальчикъ, про котораго даже отецъ сказалъ, махнувши рукой:

— Все одно, помретъ!

Мать долго молилась и плакала, но тоже, наконецъ, сказала:

— Помретъ родименькій... Видитъ Богъ, помретъ.

Дожидаться его смерти было, однако, нельзя. Баржа стояла уже у пристани, и на утро былъ назначенъ отъѣздъ. Не уѣдешь завтра—продождешь очереди еще

цѣлый мѣсяцъ, а Матвѣй и безъ того уже прожился, дожидаясь то тутъ, то тамъ, гдѣ недѣлю, гдѣ двѣ, а здѣсь простоялъ чуть не полъ-лѣта, валяясь, какъ собака, на грязной землѣ подъ тряпичнымъ шатромъ. Да и не все ли равно, днемъ раньше или днемъ позже, разставаться съ ребенкомъ? Николки ужъ не воротишь, а всякій день между тѣмъ стоитъ денегъ, и дожидаться Матвѣю было не по карману: и безъ того прохарчился— хоть съ рукой выходи!

Подойдетъ Матвѣй, поглядитъ на сына и разведетъ руками.

„Родное дитя, али нѣтъ? — со слезами вопрошаетъ онъ самого себя и, ударивъ по груди кулакомъ, опять подумаетъ:—Звѣри мы, али нѣтъ?!“

А Николка лежитъ ни живъ ни мертвъ, только хрипитъ.

„Помирать бы, такъ помиралъ что-ли, прости Господи! — съ отчаяніемъ думалъ Матвѣй про сына. — По крайности развязка!“

Жаль ему было Николку, очень жаль, и оставлять его при смерти было совѣстно, но что же подѣлаешь иначе? Съ собой не возьмешь, потому что начальство не пропуститъ больного на баржу, на поправку его тоже надежды не было—еле дышитъ, а просидѣть изъ-за него еще цѣлый мѣсяцъ на одномъ мѣстѣ значило разориться и погибнуть. Завтра не уѣдешь, а Николка, глядишь, завтра же и помретъ, — только задержитъ. Такъ на него и смотрѣли всѣ, какъ на пропащаго. А у Матвѣя, кромѣ Николки, было въ семьѣ восемь душъ, о которыхъ нельзя было не подумать. Либо всѣмъ погибать и Николкиной смерти дожидаться, либо уходить по добру, по здорову дальше, а Николка, Богъ съ нимъ, пускай умираетъ одинъ.

— Арина! а, Арина! — въ раздумьи проговорилъ Матвѣй, подходя къ своему шалашу.

На его окрикъ изъ шалаша высунулось худощавое

бабье лицо и, молча, съ надеждой во взглядѣ, ожидало вопроса.

— Что жъ дѣлать-то? а?—нерѣшительно прибавилъ Матвѣй. — Собираться, ай нѣтъ?.. Али ужъ терпѣть будемъ?

Оба они поглядѣли другъ другу въ глаза, оба помолчали, а затѣмъ Арина, не отвѣтивъ, заплакала, а Матвѣй побрелъ молча по полю, думая все о томъ же.

Долго бродилъ онъ съ понурою головой, не зная, на что рѣшиться. То вздохнетъ, то крякнетъ со зла, то опять вздохнетъ... Кажется, бросилъ бы все, да побѣжалъ бы скорѣй безъ оглядки домой, на родину! Но вернуться было уже нельзя: на родинѣ все продано до клочка, а что продано, то прожито въ дорогѣ, проѣдено, истрачено, и дай Богъ, чтобы хватило послѣднихъ грошей добраться до „новой земли". Ни вернуться, ни уѣхать дальше, ни оставаться—все было нельзя, и какъ ни вертись, какъ ни думай, ни направо, ни налѣво—нигдѣ не было выхода. „Не уѣдешь завтра—пропадать!—съ тоской думалъ Матвѣй.—Оборвешься..." Главное, его смущала мысль, что Николка завтра же и помретъ, какъ только всѣ уѣдутъ.

„Тогда пропадать!"

И опять вопросъ становился ребромъ: либо всей семьѣ разориться, либо спасаться тому, кто еще живъ и цѣлъ.

Поле, по которому онъ бродилъ, было все покрыто палатками и шалашами. Всюду торчали скрещенные шесты, пестрѣли на нихъ одѣяла, обноски и тряпки; возлѣ палатокъ, на помятой травѣ лежали и сидѣли люди, то вмѣстѣ, то порознь; кто курилъ трубку, кто разводилъ костеръ, отъ котораго стелился голубой прозрачный дымокъ, кто чинилъ рубаху; тутъ же молодая мать кормила грудью ребенка, а рядомъ бились въ засаленныя карты безбородые парни, рѣзвились и плакали дѣти, охала старуха; изнутри палатокъ слышался дѣтскій

кашель, материнская тихая пѣсенка или доносилось злое, нехорошее слово, либо старческій глубокій вздохъ съ причитаніемъ молитвы. И куда ни поди, куда ни взгляни, всюду люди, да люди, да шалаши, и такъ по всему полю, до самаго берега.

„Вотъ тутъ и жди череда! — думалъ Матвѣй, оглядывая со злобой эту двадцатитысячную голодную толпу.—Нешто всѣхъ переждешь!“

И опять онъ побрелъ къ своему шалашу, и опять вызвалъ Арину.

— Ни!.. Николкѣ не жить!—сказалъ онъ глухимъ голосомъ, точно стыдясь признаться въ своемъ рѣшеніи, и добавилъ со вздохомъ:—Божья воля!

Однако, сказавъ это, онъ зажмурилъ глаза и покрутилъ головой.

— Богъ далъ, Богъ и взялъ, — успокаивалъ онъ жену.—Будемъ живы, другой Николка родится, а этому... все одно!..

Стояла тихая звѣздная ночь.

Раскинувшійся по всему огромному полю переселенческій лагерь спалъ въ своихъ шалашахъ и въ травѣ. Спалъ и Матвѣй съ своимъ семействомъ, то бредя во снѣ, то храпя. Не спала только Арина.

Это была простая деревенская баба, съ широкой спиной и впалою грудью, сидѣвшая попросту на землѣ, сгорбившись и вытянувъ впередъ ноги; сощуренные глаза ея были обращены къ горизонту, блѣдному и ясному, ротъ опустился углами внизъ, а по широкому, плоскому лицу расплылись слезы. Изрѣдка она брала подолъ юбки и молча утирала имъ носъ, или глаза, или щеки, и опять глядѣла на ту далекую полосу, гдѣ сходилось небо съ землею и гдѣ на самомъ краю, надъ лѣсомъ, блестѣли двѣ ясныя звѣздочки, одна возлѣ другой; обѣ весело мелькали, переливаясь и точно играя, какъ маленькія дѣти.

Зачѣмъ она глядѣла на нихъ, Арина не думала, но глядѣла долго и пристально, а слезы все плыли по щекамъ, и материнское сердце ныло и болѣло. Забитая подневольная жизнь, терпѣливая и трудная, только и чувствовалась Ариной въ минуты горя; набѣжитъ бѣда, глянетъ ей прямо въ глаза—вотъ она и чувствуетъ, что ей больно и тяжело, а все остальное дѣло обыкновенное. Беременность среди работы и хлопотъ по хозяйству, роды, кормленіе грудью, порой пьяныя ласки подгулявшаго мужа—все выносила она, какъ должное. Случалось тащить изъ кабака озвѣрѣвшаго Матвѣя, терпѣть его брань и побои, да скрывать свои слезы отъ добрыхъ людей, а поутру топить избу, кормить ребятишекъ, шить имъ одежду, питаться впроголодь, да когда придетъ постъ, сокрушаться о грѣхахъ и быть въ постоянномъ страхѣ за свою душу, за ея вѣчное мученіе на томъ свѣтѣ. Въ трудѣ, лишеніяхъ и думахъ о завтрашнемъ днѣ протекала Аринина жизнь, точно рѣка по опредѣленному судьбой руслу, но Аринѣ казалось, что она счастлива; только жить было трудно.

Весело свѣтились передъ нею двѣ звѣздочки, и, глядя на нихъ, она думала про Николку. Ей хотѣлось самой положить его въ гробикъ, закрыть ему глаза, самой отнести на погостъ, подъ березки, повыть и поплакать надъ нимъ, а потомъ ужъ и ѣхать дальше, куда Богъ велитъ...

II.

Еще съ ранняго утра, почти съ разсвѣта, надъ полемъ стоялъ гулъ и говоръ, а къ полудню весь берегъ былъ усѣянъ народомъ. Мелькали въ толпѣ загорѣлыя лица хохловъ, бараньи шапки, мужицкія бороды, виднѣлись картузы и русскія лица, пестрѣли рубахи, бабьи платки, сермяги, заплаты, узлы, котомки. Все

колыхалось, двигалось и гудѣло. Всѣ глаза устремились къ рѣкѣ, гдѣ стоялъ пароходъ съ двумя огромными баржами на привязи; всѣ глядѣли на высокія мачты, на которыхъ развѣвались и надувались отъ вѣтра и весело трепетали разноцвѣтные флаги.

На жиденькомъ помостѣ, соединявшемъ берегъ съ баржей, стоялъ чиновникъ, по народному прозвищу, „переселенный“, стоялъ студентъ въ полинявшемъ мундирѣ и два матроса въ бѣлыхъ курткахъ, — одинъ съ тетрадью, другой съ счетами. Всѣ глядѣли на толпу, а толпа глядѣла на нихъ. Пустыя баржи тихо покачивались на зыби, изъ трубы парохода валилъ черный дымъ, и было что-то жуткое въ этомъ недолгомъ затишьѣ.

Наконецъ, чиновникъ сказалъ матросу:

— Начинай по порядку.

И матросъ закричалъ тонкимъ тягучимъ голосомъ:

— Вороньковцы!.. Вороньковская волость!

Толпа вдругъ заревѣла и пошатнулась. Расталкивая народъ, съ отвѣтнымъ крикомъ, выбивались къ берегу вороньковцы, таща дѣтей и волоча мѣшки.

— Выбрали старосту?

Толпа разступилась.

Вышелъ старикъ и поклонился чиновнику. — Староста, ваше благородіе. Вороньковской волости.

Пріемъ начался.

Каждую семью опрашивали и отсчитывали; когда же пропускали дѣтей, то студентъ раскрывалъ остроганной щепкой каждому ротъ и глядѣлъ въ горло. Сначала онъ дѣлалъ это внимательно, потомъ все быстрѣй и быстрѣй, потомъ вперемежку съ осмотромъ началъ вытирать себѣ вспотѣвшій лобъ, потомъ, опуская уставшую руку, качалъ ею вдоль бедра и снова напрягалъ вниманіе, и опять уставалъ, и опять махалъ рукой.

Миновавъ „начальство“, вороньковцы съ шумомъ

и говоромъ проходили на дальнюю баржу и спускались въ „каюту“, прозванную переселенцами ямой, потому что внутри баржи нѣтъ ни дверей ни оконъ.

Солнце пекло; надъ толпой, казалось, стоялъ паръ. Чиновникъ обмахивался фуражкой, студентъ, разстегнувъ сюртукъ, одной рукой утиралъ лицо, другою работалъ.

— Овчаровская волость!—снова прокричалъ матросъ тонкимъ тягучимъ голосомъ, когда кончились вороньковцы.—Овчаровская волость! Впередъ!

Снова загудѣла и заколыхалась толпа, и изъ нея съ крикомъ и бранью начали выбиваться овчаровцы и подходить къ помосту. Народомъ овладѣвало тревожное, нетерпѣливое чувство. Всѣ глядѣли, всѣ толпились, точно боясь чего-то недослышать. Многіе роптали, что вотъ—отправляютъ ближнихъ, а ихъ, дальнихъ путниковъ, амурскихъ, заставляютъ ждать. Одни кричали, что здѣсь они прожились и проѣлись, другіе негодовали на то, что смерть и болѣзни ополовинили ихъ семейства, третьи радовались, что сейчасъ уѣзжаютъ... И бранились и орали, созывая своихъ, — и вся толпа гудѣла, кричала и волновалась.

— Назадъ! У дѣвочки дифтеритъ!—заявилъ вдругъ студентъ, ломая и бросая щепку, которой только что прижималъ ребенку языкъ.

— Ваше благородіе!—взмолился мужикъ, озадаченный и сразу потерявшійся.—Явите божескую милость... Три недѣли... Проѣлись всѣ...

— Назадъ!

— Ваше благородіе! Не губите...

— Назадъ! Назадъ! — подхватили матросы. — Не разговаривай!

— Ваше благ...

Голосъ мужика осѣкся. Произошло замѣшательство. Вся семья, уже пропущенная къ баржѣ, должна была вернуться на берегъ. Поднялся крикъ и плачъ. Отецъ

больной дѣвочки стоялъ съ стиснутыми зубами и поднятымъ кулакомъ; казалось, онъ убьетъ ее съ отчаянія, но онъ, ухвативъ себя за волосы, началъ ныть тонкимъ, почти бабьимъ голосомъ, оплакивая свою долгую новую задержку, оплакивая свое разореніе и несчастье, а матросъ между тѣмъ уже вызывалъ:

— Жилинская волость! Жилинцы, впередъ!

Толпа опять загудѣла, заколыхалась, и мужикъ съ его семьей, съ его горемъ и больнымъ ребенкомъ, на минуту привлекшій общее вниманіе, былъ мгновенно забытъ.

Всякому было только до себя.

Чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣй овладѣвало народомъ нетерпѣливое чувство. На глазахъ у всѣхъ происходили страшныя сцены, когда изъ-за больного оставалась цѣлая семья, а товарищи ихъ уходили на баржу; слышались стоны, вопли, ругательства, но никто на нихъ не обращалъ вниманія, никто не отзывался.

Объятая ужасомъ, стояла передъ чиновникомъ баба, блѣдная, съ трясущимися губами, а матросъ, вынувъ изъ ея мѣшка ребенка, котораго баба тайкомъ хотѣла пронести на баржу, показывалъ студенту. Ребенокъ былъ въ оспѣ.

Эта же мысль—пронести Николку въ мѣшкѣ—мелькала въ головѣ Матвѣя, но пойманная баба смутила его. Проститься заживо—больше ничего не оставалось дѣлать съ Николкой. Какъ ни думалъ Матвѣй, какъ ни считалъ свои капиталы, нужда толкала его ближе къ помосту; какъ ни надрывалась Арина, но баржа наполнялась народомъ, и очередь приближалась, и никакія думы, никакія слезы не помогали.

— Божья воля!—рѣшалъ въ сотый разъ Матвѣй, съ тоской и почти съ злобой оглядывая и считая семью.— Не пропадать же всѣмъ, коли такъ!.. А Николка не жилецъ на свѣтѣ... аминь!

Народъ волновался все болѣе, все сильнѣе; ожив-

леніе, спѣшка и суетня все крѣпче охватывали настрадавшіяся сердца; боялись, какъ бы не вышло ошибки, какъ бы не объявили, что баржа полна, что сажать больше некуда,—и каждый вызовъ, каждый окрикъ матроса такъ и шатали эту толпу, такъ и тянули ближе къ берегу, ближе къ баржамъ.

— Сосновская волость!—раздался вдругъ голосъ.— Сосновцы, впередъ!

Словно земля дрогнула подъ Матвѣемъ. Онъ быстро взглянулъ на жену, на семью, на свою поклажу и вмѣстѣ съ другими крикнулъ: „Мы!“... — А вокругъ него ревѣла уже толпа, точно буря; его тѣснили, толкали, напирали на него со всѣхъ сторонъ. Общее стихійное чувство тревоги и поспѣшности охватило внезапно и его самого; въ немъ пробудился затравленный звѣрь, настала пора спасать свою шкуру; уже не было дѣла до бабьихъ слезъ и рыданій, раздававшихся сзади него; съ устремленными впередъ глазами, нахмуренный, съ струящимся по лицу холоднымъ потомъ, оскаливъ зубы, Матвѣй проталкивался сквозь народъ, расчищая путь для семьи къ баржевому помосту...

Къ вечеру, когда загудѣлъ пароходъ, когда натянулись крѣпкіе канаты, и обѣ баржи, переполненныя людьми, грузно и тяжело тронулись, Матвѣй сидѣлъ на днѣ баржи, съежившись и ничего не видя передъ собою: ни берега, ни рѣки, ни оставшагося на берегу народа. Онъ только ощутилъ, что баржа тронулась, — и перекрестился.

„Божья воля!.. Не встать Николкѣ... Все одно — помретъ!“

Такъ онъ думалъ часъ и два, и весь день, и недѣлю, и мѣсяцъ; такъ, вѣроятно, будетъ думать и всю жизнь...

Къ глубокой осени опустѣло поле. Народъ разбрелся въ разныя стороны; затихли и опустѣли бараки, застыла рѣка. Остались только за лѣсомъ новыя могилы, въ

полѣ соръ и грязь, да въ маленькомъ домикѣ у сторожа нѣсколько дѣтей, осиротѣлыхъ или забытыхъ, либо брошенныхъ родителями на произволъ судьбы. Они дичились другъ друга, плакали въ одиночку, звали тятьку да мамку, и никто не зналъ, чьи они дѣти, откуда, и гдѣ находятся теперь ихъ семьи. Среди этихъ „божьихъ дѣтей“ остался и Николка, исхудавшій и поблѣднѣвшій послѣ болѣзни.

— Кто твой отецъ?—спрашивали его.—Откуда онъ? Какъ его звать?

— Тятька,—со слезами отвѣчалъ мальчикъ.

— А мать какъ зовутъ?

— Мамка.

И больше ничего отъ него нельзя было узнать.

ЕЛКА МИТРИЧА.

I.

Былъ канунъ Рождества...

Сторожъ переселенческаго барака, отставной солдатъ, съ сѣрою, какъ мышиная шерсть, бородою, по имени Семенъ Дмитріевичъ, или попросту Митричъ, подошелъ къ женѣ и весело проговорилъ, попыхивая трубочкой.

— Ну, баба, какую я штуку надумалъ!

Аграфенѣ было некогда; съ засученными рукавами и разстегнутымъ воротомъ она хлопотала въ кухнѣ, готовясь къ празднику.

— Слышь, баба!—повторилъ Митричъ.—Говорю, какую я штуку надумалъ!

— Чѣмъ штуки-то выдумывать, взялъ бы метелку да вонъ паутину бы снялъ!—отвѣтила жена, указывая на углы. — Вишь, пауковъ развели. Пошелъ бы да смелъ!

Митричъ, не переставая улыбаться, поглядѣлъ на потолокъ, куда указывала Аграфена, и весело сказалъ:

— Паутина не уйдетъ; смету... А, ты, слышь-ка, баба, что я надумалъ-то!

— Ну.

— Вотъ те и ну! Ты слушай.

Митричъ пустилъ изъ трубки клубъ дыма и, погладивъ бороду, присѣлъ на лавку.

— Я говорю, баба, вотъ что,—началъ онъ бойко, но сейчасъ же запнулся и глубоко вздохнулъ.—Я говорю, праздникъ пришелъ... И для всѣхъ онъ праздникъ, и всѣ его почитаютъ, и всѣ ему радуются... Правильно, баба?

— Ну.

— Ну, вотъ я и говорю: всѣ, молъ, радуются, у всякаго есть свое, у кого обновка къ празднику, у кого пиры пойдутъ... У тебя, къ примѣру, комната будетъ чистая, у меня тоже свое удовольствіе: водочки куплю себѣ да колбаски!... У всякаго свое удовольствіе будетъ,—правильно?

— Такъ что-жъ?—равнодушно сказала старуха.

— А то, — вздохнулъ снова Митричъ, — что всѣмъ будетъ праздникъ, какъ праздникъ, а вотъ, говорю, ребятишкамъ-то, выходитъ, и нѣтъ настоящаго праздника... Поняла?... Оно праздникъ-то есть, а удовольствія никакого... Гляжу я на нихъ да и думаю; эхъ, думаю: неправильно!.. Извѣстно, сироты... ни матери, ни отца, ни родныхъ... Думаю себѣ, баба: нескладно!.. Почему такое,—всякому человѣку радость, а сиротѣ—ничего!

— Тебя, видно, не переслушаешь, — махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.

Но Митричъ не умолкалъ.

— Надумалъ я, баба, вотъ что,—говорилъ онъ, улыбаясь,—надо, баба, ребятишекъ потѣшить!.. Потому видалъ я много народу, и нашихъ господъ, и нѣмцевъ видалъ... И видалъ я, какъ они къ празднику дѣтей забавляютъ. Принесутъ, это, елку, уберутъ ее свѣчками да гостинцами, а ребятки-то ихніе просто даже скачутъ отъ радости!.. Думаю себѣ, баба: лѣсъ у насъ близко... Срублю себѣ елочку, да такую потѣху ребятишкамъ устрою, что весь вѣкъ будутъ Митрича поминать! Вотъ, баба, какой умыселъ,—а?

Митричъ весело подмигнулъ и чмокнулъ губами.

— Каковъ я-то?

Аграфена молчала. Ей хотѣлось поскорѣе прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митричъ съ своимъ разговоромъ ей только мѣшалъ.

— Нѣтъ, каковъ, баба, умыселъ, а?

— А ну те съ твоимъ умысломъ!—крикнула она на мужа.—Пусти съ лавки-то, чего засѣлъ! Пусти, некогда съ тобой сказки разсказывать!

Митричъ всталъ, потому что Аграфена, окунувъ въ ведро мочалку, перенесла ее на скамью, прямо на то мѣсто, гдѣ сидѣлъ мужъ, и начала тереть. На полъ полились струи грязной воды, и Митричъ смекнулъ, что пришелъ невпопадъ.

— Ладно, баба!—проговорилъ онъ добродушно.— А вотъ устрою потѣху, такъ, небось, сама скажешь спасибо!.. Говорю, сдѣлаю—и сдѣлаю! Весь вѣкъ поминать будутъ Митрича ребятишки!.. Да!

— Видно, дѣлать-то тебѣ нечего.

— Нѣтъ, баба! Есть, что дѣлать; а сказано, устрою— и устрою! Даромъ, что сироты, а Митрича всю жизнь не забудутъ!

И, сунувъ въ карманъ потухшую трубку, Митричъ вышелъ во дворъ.

II.

По двору, тамъ и сямъ, были разбросаны деревянные домики, занесенные снѣгомъ и забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снѣжное поле, а дальше виднѣлись верхушки городской заставы... Съ ранней весны и до глубокой осени черезъ городъ проходили переселенцы. Ихъ бывало такъ много, и такъ они были бѣдны, что добрые люди выстроили имъ эти домики, которые сторожилъ Митричъ. Домики бывали всѣ переполнены, а переселенцы между тѣмъ все приходили и приходили. Дѣваться имъ было некуда, и вотъ

они раскидывали въ полѣ шалаши, куда и прятались съ семьей и дѣтьми въ холодъ и непогоду. Иные жили здѣсь недѣлю, двѣ, а иные больше мѣсяца, дожидаясь очереди на пароходы. Въ половинѣ лѣта здѣсь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но къ осени поле мало-по-малу пустѣло, дома освобождались и тоже пустѣли, а къ зимѣ не оставалось уже никого, кромѣ Митрича и Аграфены, да еще нѣсколькихъ дѣтей, неизвѣстно чьихъ.

— Вотъ ужъ грѣхъ, такъ ей Богу грѣхъ!—разсуждалъ Митричъ, пожимая плечами.—Куда теперь съ этимъ народомъ дѣваться? Кто они такіе? Откуда явились?

Вздыхая, онъ подходилъ къ ребенку, одиноко стоявшему у воротъ.

— Ты чей такой?

Ребенокъ, худой и блѣдный, глядѣлъ на него робкими глазами и молчалъ.

— Какъ тебя звать?

— Ѳомка.

— Откуда ты? Какъ деревню твою называютъ?

Ребенокъ не зналъ.

— Ну, отца какъ зовутъ?

— Тятька...

— Знаю, что тятька... А имя-то у него есть? Ну, къ примѣру, Петровъ или Сидоровъ или, тамъ, Голубевъ, Касаткинъ? Какъ звать-то его?..

— Тятька...

Привычный къ такимъ отвѣтамъ Митричъ вздыхалъ и, махнувъ рукою, болѣе не допытывался.

— Родителей-то, знать, потерялъ, дурачокъ?—говорилъ онъ, гладя ребенка по головѣ.—Эхъ, ты сиротка, сиротка!

— А ты кто такое?—обращался онъ къ другому ребенку.—Гдѣ твой отецъ?

— Померъ...

— Померъ? Ну, царствіе ему небесное! А мать куда дѣвалась?

— Померла...

— Тоже померла?..

Митричъ разводилъ руками и, вздыхая, собиралъ такихъ сиротъ и отводилъ ихъ къ переселенческому чиновнику. Тотъ тоже допрашивалъ и тоже, вздыхая, пожималъ плечами.

У однихъ родители умерли, у другихъ ушли неизвѣстно куда, и вотъ такихъ дѣтей набралось у Митрича восемь человѣкъ, одинъ другого меньше. Куда ихъ дѣвать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не зналъ.

— „Божьи дѣти!"—называлъ ихъ Митричъ.

Имъ отвели одинъ изъ домовъ, самый маленькій. Тамъ они жили, и тамъ затѣялъ Митричъ устроить имъ, ради праздника, елку, какую онъ видывалъ у богатыхъ господъ и у нѣмцевъ.

— „Сказано, сдѣлаю,—и сдѣлаю!"—думалъ онъ, идя по двору.—„Пускай сиротки за меня Бога молятъ! Такую потѣху сочиню, что весь вѣкъ Митрича не забудутъ!"

И, улыбаясь, онъ направился въ дѣтскій баракъ.

III.

Обѣдня кончилась... Весело гудѣлъ праздничный колоколъ, и еще веселѣе переливались въ воздухѣ звуки мелкихъ колоколовъ. Расфранченный народъ толпою выходилъ изъ церкви, но Митричъ стоялъ возлѣ церковнаго ящика и глядѣлъ на старосту, не рѣшаясь подойти. Наконецъ, староста заперъ ящикъ и надѣлъ шубу.

„Ай, уйдетъ!"—встревожился Митричъ, но подойти

къ нему было все-таки боязно, а староста взялся уже за шапку.

Видя, что наступила рѣшительная минута, Митричъ шагнулъ впередъ и, улыбаясь, поклонился.

— Съ праздникомъ, Никита Назарычъ!—проговорилъ онъ, загородивъ старостѣ дорогу.—Желаю быть здоровымъ, Никита Назарычъ!

— Спасибо, спасибо, любезный,—отвѣтилъ староста, которому уже давно надоѣли съ поздравленіями.

— А я къ вамъ, Никита Назарычъ, съ усерднѣйшей просьбой. Не откажите доброму дѣлу.

— Что такое?

— Прикажите выдать горсточку огарковъ... самыхъ махонькихъ... Потому, какъ сироты... ни отца, ни матери... А праздникъ великій... Я, стало быть, сторожъ переселенскій... Восемь сиротокъ осталось... Такъ вотъ, ради праздника, Никита Назарычъ... Одолжите горсточку.

— На что тебѣ огарки?

— Удовольствіе хочется сдѣлать... Елку зажечь, въ родѣ какъ у путныхъ людей.

Староста поглядѣлъ на Митрича и молча покачалъ головой.

— Ты что, старикъ, изъ ума что ли выжилъ?—проговорилъ онъ съ укоромъ, продолжая качать головой.—Ахъ, старина, старина! Свѣчи-то передъ иконами горѣли, а тебѣ ихъ на глупости дать?

— Вѣдь огарочки, Никита Назарычъ...

— Ступай, ступай! — махнулъ рукою староста.—И какъ тебѣ въ голову такая дурь пришла, удивляюсь!

Митричъ какъ подошелъ съ улыбкой, такъ съ улыбкой же и отошелъ; но только ему было очень обидно. Было еще и совѣстно передъ церковнымъ сторожемъ, такимъ же, какъ и онъ, старымъ солдатомъ, который теперь глядѣлъ на него съ усмѣшкой и, казалось, ду-

малъ: „Что? Наткнулся, старый хрѣнъ!..“ Желая доказать, что онъ не „на чай“ просилъ и не для себя хлопоталъ, Митричъ подошелъ къ старику и сказалъ:

— Домъ Божій... и дѣти Божьи... Какой же грѣхъ, коли я огарокъ возьму? Сиротамъ прошу, не себѣ... Пусть бы порадовались... ни отца, стало быть, ни матери... Прямо сказать: Божьи дѣти!

Въ короткихъ словахъ Митричъ объяснилъ старику, зачѣмъ ему нужны огарки, и опять спросилъ:

— Какой же тутъ грѣхъ?

— А Никиту Назарыча слышалъ?—спросилъ въ свою очередь солдатъ и весело подмигнулъ глазомъ.—То-то и дѣло!

Митричъ покрутилъ головой и задумался. Но дѣлать было нечего. Онъ приподнялъ шапку и, кивнувъ солдату, проговорилъ обидчиво:

— Ну, такъ будьте здоровы.

— А какихъ тебѣ огарковъ-то?

— Да все одно... хошь самыхъ махонькихъ! Одолжили бы горсточку. Доброе дѣло сироткамъ сдѣлаете. Ни отца, ни матери...

Черезъ десять минутъ Митричъ шелъ уже городомъ съ полнымъ карманомъ огарковъ, весело улыбаясь и торжествуя. Ему нужно было зайти еще къ Павлу Сергѣевичу, переселенческому чиновнику, поздравить съ праздникомъ, гдѣ онъ разсчитывалъ отдохнуть и, если угостятъ, выпить стаканчикъ водки. Но чиновникъ былъ занятъ; не повидавъ Митрича, онъ велѣлъ сказать ему спасибо и выслалъ четвертакъ.

„Ну, теперь ладно!“ весело думалъ Митричъ. „Теперь пускай говоритъ баба, что хочетъ, а ужъ потѣху я сдѣлаю ребятишкамъ! Теперь, баба, шабашъ!

Вернувшись домой, онъ ни слова не сказалъ женѣ, а только посмѣивался молча да придумывалъ, когда и какъ устроить елку.

„Восемь дѣтей“, разсуждалъ Митричъ, загибая на

рукахъ пальцы. „Стало быть, восемь конфетъ... По копейкѣ,—это восемь копеекъ...

Вынувъ полученный четвертакъ, Митричъ поглядѣлъ на него и что-то сообразилъ.

— Ладно, баба!—сказалъ онъ. — Ты у меня посмотришь!—и, засмѣявшись, пошелъ навѣстить дѣтей.

Войдя въ баракъ, Митричъ помолился на образъ.

— Ну, публика, здравствуй, — весело проговорилъ онъ.—Съ праздникомъ! Рождество твое, Христе, Боже нашъ!

Въ отвѣтъ раздались недружные дѣтскіе голоса, и Митричъ, самъ не зная, чему радуясь, прослезился.

— Ахъ, вы, публика-публика!..—шепталъ онъ, утирая слезы и улыбаясь. —Ахъ, вы, публика!

На душѣ у него было и грустно и радостно. И дѣти глядѣли на него тоже не то съ радостью, не то съ грустью.

IV.

Былъ ясный морозный полдень.

Съ топоромъ за поясомъ, въ тулупѣ и шапкѣ, надвинутой по самыя брови, возвращался Митричъ изъ лѣса, таща на плечѣ елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запушены снѣгомъ, и борода Митрича заиндивѣла, и усы замерзли, но самъ онъ шелъ ровными, солдатскими шагами, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя онъ и усталъ. Утромъ онъ ходилъ въ городъ, чтобы купить для дѣтей конфетъ, а для себя—водки и колбасы, до которой былъ страстный охотникъ, но покупалъ ее рѣдко и ѣлъ только по праздникамъ.

Не сказываясь женѣ, Митричъ принесъ елку прямо въ сарай и топоромъ заострилъ конецъ; потомъ приладилъ ее, чтобы стояла,—и когда все было готово, потащилъ ее къ дѣтямъ.

— Ну, публика, теперь смирно!—говорилъ онъ, устанавливая елку. — Вотъ маленько оттаетъ, тогда помогайте!

Дѣти глядѣли и не понимали, что такое дѣлаетъ Митричъ, а тотъ все прилаживалъ да приговаривалъ:

— Что? Тѣсно стало?... Небось, думаешь, публика, что Митричъ съ ума сошелъ, а? Зачѣмъ, молъ, тѣсноту дѣлаетъ?.. Ну, ну, публика, не сердись! Тѣсно не будетъ!..

Когда елка согрѣлась, въ комнатѣ запахло свѣжестью и смолою. Дѣтскія лица, печальныя и задумчивыя, внезапно повеселѣли... Еще никто не понималъ, что дѣлаетъ старикъ, но всѣ уже предчувствовали удовольствіе, и Митричъ весело поглядывалъ на устремленные на него со всѣхъ сторонъ глаза.

Затѣмъ онъ принесъ огарки и началъ привязывать ихъ нитками.

— Ну-ка, ты, кавалеръ!—обратился онъ къ мальчику, стоя на табуреткѣ. — Давай-ка сюда свѣчку... Вотъ такъ! Ты мнѣ подавай, а я буду привязывать.

— И я! и я!—послышались голоса.

— Ну, и ты,—согласился Митричъ.—Одинъ держи свѣчки, другой нитки, третій давай одно, четвертый другое... А ты, Мареуша, гляди на насъ, и вы всѣ глядите. Вотъ мы, значитъ, всѣ и будемъ при дѣлѣ. Правильно?..

Кромѣ свѣчей, на елку повѣсили восемь конфетъ, зацѣпивъ за нижніе сучки. Однако, поглядывая на нихъ, Митричъ покачалъ головой и вслухъ подумалъ:

— А вѣдь... жидко, публика?

Онъ молча постоялъ передъ елкой, вздохнулъ и опять сказалъ:

— Жидко, братцы!

Но какъ ни увлекался Митричъ своей затѣей, однако, повѣсить на елку, кромѣ восьми конфетъ, онъ ничего не могъ.

— Гм!—разсуждалъ онъ, бродя по двору. — Что бы это придумать?..

Вдругъ ему пришла такая мысль, что онъ даже остановился.

— А что?—сказалъ онъ себѣ. — Правильно будетъ или нѣтъ?..

Закуривъ трубочку, Митричъ опять задался вопросомъ: правильно или нѣтъ?.. Выходило, какъ будто, „правильно“...

— Дѣтишки они малыя... ничего не смыслятъ,—разсуждалъ старикъ.—Ну, стало быть, будемъ мы ихъ забавлять... А сами-то? Небось, и сами захотимъ позабавиться?.. Да и бабу надо будетъ попотчевать!

И недолго думая, Митричъ рѣшился. Хотя онъ очень любилъ колбасу и дорожилъ всякимъ кусочкомъ, но желаніе угостить на славу пересилило всѣ его соображенія.

— Ладно!.. Отрѣжу всякому по кружочку и повѣшу на ниточкѣ. И хлѣбца по ломтику отрѣжу, и тоже на елку. А для себя повѣшу бутылочку!.. И себѣ налью, и бабу угощу, и сироткамъ будетъ лакомство! Ай, да Митричъ!—весело воскликнулъ старикъ, хлопнувъ себя обѣими руками по бедрамъ:—Ай, да затѣйникъ!

V.

Какъ только стемнѣло, елку зажгли. Запахло топленымъ воскомъ, смолою и зеленью. Всегда угрюмыя и задумчивыя, дѣти радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза ихъ оживились, личики зарумянились, и, когда Митричъ велѣлъ имъ плясать вокругъ елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумѣли. Смѣхъ, крики и говоръ оживили въ первый разъ эту мрачную комнату, гдѣ изъ года въ годъ слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена въ удивленіи разводила руками, а Митричъ, ликуя отъ всей души, прихлопывалъ въ ладоши да покрикивалъ.

— Правильно, публика!.. Правильно!

Затѣмъ онъ взялъ гармонику и, наигрывая на всѣ лады, подпѣвалъ:

„Живы были мужики,
„Росли грибы рыжики,—
„Хорошо, хорошо,
„Хорошо-ста, хорошо“!

— Ну, баба, теперь закусимъ!—сказалъ Митричъ, кладя гармонику.—Публика, смирно!..

Любуясь елкою, онъ улыбался и, подперевъ руками бока, глядѣлъ то на кусочки хлѣба, висѣвшіе на ниткахъ, то на дѣтей, то на кружки колбасы, и наконецъ скомандовалъ:

— Публика! Подходи въ очередь!

Снимая съ елки по куску хлѣба и колбасы, Митричъ одѣлилъ всѣхъ дѣтей, затѣмъ снялъ бутылку и вмѣстѣ съ Аграфеной выпилъ по рюмкѣ.

— Каковъ, баба, я-то?—спрашивалъ онъ, указывая на дѣтей.—Погляди, вѣдь, жуютъ сиротки-то! Жуютъ! Погляди, баба! Радуйся!

Затѣмъ опять взялъ гармонику и, позабывъ свою старость, вмѣстѣ съ дѣтьми пустился плясать, наигрывая и подпѣвая:

„Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!“

Дѣти прыгали, визжали и кружились, и Митричъ не отставалъ отъ нихъ. Душа его переполнилась такою радостью, что онъ не помнилъ, бывалъ ли еще когда-нибудь въ его жизни этакій праздникъ.

— Публика!—воскликнулъ онъ наконецъ.—Свѣчи догораютъ... Берите сами себѣ по конфеткѣ, да и спать пора!

Дѣти радостно закричали и бросились къ елкѣ, а Митричъ, умилившись до слезъ, шепнулъ Аграфенѣ.

— Хорошо, баба!.. Ей-Богу, правильно!..

СЪ БОГОМЪ!

I.

Закатъ еще не померкъ; надъ городомъ еще тянулись яркія цвѣтныя полосы вечерней зари, а надъ степью уже всходила луна; она еще не свѣтила, не золотила степи, а только глядѣла ласково и скромно, обѣщая тихую, ясную ночь. Было тепло.

Устинычъ, невысокій старикъ, лѣтъ семидесяти, съ сѣдой бородкой и свѣтлыми, грустными глазами, сидѣлъ у воротъ на скамейкѣ и думалъ, то весело поглядывая на небо, то украдкой вздыхая. За воротами раскидывался дворъ, обнесенный сѣрымъ дощатымъ заборомъ, весь обросшій высокой крапивой и широкими лопухами. Посреди двора стоялъ домикъ — бывшій холерный баракъ; изъ оконъ его видна была невдалекѣ городская застава, а по другую сторону — безконечная степь.

Здѣсь жили переселенцы.

Одни уходили, другіе приходили, и домикъ всегда былъ полонъ народа.

Пока Устинычъ сидѣлъ и думалъ, его семья снаряжала повозку—маленькую телѣжку о двухъ колесахъ съ выгнутыми сквозными боками, похожими на ребра, и съ короткими оглоблями, лежавшими пока на травѣ.

— Чего-жъ, на ночь глядя, поѣдешь?—спрашивали старика сосѣди, вышедшіе за ворота поглядѣть на чужія хлопоты.

— А что-жъ, — спокойно отвѣчалъ Устинычъ. — Вона—мѣсяцъ-батюшка вышелъ... Оно свѣтленько съ нимъ-то, а не жарко. А матушка-солнышко теперь тоже рано проглядываетъ; а какъ зачнетъ, это, припекать, мы и въ рощу, на отдыхъ... Такъ-то вотъ, милые.

Онъ охотно разсказывалъ обо всемъ: куда идетъ, почему и давно-ли изъ дому.

— Идемъ далече, пріятель. На версты считать, не знаю, какъ и выговорить. А идемъ ужъ давно... верстъ семьсотъ прошли, слава Богу. Да осталось верстъ тыщу... Ничего, милый,—дойдемъ! А семья наша вотъ какая: я со старухой—это двое... да Трифонъ—сынъ, да при немъ жена, да дѣтей четыре души—крохотныхъ... Да еще, значитъ, пятый внукъ—Лександро... Выходитъ—девять душъ; да десятая дочь... да еще двѣ дочери...

Онъ показалъ обѣ руки, на которыхъ при счетѣ загнулъ уже всѣ пальцы, и, причмокнувъ, добавилъ.

— Эна, милый человѣкъ, народу-то! А каждый ротъ хлѣбушка проситъ, а его, значитъ, нѣтъ и нѣтъ! Четвертый годъ нѣтъ урожая, хоть ты что хочешь!

Телѣжку между тѣмъ снарядили. Въ нее набили разное тряпье и пожитки; въ нее же посадили и жену Устиныча, худую, сморщенную старуху.

— Ноги-то, ноги-то,—жаловалась та, когда Трифонъ, коренастый мужикъ, положилъ ей на колѣна ребенка.

— Мало что, матушка,—потѣснись! возразилъ онъ спокойно, передавая еще двухъ маленькихъ дѣвочекъ.— Не у себя дома!

Онъ вытеръ вспотѣвшій лобъ и отошелъ въ сторону. Дѣти возились, стараясь удобнѣе сѣсть, а старуха только кряхтѣла и безмолвно шевелила губами.

— Бабы! готовы что-ль? крикнулъ Трифонъ, оглядывая толпу, собравшуюся у воротъ.

На его вызовъ стали собираться къ телѣжкѣ молодыя бабы съ узлами за спиной.

— Всѣ здѣсь? спросилъ Трифонъ, пересчитывая

семью. Ну-ка, батюшка, подходи!—обратился онъ къ старику, который все еще сидѣлъ на скамейкѣ.

Устинычъ покряхтѣлъ, погладилъ колѣнки, вздохнулъ, однако всталъ и, переваливаясь, нехотя пошелъ къ телѣжкѣ.

— Ладно сидите-то? освѣдомился онъ у старухи и, не дожидаясь отвѣта, повернулся къ бабамъ:—Все захватили-то?

Онъ задавалъ еще какіе-то вопросы, отдаляя минуту отъѣзда, щурился на небо, гладилъ спину, искалъ что-то въ травѣ.

— Ну, милые, присядемъ,—выговорилъ онъ наконецъ,—и вся семья, молча и покорно, опустилась въ траву, вокругъ повозки. Потомъ всѣ встали и помолились, отдали по поклону на четыре стороны, а Устинычъ, поднявъ надъ головой обѣими руками клеенчатый картузъ, обратился ко всѣмъ окружающимъ:

— Простите, милые.

— Съ Богомъ! отвѣтили ему голоса.

Трифонъ поднялъ оглобли и пристроилъ ихъ поудобнѣе къ своимъ бокамъ, точно запрягся какъ коренникъ.

— Берись, батюшка. Полно оглядываться,—сказалъ онъ Устинычу; потомъ крикнулъ сыну: Берись, Сашутка!

Бойкій мальчикъ, лѣтъ тринадцати, подхватилъ пристяжную веревку съ широкой петлей, въ родѣ бурлацкихъ помочей, накинулъ ее Устинычу на плечо, а самъ впрягся съ другой стороны на пристяжку и по командѣ Трифона:—Съ Богомъ!—всѣ трое: сынъ, отецъ и дѣдъ—приналегли на веревки.

Повозка тронулась.

Смирно сидѣли въ телѣжкѣ трое малютокъ, держась за края; покорно молчала старуха и лишь изрѣдка вздрагивала, точно во снѣ. За телѣжкой шли бабы съ котомками за плечами, опираясь на палки. Длинныя слабыя тѣни ложились отъ нихъ на дорогу, и луна

точно серебромъ устилала имъ путь. Было ясно вокругъ, тихо и торжественно. Съ одной стороны чернѣлъ лѣсъ, а съ другой раскидывалась безконечная степь, вся проникнутая луннымъ сіяніемъ, теряющаяся въ прозрачномъ туманѣ.

Когда Сашутка ослабѣвалъ и останавливался перевести духъ, то Трифонъ останавливался тоже, но старый Устинычъ, налегая плечомъ на свою пристяжку, старался ободрить всѣхъ и выкрикивалъ хриплымъ голосомъ, взмахивая рукою:

— Ну, ну... съ Богомъ!.. съ Богомъ!..

А когда уставалъ онъ самъ, и тройка останавливалась, то нерѣдко среди степи слышался звонкій мальчишескій голосъ Сашутки, желавшаго поддержать настроеніе.

— Съ Богомъ, дѣдушка! Съ Богомъ!..

И тройка мало-по-малу продолжала свой путь.

II.

Начинало свѣтать... По полю закурилась жидкая роса, и ни кусты, ни телеграфные столбы уже не бросали тѣней: все сгладилось и сравнялось въ сѣромъ предутреннемъ свѣтѣ; угомонилась и „ночная“ птица, пугавшая своими сѣрыми безшумными крылами встрѣчныхъ путниковъ, внезапно перелетая имъ дорогу чуть не по самой землѣ; безпомощно и тоскливо взирала луна на зардѣвшійся востокъ и медленно утопала, блѣдная, за горизонтомъ... Было свѣжо. Въ росистой травѣ, возлѣ трактовой дороги, стояли недвижно, точно въ раздумьѣ, стреноженныя лошади; кое-гдѣ еще дымились потухающіе костры, и среди телѣгъ и кибитокъ, среди низенькихъ тряпичныхъ шалашей по всему полю пестрой волною раскинулся сонный таборъ переселенцевъ.

Вокругъ все было тихо и неподвижно, когда при-

близилась сюда тройка Устиныча. И Сащутка, и Трифонъ, и самъ Устинычъ, задыхаясь отъ усталости, еле тащили телѣжку, поминутно останавливаясь перевести духъ.

— Вотъ, милые, отдохнемъ!—сказалъ старикъ хриплымъ шопотомъ, тяжело дыша и обтирая рукавомъ свое потное и пыльное лицо.—Стойте, милые; будетъ!..

Тройка остановилась.

— Вишь, добрые люди отдыхаютъ,—кивнулъ онъ на поле, усѣянное спящимъ народомъ.—Будетъ ребятки,—поработали!

Трифонъ молча бросилъ оглобли, Сащутка скинулъ петлю — и всѣ расположились на отдыхъ. Дѣти спали крѣпко; старуха дремала и медленно раскачивалась въ повозкѣ... Бабы легли на траву, подложивъ подъ головы узлы, и только Устинычъ, вздыхая и чмокая, не могъ успокоиться сразу: ему вспоминалось утро на далекой родинѣ, и было жаль, что нигдѣ не поетъ пѣтухъ, нигдѣ не лаютъ собаки...

. . . . . .

Когда взошло солнце, таборъ зашевелился: заржали лошади, заплакали дѣти, и кое-гдѣ заструился свѣжій дымокъ; по полю ярче забѣлѣли палатки, наряднѣе запестрѣла трава желтыми, голубыми и бѣлыми цвѣтами. Все пробуждалось, и сквозь зѣвоту и сонъ вздыхало, кряхтѣло, переговаривалось; съ обнаженной нечесанной головою стоялъ у телѣги мужикъ, опустивъ руки и, глядя на востокъ, шепталъ молитву; и много по полю виднѣлось такихъ мужиковъ, стоявшихъ съ непокрытыми головами и глядѣвшихъ въ одну и ту же сторону...

Устинычъ уже былъ на ногахъ. Онъ взглянулъ на свою спящую семью, послушалъ, какъ храпитъ Трифонъ и, печально покрутивъ головой, побрелъ въ середину табора поглядѣть на людей. На душѣ у него было грустно и сиротливо; хотѣлось съ кѣмъ-нибудь

обмѣняться добрымъ словомъ, но, останавливаясь передъ телѣгами, онъ видѣлъ, что всѣмъ не до него. Всѣ были заняты, всѣ хлопотали, и Устинычу не съ кѣмъ было перемолвиться. То попадалась ему баба, которая качаетъ охрипшаго отъ крика ребенка и старается накормить его грудью; въ глазахъ у нея столько страданія и злобы, что Устинычъ молча проходилъ мимо, не рѣшаясь даже остановиться. Мужики осматривали и чинили телѣги, бабы снимали съ кольевъ просохнувшія тряпки; всѣ перекликались, бранились; тутъ же стонала беременная женщина; тутъ же подростокъ налаживалъ попорченную гармонику, а рядомъ старикъ сколачивалъ маленькій гробикъ; по полю бѣгали босоногіе ребятишки, ссорясь, играя и плача... Не было нигдѣ веселыхъ лицъ,—ни веселыхъ, ни спокойныхъ, а были робкія, изнуренныя заботой, либо сердитыя лица.

Устинычъ приглядывался, къ кому бы подойти съ разговоромъ, и подошелъ къ старику, который сколачивалъ гробъ.

— Здравствуй, добрый человѣкъ! — сказалъ онъ, приподнимая надъ головой обѣими руками картузъ.— Вишь ты: знать, для внучка, домикъ-то строишь?.. Горе съ ними, съ малыми ребятами!..

Не отрываясь отъ дѣла, старикъ отвѣчалъ угрюмо:

— Божья воля.

Слово за слово—Устинычъ разспросилъ его, откуда и куда они идутъ, гдѣ покупали лошадей и почемъ покупали, и самъ разсказывалъ о себѣ: про все свое горе, про бѣдность, про тяжелую свою жизнь.

Вздыхая и причмокивая, онъ говорилъ:

— Вотъ это, милый, протерпѣли мы голодный годъ... корму нѣту... Солому съ крышъ поснимали, а все скотинка, это, тощаетъ... И скотинку порѣзали... Оборвалось, милый, хозяйство... Ну, и пошли вотъ семействомъ... А землю, хозяйство, домикъ тоже — бросили,

значитъ: за недоимки оставили. Трудно, милый, а ничего не подѣлаешь, потому деньги теперь всякому очень нужны: безъ денегъ теперь шагу ступить не моги... безъ денегъ оно и начальство служить не захочетъ, потому время такое настало. Вотъ земелька-то наша за недоимки и пошла... ничего не подѣлаешь!..

Онъ шумно вздохнулъ и, видя, что старикъ сколотилъ уже гробъ, добавилъ на прощаніе:

— Не тужи, милый!... Всякъ человѣкъ тамъ будетъ... Младенецъ—душа ангельская! Не тужи, милый... Прощай!..

Солнце было уже высоко, когда опустѣло поле. По дорогѣ вытянулось съ полсотни телѣгъ съ холщевыми навѣсами, набитыя всякимъ добромъ и пожитками, ребятами, больными и стариками. Впереди обоза рѣзвились дѣти, съ крикомъ и хохотомъ готовясь къ пути. Среди общаго говора, плача грудныхъ дѣтей и веселаго крика подростковъ громко ржали лошади, выли собаки, и, наконецъ, грузно заскрипѣли колеса.

Таборъ двинулся.

Слѣдомъ за нимъ потянулась и тройка Устиныча, съ тѣми же частыми передышками, хриплыми криками старика и задорнымъ усердіемъ Сашутки, нежелавшаго отставать отъ попутчиковъ. Только одинъ Трифонъ молча тащилъ повозку, не торопясь догонять удалявшійся караванъ. Онъ молча поглядывалъ на небо, на выраставшія изъ-за горизонта черныя тучи, нюхалъ недвижимый, точно застывшій воздухъ и только изрѣдка спрашивалъ:—далеко ли рогожки?

— Ничего, сынокъ, ничего!—бодрилъ его Устинычъ. Развѣетъ! ей-Богу, развѣетъ!.. Не будетъ грозы, — развѣетъ!

Сашутка тоже взглядывалъ на небо и тоже повторялъ за дѣдомъ:

— Извѣстно, развѣетъ!

Однако туча всплывала и все шире захватывала

небосклонъ; по ней вспыхивали молніи и клубились жидкія, точно дымъ, облака, сѣдыя и грязныя. Проворчалъ громъ. Небесная синева пропадала; встрѣчный вѣтеръ пробѣгалъ по низу, крутя столбомъ придорожную пыль; въ воздухѣ посвѣжѣло.

— Развѣетъ!—не унывалъ Устинычъ.—Непремѣнно развѣетъ!..

Вспыхнула снова молнія, сперва блѣдная и широкая, потомъ сразу метнулась она огненной линіей въ самую середину тучи и прорвала ее съ трескомъ и грохотомъ, и еще разъ прорѣзала—и всю изорвала въ мелкіе клочья. Эти черные клочья сейчасъ же поблѣднѣли, растянулись, смѣшались съ пробѣгавшими облаками и сплошь окутали небо...

Пошелъ мелкій, безпрерывный дождикъ...

Идетъ онъ уже часъ и два, и загрязнилъ онъ дорогу, наполнилъ водой колеи, и некуда скрыться отъ него тройкѣ, что скользитъ и еле тащится по пустынному тракту, гдѣ только верстовые столбы, кусты да канавы... Хлыщетъ дождикъ Устиныча по лицу, просачивается сквозь накинутую на плечи рогожку, въ которой старикъ сдѣлался похожимъ на попа въ ризѣ.

— Стойте, ребятушки, запарился! — сказалъ онъ, бросая пристяжку. Несмотря на ливень, онъ снялъ картузъ и вытеръ ладонью вспотѣвшую голову: — Пусть холодкомъ обвѣетъ... ничего!

— Далеко-ль до села-то!—упрекнулъ его Трифонъ.— Вишь, церковь видать!

Однако онъ тоже бросилъ оглобли и, глядя на задыхавшагося отца, покорно дожидался его, опустивъ на грудь голову. Остальные терпѣливо молчали.

Дождикъ не унимался.

Тройка стояла среди дороги...

III.

Проходили дни и недѣли—путники не унывали. Потихоньку брели они, сокращая шагъ за шагомъ свой путь и оставляя позади себя деревни, овраги и нивы. Сѣкли ихъ косые дожди, сушило ихъ красное солнышко, обижалъ ихъ встрѣчный вѣтеръ, слѣпившій глаза придорожною пылью, и радовалъ тихій полдень съ его чуть уловимымъ звономъ и стрекотомъ; звѣздная ночь нерѣдко заставала ихъ среди поля, и на заманчивый огонекъ ихъ костра выходилъ иногда бродяга, бѣглый каторжный и безъ боязни разсказывалъ имъ о своей далекой родинѣ, о темныхъ рудникахъ, и, обогрѣвшись, уходилъ и скрывался во тьмѣ... Встрѣчались имъ по пути цвѣтущія поляны, густыя рощи или необъятная ширь—до самаго неба, и среди этой шири вдругъ попадался гдѣ-нибудь на краю дороги одинокій деревянный крестъ; невольно снимали шапки, глядя на него, прохожіе и, крестясь, задумывались и вздыхали... Чей покой бережетъ этотъ безмолвный сторожъ? Кто лежитъ подъ нимъ?.. Убитъ ли здѣсь проѣзжій богачъ, погибъ ли злой человѣкъ, или бѣднякъ, изнемогшій въ нуждѣ, остался тутъ на вѣчныя времена?.. Ни имени, ни времени, ни причины не объясняетъ крестъ и стоитъ среди степи какъ упрекъ, какъ загадка...

Не разъ обгоняла ихъ на пути и почтовая тройка, пролетавшая сломя голову съ звономъ и громомъ, и изумленно глядѣлъ на нихъ развалившійся въ тарантасѣ сѣдокъ; выпрямлялся онъ, ровняясь съ ними, и дивился той безпощадной нуждѣ, которая гнала ихъ по проселкамъ и трактамъ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ бодрѣй становился Сашутка.

— Съ Богомъ, дѣдушка!.. Съ Богомъ!—весело покрикивалъ онъ, когда Устинычъ, то и дѣло останавли-

ваясь, молча садился въ траву и, причмокивая, сокрушенно качалъ головой.

Силы ему измѣняли, и онъ дивился на самого себя.

— Ладно, батюшка, не берись! И безъ тебя довеземъ!—уговаривалъ его Трифонъ, отстраняя отъ пристяжки, но Устинычъ впрягался снова.

— Не берись, не берись... Какъ это такъ не берись?— обижался онъ.—Нешто здѣсь парой возможно?.. Ну-ка, ну, Сашутка!.. Ну-ка наляжь!..

Сашутка весело налегалъ на свою пристяжку, и телѣжка катилась попрежнему; но не надолго. Устинычъ опять останавливался и опять садился въ траву.

На ночлегъ они уже не остановились въ полѣ, а добрели до деревни, гдѣ ихъ пустили во дворъ, подъ навѣсъ.

Всю ночь ворочался Устинычъ подъ своимъ армякомъ, то засыпая и бредя во снѣ, то пробуждаясь въ холодномъ поту.

— Эхъ, милый, — не спится! — говорилъ онъ самъ себѣ, и непонятная грусть щемила до боли его старое сердце. Онъ вздыхалъ, досадливо причмокивая по привычкѣ, и крутилъ головою.

— Знать, надорвался!...

И ему вдругъ стало жалко себя. Потому стало жалко, что прожилъ онъ семьдесятъ лѣтъ на свѣтѣ, сгорбился, посѣдѣлъ, изломался, а ничего, кромѣ горя, кромѣ нужды и лишеній не видалъ отъ жизни. Даже теперь, подъ старость лѣтъ, когда и безъ работы уже стонутъ и ноютъ его надломленные, простуженные члены, онъ все еще гнется, все еще ломаетъ спину подъ нуждою, подъ невольнымъ ярмомъ; идетъ онъ тысячу верстъ, голодаетъ, мокнетъ подъ дождями, валяется, какъ послѣдняя собака, на грязной землѣ, и терпитъ и сноситъ все — ради того, чтобы притти да умереть вдалекѣ отъ родины...

„Эхъ, горе, горе!..“ вздыхаетъ старикъ, вспоминая

свое родное село, съ широкой улицей, съ рядами сѣрыхъ домиковъ, съ бѣлою, какъ снѣгъ, колокольнею. Вспоминаются ему и сосѣди, и старое разоренное гнѣздышко съ раскосыми углами, съ растасканной крышей, и хочется ему подняться сейчасъ же и бѣжать безъ оглядки назадъ, на милую родину, гдѣ нѣтъ уже ни зерна его, ни клочка земли, — а тамъ пускай оставляетъ душа его грѣшное тѣло, пускай относятъ его въ эту знакомую бѣлую церковь, гдѣ отпоетъ его отецъ Павелъ и проводитъ его на знакомый погостъ на облюбованное мѣстечко, по сосѣдству съ добрыми людьми — земляками...

Нездоровилось Устинычу цѣлую ночь, а на утро онъ еле поднялся; ноги отяжелѣли; на плечахъ словно висѣла гора. „Сломался!“ тоскливо подумалъ старикъ, но не сказалъ никому ни слова.

Выѣхали они опять на дорогу. Веревка Устынича часто ослабѣвала и почти волочилась по землѣ, а самъ онъ шелъ медленнымъ, неувѣреннымъ шагомъ, сильно сгорбившись и нахмурясь.

— Нѣтъ, ребятушки... не могу!...

Старикъ остановился, скинулъ съ себя веревку и опять сказалъ:

— Не могу, ребятушки...

Сначала онъ сѣлъ на траву возлѣ придорожнаго куста, а потомъ легъ и закрылъ глаза.

— Чего, дѣдушка, развалился? — весело окликнулъ его Сашутка.—Садись—довеземъ!..

Подошелъ Трифонъ. Молча поглядѣлъ онъ на отца, на переполненную телѣжку и, не зная, что дѣлать, наклонился къ Устинычу.

— Что легъ-то?.. Можетъ, дойдешь до деревни?.. Телѣжку-то безъ тебя осилимъ... Хоть самъ-то иди!..

Нѣсколько минутъ простоялъ онъ молча надъ старикомъ, безпомощно опустивъ голову; потомъ прошепталъ:

— Экое дѣло какое!..

Подошли было бабы къ Устинычу, и старуха, встревожась, начала было ныть и причитывать, но Трифонъ оглянулся и закричалъ на мать:

— Замолчи, что-ль!

Старуха умолкла и тихо заплакала, а Трифонъ сморщился, закусилъ до боли губу и долго стоялъ неподвижно, отвернувшись въ другую сторону.

Весь день простояли они на одномъ мѣстѣ. Подъ Устиныча подстелили рогожи и армяки, чтобъ ему было теплѣе, но онъ все дрожалъ и стучалъ зубами...

Развели костеръ.

„Неужто ночевать будемъ?"—думалъ Трифонъ и не зналъ, какъ быть и на что рѣшиться...

Вся семья молча думала одну общую думу, и только Устинычъ сквозь бредъ выговаривалъ иногда постороннее словечко, то кому-то жалуясь, что „способія" не даютъ, то кого-то браня и прогоняя:

— Мое мѣсто!.. Пошелъ, ты!.. Говорятъ — мое!.. Убирайся!..

Черезъ минуту онъ приходилъ въ себя и, глядя съ тоской на Сашутку, говорилъ ему:

— Знать, милые, не дойду... Ничего не подѣлаешь... Для васъ старался... васъ-то жалко... Думалъ, вамъ-то хорошо будетъ...

Онъ опять закрывалъ глаза и сердито вскрикивалъ:

— Мое мѣсто!.. Прочь пошелъ!.. Отойди!..

И жутко становилось Сашуткѣ отъ этого голоса, и тоскующее сердце его подсказывало, что дѣдушка отгоняетъ отъ себя — смерть...

Объ этомъ же думали и другіе...

Отъ внезапнаго треска костра вздрагивалъ иногда даже Трифонъ. Всѣ ежились, всѣ пріуныли...

Такъ застала ихъ тихая полночь.

IV.

День былъ праздничный. Все село собралось на дорогѣ посмотрѣть на диковинное зрѣлище. Нѣсколько троекъ ѣхало сзади чернаго полка, на которомъ стоялъ высокій свинцовый гробъ, покрытый сухими вѣнками съ бѣлыми и черными лентами. Это возвращался на родину сибирскій богачъ, скончавшійся гдѣ-то вдалекѣ, за границей.

Въ это же время на сельскій погостъ несли дощатый, наскоро сколоченный гробъ, въ которомъ лежалъ Устинычъ.

Теперь для него все было окончено. Освободилась его душа, изнывавшая семьдесятъ лѣтъ въ его тѣлѣ, ради котораго онъ столько грѣшилъ, столько терпѣлъ нужды и горя, завидовалъ, унижался, боялся, и все это—прахъ и ничто. Такой же прахъ, такое же ничто, какъ и тамъ—въ свинцовомъ гробѣ, изъ котораго уже никогда не выйти несчастному богачу, какъ вѣчному одинокому плѣннику... А Устинычъ вмѣстѣ съ своимъ дощатымъ гробомъ сгніетъ въ глубинѣ темной могилы, смѣшается съ землею, и когда-нибудь выглянетъ опять на свѣтъ Божій зеленой травинкой, и будетъ опять красоваться на солнышкѣ...

Зарыли Устиныча. Насыпали надъ нимъ бугорокъ изъ рыхлой земли, въ которую Сашутка воткнулъ сначала крестъ, а потомъ посадилъ молодое деревцо съ корнемъ и зеленью. Старуха еще долго сидѣла на могилѣ съ мокрымъ лицомъ и съ красными пятнами вокругъ глазъ.

Молчаніе первымъ нарушилъ Трифонъ.

— Ну, Сашутка,—сказалъ онъ глухо,—теперь, значитъ... пáрой!..

Мальчикъ взглянулъ на отца, взглянулъ на свою

одинокую пристяжку, и слезы брызнули у него въ отвѣтъ...

Когда выѣхали они на дорогу, и когда село съ его колокольней и съ крестами погоста должно было сейчасъ скрыться за поворотомъ, скрыться навѣки отъ нихъ вмѣстѣ съ могилой Устиныча, Трифонъ остановился.

Всѣ оглянулись и начали молча креститься, а Сашутка, скинувъ съ себя пристяжку, бросился на колѣна и до земли поклонился той сторонѣ, гдѣ лежалъ его сѣдой другъ... Онъ уперся лбомъ въ холодную землю и не хотѣлось ему оторваться отъ нея, пока не прохрипитъ опять надъ головою ласковый знакомый голосъ:

— Съ Богомъ, Сашутка!.. съ Богомъ!..

И некому было уже такъ крикнуть, некому было утѣшить, ободрить его, и осиротѣвшей душѣ Сашутки не на что было откликнуться...

— Ну, съ Богомъ, Сашутка!.. Пора!—сухо раздался строгій голосъ отца, и точно ударилъ онъ его по сердцу этой строгостью.

Въ послѣдній разъ взглянулъ Сашутка на виднѣвшееся вдалекѣ село, въ послѣдній разъ поклонился погосту и, обливаясь тихими слезами, нехотя взялся за веревку...

ПРОТИВЪ ОБЫЧАЯ.

I.

Дорога вела сибирской заимкой. По сторонамъ направо и налѣво раскидывались пашни, а впереди, гдѣ начинался низкорослый березовый лѣсъ, на самомъ краю чернѣла одинокая землянка.

Уже вечерѣло, когда къ этой землянкѣ подошли двое молодыхъ людей. Одинъ изъ нихъ былъ лѣтъ 30, красивый брюнетъ, съ тонкими чертами лица, хорошо сложенный, одѣтый въ охотничью куртку и высокіе сапоги; за поясомъ у него висѣлъ пустой ягташъ, за плечами—ружье; это былъ земскій засѣдатель Василій Михайловичъ Волынцевъ, только что прибывшій сюда изъ Петербурга. Отъ страшной ли усталости или отъ неудачной охоты, онъ былъ не въ духѣ и торопился домой, гдѣ дожидалась масса дѣлъ, надоѣдливыхъ и безъинтересныхъ. Спутникомъ его по охотѣ былъ волостной писарь, изъ бывшихъ псаломщиковъ, Услышиновъ, уроженецъ здѣшняго села, знавшій наизусть всѣ пути и дороги и провожавшій Волынцева „пуръ пассе ле танъ"—какъ онъ самъ выражался, хотя и не зналъ, что это въ точности обозначаетъ; вмѣсто ружья онъ ходилъ съ сучковатою тростью, курилъ вмѣсто своихъ волынцевскія папиросы и очень гордился, что „петербургскій аристократъ и первое лицо" ни съ кѣмъ кромѣ него, не ведетъ компаніи; его пестрый пиджакъ

и брюки навыпускъ съ обкусанными задками, и сапоги на высокихъ кривыхъ каблучкахъ, и набекрень надѣтый картузикъ, на которомъ виднѣлась на мѣстѣ кокарды запыленная дырочка, его закрученные усы и на мизинцѣ колечко, — все обнаруживало въ немъ мѣстнаго сердцеѣда и франта, хотя Услышиновъ по серьезности и по костюму надѣялся не отстать отъ Волынцева и быть ему „подъ пару“.

Двери землянки были не заперты. Чтобы спросить напиться, Волынцевъ отворилъ ихъ, но внутри никого не было, хотя у самаго порога стоялъ туязъ *) молока, покрытый большимъ отрѣзкомъ хлѣба, а рядомъ лежали яйца и творогъ.

— Гдѣ же хозяинъ? — досадливо сказалъ Волынцевъ. — Я хочу пить.

— Сколько угодно-съ, — отвѣчалъ писарь и потянулся за крынкой. — Вы сами здѣсь хозяинъ!

— Погоди,—остановилъ Волынцевъ, — можетъ-быть люди приготовили себѣ ужинъ... Странные люди: двери настежь, самихъ ни души... Этакъ всякій придетъ,— мало ли здѣсь народа шатается; а послѣ плакаться будутъ:—обокрали!

Услышиновъ вѣжливо усмѣхнулся.

— Это нарочно-съ дѣлаютъ. Для того и поставлено, чтобы прохожіе ѣли... Не безпокойтесь, Василій Михайловичъ, кушайте сколько угодно.

— Для прохожихъ?—усомнился Волынцевъ. Кто же это дѣлаетъ для прохожихъ?

— Всѣ дѣлаютъ, во всѣхъ деревняхъ, — отвѣчалъ съ удовольствіемъ писарь. — Обычай старинный: его всякій себѣ, можно сказать, священной обязанностью ставитъ. Здѣсь, по заимкамъ, рѣже случается, а въ деревняхъ—прямо выносятъ ѣду каждую ночь на улицу, за окошко. Поставятъ на полочку, а ночью бродяга придетъ, отыщетъ,—ну, и сытъ!

*) Берестовый буракъ.

— Какой бродяга?

— А вотъ которые съ ссылки... изъ каторги бѣгутъ, изъ рудниковъ тамъ... Бродягами здѣсь называются...

Волынцевъ удивленно взглянулъ на писаря.

— Да-съ! Это и есть для нихъ пропитаніе! — добавилъ тотъ, радуясь неизвѣстно чему. — Вѣдь черезъ наши мѣста этихъ бѣглыхъ идетъ-идетъ, счету имъ нѣтъ! Можетъ, сто лѣтъ все идутъ, ну, жители и привыкли.

Услышиновъ продолжалъ разсказывать, а Василій Михайловичъ стоялъ задумчивый, наморщивъ лобъ и закусивъ губу. Онъ вспомнилъ, что слыхалъ объ этомъ обычаѣ давно, еще въ Петербургѣ, даже что-то читалъ или видѣлъ какую-то картину, но, не интересуясь тогда Сибирью, не обратилъ на это вниманія и скоро забылъ. Только теперь, столкнувшись лицомъ къ лицу съ фактомъ, онъ вспомнилъ прежніе разсказы, горячіе споры по этому поводу и недоумѣвалъ, даже болѣе того — поражался, какъ могла водвориться такая безсмыслица, какъ могло населеніе итти такъ открыто противъ закона, его же самого охраняющаго, какъ могло, наконецъ, начальство допустить такой странный обычай и дать ему укорениться въ народѣ.

— Ты говоришь, жители привыкли? — съ полузаботой, съ полуусмѣшкой спросилъ онъ писаря, перебивая его разсказъ.

— Да-съ, привыкли.

— И кормятъ? и поятъ?

— Да-съ... Да это еще что! а вотъ бываетъ даже такъ, что которые за старостью или больные въ лѣсахъ укрываются и не ходятъ въ деревни, такъ этимъ многіе прямо въ лѣсъ на указанное мѣсто приносятъ и ѣду и даже бываетъ — одежду... Очень хорошее обыкновеніе-съ!

— Да ты съ ума сошелъ?—почти крикнулъ Волынцевъ.—Еще хвалитъ!.. Развѣ законно потакать разбой-

никамъ, укрывать и кормить бѣглецовъ? Это, чортъ знаетъ, на что похоже, мой милый!

— Кто знаетъ...—смутился писарь.—Старинный обычай... какъ его разбирать будешь? Оно, конечно... А съ другой стороны, вездѣ такъ дѣлаютъ.

— Ну и пусть вездѣ дѣлаютъ!—разгорячился Волынцевъ.—А у меня—не бывать этому безобразію!

Глаза его засверкали.

— Ты меня знаешь: что сказано, тому быть!—добавилъ онъ запальчиво.—Ну, спасибо, Иванъ Петровичъ, ты задалъ мнѣ превосходную задачу. Пусть это будетъ моимъ дебютомъ! Интересное и новенькое дѣльце... Видно, сама судьба за меня!..

И усталость, и неудачная охота,—все было мгновенно забыто. Горячія мысли вихремъ закрутились въ головѣ Василія Михайловича, слагаясь въ неясный, но грандіозный планъ. Онъ быстро вышелъ на дорогу, свистнулъ собакѣ, и Услышиновъ еле поспѣвалъ за нимъ, не понимая ничего, но побаиваясь его гнѣва.

II.

Село, гдѣ помѣстился Волынцевъ, стоялона трактѣ; оно славилось богатыми мужиками, отличными лошадьми и обильной охотой. Домикъ Волынцеву отвели на почетномъ мѣстѣ — противъ церкви, вблизи волостного правленія.

По какимъ причинамъ заѣхалъ сюда этотъ „россейскій баринъ“, какъ его называли крестьяне, не было въ точности никому извѣстно, но было по всему замѣтно, и по лицу, и по манерамъ, что онъ не изъ тѣхъ, которыхъ привыкли здѣсь видѣть на службѣ: у него и тонъ не таковъ, и письма онъ получаетъ съ какими-то гербами, ни съ кѣмъ не бранится, не дерется, но требуетъ всего такъ быстро и настоятельно, что не по-

спѣешь одуматься, хорошо это или худо. „У меня сказано—сдѣлано! Иначе здѣсь нельзя!“ твердилъ онъ постоянно Услышинову, котораго нерѣдко бралъ къ себѣ для письменныхъ занятій. „У меня — чтобы все было по-моему!..“

Писарь былъ единственный человѣкъ, съ кѣмъ Волынцевъ позволялъ себѣ частную бесѣду и даже посвящалъ его въ тайну своего пребыванія въ захолустьѣ.

— Я здѣсь не надолго. Я здѣсь только учусь,—говорилъ онъ писарю, пріятно и загадочно улыбаясь.— Ну, годъ, ну, два проживу,—а тамъ...

И писарю мало-по-малу становилось извѣстно, что Волынцевъ—петербургскій чиновникъ, что у него громадныя связи и блестящая будущность... Какъ было не дорожить вниманіемъ такого человѣка, особенно если онъ приглашаетъ къ себѣ чай пить, беретъ на охоту, угощаетъ виномъ!.. Онъ даже замѣтилъ однажды Услышинову:

— Что ты меня все „благородіемъ“ величаешь? Меня зовутъ Василій Михайловичъ.

Даже это обращеніе на „ты“, иногда съ прибавленіемъ „голубчикъ“ или „мой милый“, казалось писарю не только безобиднымъ, но и чѣмъ-то такимъ, отъ чего бываетъ пріятно.

— Извините меня, Василій Михайловичъ,—говорилъ ему писарь.—Что за охота вамъ при вашемъ образованіи и, такъ сказать, при всемъ положеніи, въ этакой должности находиться? Низко-съ!.. Нашему брату пить-ѣсть надобно, а ужъ вамъ, кажется...

— Э, братецъ!—возражалъ съ удовольствіемъ Волынцевъ.—Черная работа необходима. Петръ Великій— и тотъ былъ, когда учился, простымъ рабочимъ. Всякое дѣло нужно въ корню изучать... въ корню!.. Разумѣется, это не мое мѣсто, но вѣдь я здѣсь, повторяю, не навѣкъ!..

„Конечно,—разсуждалъ послѣ самъ съ собою Услы-

шиновъ, — Василій Михайловичъ желаетъ поучиться, выдвинуться... Можетъ-быть, его черезъ годъ и рукой не достанешь: увезутъ его въ Петербургъ, куда-нибудь въ министерство посадятъ... А вдругъ онъ возьметъ да и вспомнитъ тогда сибирскаго компаньона?.. А прогуляться съ нимъ на охоту да про здѣшніе порядки поговорить—мнѣ наплевать!.. Сколько угодно!..“

Такъ разсуждалъ Услышиновъ, стараясь оказывать Волынцеву всевозможныя услуги.

— Какъ ты думаешь, Иванъ Петровичъ,—спросилъ его на другой день засѣдатель,—ради чего крестьяне кормятъ этихъ бродягъ? У меня это просто изъ головы не идетъ.

— Какъ сказать, Василій Михайловичъ: бродяга все же есть человѣкъ, и коль ему не подашь, такъ Богъ и самимъ ничего не дастъ,—вотъ какъ думаютъ наши крестьяне... Любую бабу спросите,—этими дѣлами у насъ все больше бабы завѣдуютъ,—она вамъ сейчасъ скажетъ, что дорога, молъ, ихняя дальняя, идутъ подъ страхомъ, сердешные, точно звѣри... Оно и жалко: каждому человѣку пить и ѣсть надобно... Отъ любой бабы это самое услышите, честное слово-съ! Да кромѣ того имѣется и еще одно соображеніе...

— Какое?

Писарь пожалъ плечами и, видимо, стѣснялся.

— Ну, говори!—настаивалъ Волынцевъ.

— Не обижаютъ никого... Ихъ не трогаютъ, и они не трогаютъ...

— Мило!... — возмутился Василій Михайловичъ. — Возможно ли тогда хоть какое-нибудь уваженіе къ власти? Вѣдь допускать это,—значитъ, сознаваться въ своемъ безсиліи, войти съ ними въ стачку!... Нѣтъ, мой другъ, этому не бывать!... Я не позволю мужикамъ откупаться отъ этихъ сорванцовъ! Ни за что на свѣтѣ! Завтра же положу запретъ. У меня шутки плохи!

Въ назначенный день собрались старшины Волын-

цевскаго участка и покорно ожидали „штучки“, какую заблагоразсудится выкинуть ихъ новому начальству. Уже заранѣе они не были съ нимъ согласны, хотя и не знали еще, въ чемъ дѣло. Когда же къ нимъ вышелъ Василій Михайловичъ, въ новомъ мундирѣ, стройный, красивый, съ блестящими глазами, они сразу смутились и оробѣли, а когда онъ упрекнулъ ихъ за безпорядки и объявилъ, что за такія дѣла самихъ сажаютъ въ острогъ, что, укрывая и помогая бѣглымъ, они дѣйствуютъ противъ закона, противъ присяги, и что если онъ только узнаетъ, что гдѣ-нибудь, кто-нибудь ослушается его приказанія, — всѣхъ подъ судъ отдастъ, какъ сообщниковъ,—старшины молча поклонились, и только одинъ старикъ, покрутивъ головой, осмѣлился проговорить:

— Слушаемъ... Прикажемъ, ваше высокоблагородіе... Только ладно ли будетъ?

— Чтобъ было!—разсердился Волынцевъ и топнулъ ногою.

Старшины опять поклонились и разошлись съ понурыми головами.

III.

Весь вечеръ лилъ дождь. Весь вечеръ шагалъ Волынцевъ изъ угла въ уголъ по своимъ небольшимъ комнатамъ, обдумывая возникшій вопросъ и провѣряя самого себя.

„Конечно, я правъ, — мысленно рѣшалъ онъ.—Конечно, правъ!“

Однако недовольство собою, чувство чего-то неладнаго, какъ бы внутренняго разлада и сомнительной правоты мѣшали ему успокоиться.

„Вотъ почему,—думалъ онъ далѣе,—не страшитъ Сибирь закоренѣлыхъ преступниковъ: они знаютъ, что

могутъ убѣжать, что въ бѣгствѣ будутъ сыты, одѣты, а главное — разсчетъ на сочувствіе и поддержку въ народѣ".

То смущаясь, то ободряясь надеждой искоренить преступленіе—вѣковое и общее, вошедшее въ мѣстный обычай, даже, по словамъ писаря, въ священный долгъ населенія, Волынцевъ видѣлъ въ этомъ необыкновенный подвигъ; въ мысляхъ его порою вспыхивала радость, потому что борьба совпадала съ цѣлью—учиться и выдвинуться, ради чего онъ покинулъ Петербургъ, родныхъ и забрался въ эту глушь, отдѣливъ себя добровольно отъ всего цивилизованнаго міра.

Въ волненіи и раздумьѣ онъ подошелъ къ окну.

Тамъ, за окномъ, было сѣро и мутно: дождикъ бился въ стекла, гдѣ-то чудилась однотонная пѣсня вѣтра, и было скучно вездѣ и сиротливо. Волынцевъ засмотрѣлся. Онъ видѣлъ передъ собой пустынную улицу сквозь густыя сумерки, видѣлъ грязную потемнѣвшую дорогу, постепенно сливавшуюся съ дождемъ и вечерними тѣнями. Мысли его мало-по-малу становились безсвязнѣе, уносясь куда-то, возвращаясь и перепутываясь. Манила предстоящая борьба, соблазняла почетная будущность, а въ душу просилось что-то далекое, минувшее и позабытое... Ему вспомнилось вдругъ иное, лучшее время, когда онъ и самъ былъ моложе, лучше, отзывчивѣе... Онъ также стоялъ однажды передъ окномъ, такъ же упорно глядѣлъ на дорогу,—только это былъ Петербургъ, людныя улицы, морозная звѣздная ночь,—а за столомъ шумѣла молодая компанія, споря и горячась, защищая любовь, милосердіе и жалость ко всѣмъ униженнымъ и несчастнымъ. Онъ и самъ тогда сочувствовалъ этому и, обернувшись, увидѣлъ добрыя, разгоряченныя лица товарищей, увидѣлъ свою сестру, которая молча слушала, не сводя блестящихъ глазъ съ говорившаго студента... Словно желая и теперь увидать тѣ же лица, Василій Михайловичъ обернулся,—но

маленькая неуютная комната была пуста, на столѣ тускло горѣла свѣчка, и повсюду чувствовался запахъ тулупа и дегтя, занесенный только-что ушедшими мужиками.

„Какъ все это было давно!“—вздохнулъ онъ, припоминая прежнее время, прежнія вѣрованія, мечты и надежды, — и опять въ душѣ его смутно, точно эхо, отозвалось что-то старое, доброе...

Дождь монотонно шумѣлъ за окномъ. Одиночество, скука и ночное безмолвіе настраивали на свой ладъ воображеніе Волынцева, и ему стало казаться, что такое же тусклое небо, которое моросило теперь безпрерывнымъ дождемъ, раскинулось всюду, надъ всей Сибирью, залило ее мутными потоками, и нигдѣ нѣтъ защиты въ эту черную ночь отъ ливня, отъ сырости, отъ грязи и холода; врядъ ли даже звѣри не попрятались въ свои норы; неужели только люди, бездомные и голодные бѣгутъ въ это время, бѣгутъ лѣсами, окольными дорогами, пользуясь темнотой и прячась отъ другихъ людей!..

Волынцевъ живо представилъ себѣ такого бѣглеца, промокшаго, проголодавшагося, который ночью среди мрака подходитъ къ избѣ, ищетъ и находитъ хлѣбъ и снова скрывается, боясь попасться на глаза такому человѣку, какъ, напримѣръ, онъ—Волынцевъ.

— Вздоръ!! — рѣзко перебилъ онъ теченіе своихъ мыслей и снова зашагалъ по комнатѣ.—Все это сантиментальность и фразы, изъ которыхъ ничего не можетъ быть путнаго!

Далѣе онъ думалъ, что жалость теперь стала моднымъ словомъ, что принято теперь жалѣть всѣхъ безъ разбора, называя даже убійцу не преступникомъ, а несчастнымъ; жалѣютъ теперь разбойниковъ и поджигателей, но не хотятъ подумать объ ихъ жертвахъ... Надо же кому-нибудь стоять и на сторонѣ матери, у которой убили ребенка, на сторонѣ обиженнаго и пострадавшаго...

Такъ думалъ Волынцевъ, рѣшивъ не поддаваться минутнымъ увлеченіямъ и во что бы то ни стало искоренить вредный и беззаконный обычай.

— Нужно покончить разомъ и навсегда!..

Твердый въ своемъ рѣшеніи, онъ не допускалъ уже болѣе, чтобы жалость закралась къ нему въ душу.

IV.

Близилось къ осени.

Василій Михайловичъ не могъ на себя нарадоваться: то, что слагалось десятками и сотнями лѣтъ, что вошло уже въ кровь и плоть населенія, онъ разрушилъ единымъ словомъ, единымъ взмахомъ пера.

„Такъ и впередъ буду дѣлать!“ — думалъ онъ съ удовольствіемъ и при всякомъ случаѣ разспрашивалъ старшинъ о бродягахъ, строго-на-строго подтверждая приказъ.

Увлеченный первымъ успѣхомъ, Волынцевъ писалъ о своемъ подвигѣ въ Петербургъ роднымъ, когда къ столу подошелъ Услышиновъ и молча поклонился.

— Ты что?—спросилъ Волынцевъ, не отрываясь отъ письма.

— Да что, Василій Михалычъ, опять лошадь украли,— отвѣчалъ писарь.

— Чортъ знаетъ, что такое!.. Это ни на что не похоже!—разгорячился Волынцевъ и, отбросивъ письмо, взволнованно зашагалъ по комнатѣ.—Конечно... теперь осень... самое воровское время...

— Никакъ нѣтъ-съ, Василій Михалычъ, — со вздохомъ проговорилъ писарь. — Никогда у насъ этакаго безобразія не бывало.

Что ни день, то приходила новость: уводили лошадей, рѣзали телокъ, обирали проѣзжихъ. Глухой ропотъ поднимался въ народѣ: боялись за хлѣбные ам-

бары, за избы, а поджогъ, по общему мнѣнію, былъ неминуемъ. Но Волынцевъ твердо стоялъ на своемъ. Борьба увлекала его; онъ лично производилъ дознанія, разъѣзжалъ по всему участку, нанималъ на свои деньги сторожей и совершенно забылъ объ отдыхѣ.

„Дорого мнѣ это обходится, и возни очень много, но безъ того не разстанусь, чтобы не вышло по-моему!..“—писалъ онъ въ письмахъ къ матери, нерѣдко хвалясь, что имя его пронеслось грозой по Сибири.

По его, однако, не выходило. Воровство усиливалось; не стало сладу. Наконецъ, у самого Волынцева увели ночью верхового коня, а любимую собаку его удавили и, на зло, повѣсили ее передъ окошкомъ спальни.

Волынцевъ разсвирѣпѣлъ. Цѣлую ночь онъ ворочался на постели безъ сна и чуть не плакалъ отъ обиды и злости. Онъ не могъ примириться съ мыслью, что его любимецъ, черный понтеръ—повѣшенъ.

„Ну, зарѣжь, застрѣли—все легче!—думалъ Василій Михайловичъ.—А то—повѣсили!..“

Онъ живо представлялъ себѣ муки и послѣднія судороги Каро, ясно ощущалъ эту жажду воздуха, это безпомощное мотаніе лапами, это удушье, наконецъ потерю сознанія и самую смерть,—точно на него самого накинули петлю.

„Это ужасно! Это безчеловѣчно!“—возмущался онъ и поклялся, что теперь уже ни за что не отступитъ, и всѣхъ переловитъ.

V.

Прошелъ годъ... Волынцевъ успокоился. Крестьяне его боялись, о бродягахъ было почти не слышно... Изъ Петербурга ему уже писали, что скоро онъ получитъ высшее назначеніе, а онъ писалъ въ Петер-

бургъ, чтобы на лѣто пріѣзжали гостить къ нему мать и сестра.

„У насъ полное раздолье, воздухъ чистый, домикъ мой просторный, все крайне дешево и всего сколько хочешь. Рѣки кишатъ рыбою, а дичи такъ много, что некуда дѣвать,—писалъ онъ домой, соскучившись безъ родныхъ. — Дѣло мое теперь уладилось, все тихо, и я буду при васъ почти неотлучно...“

— Иванъ Петровичъ, пойдешь со мной на охоту?— предложилъ онъ однажды писарю, выбравъ свободное время.

— Съ восторгомъ-съ, Василій Михалычъ!

Они снарядились попрежнему: Волынцевъ пошелъ съ ружьемъ, Услышиновъ—съ тросточкой.

Проходя по заимкѣ, они заглянули въ землянку. Тамъ было пусто.

— А помнишь, Иванъ Петровичъ,—сказалъ засѣдатель,—какъ въ прошломъ году мы здѣсь расшумѣлись? Теперь видишь — ничего нѣтъ!.. Во всемъ необходима смѣлость и твердость: уступи я тогда хоть на волосъ, испугайся воровства или пожара,—ну, и кончено! Тѣ же мужики меня въ грошъ не ставили бы, а теперь нѣтъ! Теперь на меня какъ на грозу всѣ смотрятъ!

— Стойкость характера—дѣло великое-съ! — похвалилъ писарь. — Оно, конечно, если не себя показать, такъ для чего было и безпокоиться вамъ ради этакой должности. Вамъ впору быть губернаторомъ, либо въ министерствѣ что-нибудь этакое... а не здѣсь, не у насъ!..

Волынцевъ пріятно улыбнулся.

— Я говорю, что и Петръ Великій сначала былъ корабельнымъ мастеромъ... Что жъ дѣлать, нужно учиться... Нужно всегда начинать съ первой ступеньки, чтобы въ точности изучить дѣло, а тамъ шагай себѣ хоть черезъ десять, но первая ступенька необходима,— это мое правило! Единственно о чемъ я тужу, — про-

должалъ Волынцевъ, — что собаку повѣсили! Ничего мнѣ больнѣе не могли придумать, разбойники!..

— Еще бы-съ!

— Главное, повѣсили—вотъ что обидно!

— Чего хуже!

— Я вотъ сейчасъ съ ружьемъ иду... Конечно, убивать буду, но вѣдь смерть смерти рознь: застрѣлить я могу, но повѣсить—нѣтъ! Рука не поднимется. Здѣсь хлопъ—и баста. А тамъ эта петля, эти судороги... этотъ высунутый языкъ...

Волынцевъ нервно содрогнулся, а писарь изъ сочувствія плюнулъ и махнулъ рукою.

Весь день бродили они по полямъ и лѣсамъ и, наконецъ, утомленные расположились близъ озера отдохнуть. Услышиновъ развелъ костеръ, а Василій Михайловичъ приготовилъ фляжку.

Солнце клонилось къ западу, красиво отражаясь въ водѣ. Вокругъ цвѣли травы желтыми, бѣлыми и розовыми цвѣтами; кое-гдѣ возвышались надъ ними одинокія сосны, или торчала сѣдая полынь. Было тихо, безлюдно и таинственно, точно деревья, травы и цвѣты, прощаясь до завтра съ солнцемъ, обмѣнивались съ нимъ привѣтствіемъ. Все мирно ликовало, все было полно жизни, все, казалось, понимало другъ друга; и только два охотника, задымившіе костеръ, казались здѣсь чужими и лишними, и ихъ окровавленная добыча, брошенная на траву, своею мертвенностью оскорбляла природу въ торжественный часъ ея ликованія...

Въ это время въ кустахъ послышался говоръ.

— Этотъ вотъ самый?..

— Онъ! тотъ самый!..

Охотники оглянулись. Шагахъ въ двадцати отъ нихъ на опушкѣ лѣса стояли три человѣка. Одинъ изъ нихъ глядѣлъ въ упоръ въ ихъ сторону, а другой показывалъ пальцемъ.

— И этого-то молодчика знаемъ!

Услышиновъ замѣтилъ на себѣ пристальный взглядъ и, испугавшись, схватился за палку.

— Вамъ что?—крикнулъ Волынцевъ, видя, что оборванцы подходятъ ближе.

Продолжая сидѣть на травѣ, онъ внимательно и спокойно разглядывалъ ихъ фигуры. Всѣ трое были плечисты и крѣпки, съ загорѣлыми, обвѣтренными лицами: видно, что не одинъ день и не одну ночь провели они подъ открытымъ небомъ. Высокій парень съ шрамомъ на лицѣ, шелъ впереди; одѣтъ онъ былъ поверхъ рубахи въ рваный пиджакъ, въ зимнюю шапку и сибирскія бродни; у второго на ногахъ были надѣты шерстяныя пимы; третій былъ босъ, но вокругъ шеи повязалъ грязный платокъ и на голову надѣлъ фуражку.

— Вамъ что? — строго повторилъ Волынцевъ и выпрямился во весь ростъ.

— Да намъ что! Ты нашихъ обидѣлъ, а теперь самъ становись къ разсчету!..

Только тогда Волынцевъ понялъ, въ чемъ дѣло. Онъ нервно схватился за ружье и отскочилъ на шагъ.

— Прочь, негодяи!

— Чего жъ гонишь,—возразилъ съ насмѣшкой бродяга: — мѣсто, небось, божеское: ни ты, ни я ему не хозяинъ!

Писарь съ трясущимися руками и поблѣднѣвшимъ лицомъ глядѣлъ во всѣ глаза на Волынцева, ожидая отъ него защиты.

„Стрѣляйте!.. спасайте!“—хотѣлъ закричать онъ, но не могъ выговорить ни слова.

Выстрѣлить—Василію Михайловичу и самому приходила мысль; но какъ будешь стрѣлять, когда стоятъ безоружные люди и нѣтъ причинъ убивать ихъ?.. Держа наготовѣ ружье, онъ снова крикнулъ:

— Прочь!.. Или всѣхъ перебью на мѣстѣ!..

Лицо его было блѣдно, глаза горѣли.

— Давненько съ тобой посчитаться хотѣлось!—продолжалъ бродяга.

— Больно много обиды отъ тебя видѣли, баринъ!—сказалъ другой.

— И сжечь тебя давно собирались, да мужиковъ, сосѣдовъ твоихъ, было жалко!—добавилъ третій.

Всѣ они заговорили сразу, обступивши Василія Михайловича съ трехъ сторонъ.

— Считаться?!..—вскрикнулъ Волынцевъ; голосъ его зазвенѣлъ.—Я вамъ дамъ считаться, разбойники!

И въ одно мгновеніе перемѣнилась картина: обомлѣвшій писарь видѣлъ, какъ блеснуло вскинутое ружье, грянулъ выстрѣлъ, кто-то вскрикнулъ, все перемѣшалось,—и Волынцевъ стоялъ съ поднятымъ кверху дуломъ ружья, за которое крѣпко схватился бродяга, а второй сдавилъ засѣдателю горло. Еще мгновеніе—и ружье было вырвано, а руки Василія Михайловича загнуты назадъ и затянуты шарфомъ... Волынцевъ пытался вырваться. Онъ хрипѣлъ, кусалъ зубами одежду, билъ ногами о землю, вертѣлъ головою.

— Нѣту, баринъ, прочно!—засмѣялся бродяга.—А ты чего съ палкой стоишь?—крикнулъ онъ писарю.—Тоже подохнуть хочешь?

Больше онъ ему ничего не сказалъ и даже отвернулся, какъ отъ нестоющаго вниманія; но Услышиновъ уже самъ бросилъ трость и нервно гладилъ ноги, которыя у него подгибались отъ ужаса.

— Разбойники!!.. Негодяи!!.. — хрипѣлъ Волынцевъ, все еще надѣясь высвободить руки.

Потомъ онъ вдругъ пересталъ биться, гордо выпрямился и сказалъ глухимъ, но твердымъ голосомъ:

— Что нужно?..

— Да ничего не нужно. А чтобы зналъ ты, какъ порядки нашему брату заводить, такъ вотъ—получи.

Онъ снялъ съ себя ременный поясъ и подалъ Волынцеву.

— Дарю тебѣ его навѣчно! А сучокъ самъ себѣ выбирай: потолще, хошь потоньше, пониже, али повыше—твое дѣло, укажи, гдѣ знаешь.

Волынцевъ молчалъ. Блестѣвшіе глаза его сразу потускнѣли, голова повисла на грудь и голосъ осѣкся.

— Такой ладно будетъ?—спросилъ бродяга, указывая на сосновый сучокъ.—Мѣсто хорошее: у всѣхъ на виду!

Василій Михайловичъ стоялъ блѣдный и силился что-то выговорить, но губы его дергались въ разныя стороны.

— Ну, что жъ, баринъ? Этакъ тебя до завтра не переждешь. Прощай! Не поминай лихомъ!

На него накинули петлю.

— Прощай!

И сучокъ заскрипѣлъ.

У писаря въ глазахъ потемнѣло отъ ужаса... Онъ вскрикнулъ. Чья-то крѣпкая рука хлопнула его по затылку, и онъ, падая и поднимаясь, не чуя подъ собою ногъ, долго бѣжалъ неизвѣстно куда, безъ оглядки, безъ пути и безъ отдыха...

Уже ночью прибѣжалъ онъ къ старшинѣ, потерявъ дорогой фуражку.

— Засѣдатель повѣшенъ!—кричалъ онъ и плакалъ, и, задыхаясь, едва могъ разсказать о случившемся.

Когда миновало первое впечатлѣніе, и старшина собрался съ мыслями, то, перекрестившись, выговорилъ со страхомъ:

— Ну, дай Богъ царствіе небесное.

Потомъ онъ облегченно вздохнулъ и въ глубокомъ раздумьѣ добавилъ:

— Да и то сказать... не жилецъ онъ былъ здѣсь!..

СУХАЯ БѢДА.

I.

Въ студеную зимнюю ночь, когда вокругъ все было черно и беззвучно, чувашъ Максимка безмятежно спалъ на своей койкѣ, накрывшись тулупомъ... Вдругъ ему показалось, что дверь со двора, которая была съ вечера заперта на крючокъ, распахнулась внезапно сама собою и въ комнату ворвался сильный вѣтеръ, а вмѣстѣ съ нимъ въ клубахъ морознаго пара появился на порогѣ высокій старикъ, весь въ бѣломъ, съ бѣлой бородой, и поплылъ, точно по воздуху, прямо къ тому мѣсту, гдѣ было окно; но, проходя мимо койки, онъ обернулся и взглянулъ на Максима ясными, строгими глазами, затѣмъ поднялъ руку, махнулъ ею куда-то впередъ, точно повелѣвалъ идти за собою,—и исчезъ...

Обомлѣвшій отъ ужаса, Максимка почувствовалъ, что холодный потъ капаетъ у него съ лица, а сердце прыгаетъ и колотится въ груди, точно сорвавшись съ своего мѣста. Въ комнатѣ попрежнему мракъ и тишина. Отъ ужаса мысли Максимки путались: жутко было лежать зажмурясь, но взглянуть въ эту черную ночь было еще страшнѣе, и ни за какія сокровища въ мірѣ онъ не вылѣзъ бы изъ-подъ своего тулупа.

Зачѣмъ же явился къ нему этотъ бѣлый старецъ? Какая новая бѣда грозитъ Максимкѣ, и куда велѣно бѣжать отъ этой бѣды?... Онъ знаетъ его въ лицо, знаетъ его бѣлую бороду и его одежду, сотканную будто

изъ снѣга... Бывши еще мальчишкой, онъ видѣлъ его однажды во снѣ, когда съ товарищами собирался на Волгу: старикъ погрозилъ ему, и Максимка остался со страха дома, а поутру на Волгѣ подломился ледъ и много рыбаковъ утонуло... Отъ какой же бѣды онъ отзываетъ его теперь? Какая гроза собирается надъ Максимкой?..

Предчувствіе чего-то недобраго волновало его всю ночь, а когда за окнами чуть забрезжилъ разсвѣтъ и церковный колоколъ возвѣстилъ объ утрѣ, Максимка, дрожа и озираясь, спрыгнулъ съ постели, быстро одѣлся и выбѣжалъ за ворота. Снѣгъ хрустѣлъ подъ его быстрыми шагами, морозъ щипалъ ему носъ и уши, но Максимка спѣшилъ, ни на что не обращая вниманія, даже наткнулся на какого-то прохожаго, который сердито крикнулъ ему:

— Чего, дуракъ, въ самое рыло лѣзешь? Нѣтъ тебѣ, что ли, дороги?

Среди площади стояла старая церковь, въ которой Максимка былъ всего только разъ, но теперь именно къ ней онъ и направилъ свой путь. Трепеща и зажмуривъ со страха глаза, онъ переступилъ порогъ и вошелъ въ холодныя церковныя сѣни, гдѣ было безлюдно и темно; горѣлъ лишь фонарь передъ большой, почернѣвшей отъ давности, иконой святителя Николая. Едва Максимка взглянулъ на образъ, какъ схватился обѣими руками за голову и повалился на полъ ничкомъ.

— Микола-богъ! Микола-богъ!—въ ужасѣ шепталъ онъ, не смѣя поднять головы, и не могъ ничего выговорить больше; а мысли, то страшныя, то лукавыя, такъ и кишѣли, такъ и просились на языкъ. Онъ боялся, ужъ не хозяйка ли, Емельяниха, которую онъ ненавидѣлъ, наговорила Старцу на него чего-нибудь злого, и ему хотѣлось сказать, что все это неправда, что она сама злѣе другихъ и всѣхъ обманываетъ и вѣрить ей не нужно: она не чтитъ Миколу-бога, а чтитъ его только

одинъ онъ—Максимка, и даже готовъ сейчасъ положить въ кружку пятачокъ, который вчера онъ вымѣнялъ въ кабакѣ на хозяйскія бутылки,—и мало ли чего хотѣлось ему сказать въ эту минуту, но онъ лежалъ и твердилъ только одно:

— Микола-богъ, помилуй!

Когда онъ поднялся на ноги, глаза его блуждали, а сердце, такъ же какъ и ночью, тревожно колотилось въ груди. Задыхаясь и робѣя, онъ снова взглянулъ на икону: строгіе, ясные глаза святителя смотрѣли ему въ упоръ, и Максимка смутился; трясущимися руками онъ вынулъ изъ кармана кошель, отыскалъ въ немъ двѣ мѣдныхъ монеты и опустилъ въ кружку, сначала одну, которую утаилъ отъ хозяйки, а потомъ, подумавши, опустилъ и другую.

На душѣ у него сразу сдѣлалось легче, и успокоившись, онъ побрелъ не торопясь домой.

Это былъ сухощавый, крѣпкій парень, лѣтъ 23; лицо у него было широкое, безстрастное, безъ живыхъ красокъ, глаза маленькіе, усики жидкіе, точно повыдерганные. Родомъ онъ былъ чувашъ, одинъ изъ тѣхъ приволжскихъ чувашей, которыхъ русскій народъ прозвалъ въ шутку „Василіями Иванычами“, и Максимка по привычкѣ всегда оборачивался на такой окрикъ, къ удовольствію уличныхъ мальчишекъ, кричавшихъ ему при встрѣчѣ: „Василій Иванычъ!“ и съ хохотомъ разбѣгавшихся, когда тотъ обертывался и наивно спрашивалъ: „А?..“

Надъ нимъ всѣ издѣвались, всѣ почему-то думали, что Максимка можетъ чувствовать только тогда, когда его бьютъ, а понимать—когда его ругаютъ; всѣ считали его дуракомъ, но самъ о себѣ онъ былъ совершенно иного мнѣнія: онъ умѣлъ играть на *шыбырѣ* *),

*) Пузырь въ родѣ волынки.

могъ дѣлать пряники и *перемечи* *), умѣлъ пѣть сколько угодно пѣсенъ, а надуть на базарѣ торговца, да еще самаго ловкаго, было его любимымъ занятіемъ,—поди-ка, много ли найдется такихъ людей! Онъ очень гордился этимъ и, когда его бранили дуракомъ, не обижался, а только думалъ про себя: „Ладно! погоди ужо!..“ Онъ любилъ весеннее щебетаніе птицъ, любилъ тихія звѣздныя ночи, когда глядитъ на него съ высоты ясная *Семизвѣздица*, похожая на ковшикъ, а поперекъ неба бѣлѣетъ *дорога дикихъ гусей* **), про которую разсказывалъ ему дѣдъ такъ много страшнаго и таинственнаго. Максимка любилъ въ такія ночи посидѣть на воздухѣ и помечтать о своей судьбѣ; это доставляло ему удовольствіе, а если случалось стащить у хозяйки комочекъ соли, или луковицу, то звѣздная ночь, да этакое лакомство дѣлали его почти счастливымъ. Онъ переносился мыслями на родимую Волгу, вспоминалъ, какъ она широка, вспоминалъ окрестныя поля и деревни, свои милыя, далекія картины. Помечтать о нихъ Максимка всегда любилъ; иногда и тосковалъ по родинѣ, но вернуться на Волгу не собирался: что ему тамъ дѣлать? Развѣ найдешь еще гдѣ-нибудь такую дѣвушку, съ такими ясными глазами, какъ Ѳеня, такую ласковую, но строгую-престрогую, которой даже страшно сказать, что она хороша. А на родной сторонѣ Максимкѣ жилось не сладко: въ жены ему досталась баба, вдвое старше его, съ зычнымъ голосомъ и крѣпкими кулаками, совсѣмъ не умѣвшая цѣнить въ своемъ мужѣ добраго сердца. Что ни день, то выходила ссора, что ни ссора, то бабьи побои, да жалобы, и не стерпѣлъ, наконецъ, Максимка; а когда онъ бывалъ взволнованъ, либо пьянъ, то становился жестокимъ. Онъ зарычалъ на жену, какъ звѣрь, отколотилъ ее напослѣдкахъ ве-

*) Картофельныя вотрушки.

**) Такъ называютъ чуваши Млечный Путь.

ревкой, сорвалъ у нея съ головы *сарпанъ* *), соблюдая дѣдовскій обычай, разодралъ его надвое: половину бросилъ женѣ, другую часть взялъ съ собою и ушелъ; но когда уходилъ, растрогался и заплакалъ.

За судьбу свою онъ не страшился: лучше его никто не умѣлъ играть на шыбырѣ, и Максимка твердо вѣровалъ, что не пропадетъ, если станетъ показывать это умѣнье по далекимъ ярмаркамъ, о которыхъ слыхалъ много соблазнительнаго. На его счастье, была пора, когда съ утра до ночи тянулись по Волгѣ обозы съ товарами, когда въ людяхъ нуждались, и Максимка, нанявшись въ обозники, исходилъ много дорогъ и городовъ, много видывалъ разныхъ людей и многому научился отъ нихъ, пока, наконецъ, не попалъ въ здѣшній городъ. Надѣясь всѣхъ удивить своей музыкой, онъ, съ волынкою за плечами, отправился въ первый же кабакъ съ предложеніемъ, но кабатчикъ смѣрилъ его взглядомъ съ головы до ногъ и, замѣтивъ, что лицо у парня глупое, одежда рваная, отвѣтилъ кратко, но вразумительно:

— Къ чорту-съ!

Музыкантъ не обидѣлся и пошелъ дальше. На постояломъ дворѣ хозяинъ былъ внимательнѣе и переспросилъ, глядя на шыбыръ:

— Это, что жъ за исторія?

— Шыбыръ,—повторилъ Максимка.

— Нука-сь, послушаю.

Максимка задудилъ, а хозяинъ въ раздумьи почесалъ затылокъ; потомъ Максимка запѣлъ: тогда хозяинъ съ сокрушеніемъ чмокнулъ губами и, вздыхая, промолвилъ:

— Нѣтъ! этакой подлости намъ не требуется.

Куда ни обращался потомъ Максимка, вездѣ ему

---

*) Повязка изъ длиннаго полотенца. Разрывая сарпанъ, чуваши исполняютъ обрядъ развода.

отвѣчали одно и то же; наконецъ, онъ и самъ понялъ, что его заунывный шыбыръ и его грустныя пѣсни здѣсь не по мѣсту, а веселыхъ онъ пѣть не умѣлъ. Отовсюду его стали гонять съ его музыкой; сначала выгоняли попросту, потомъ начали толкать въ шею, а если гдѣ и не колотили, то обѣщались поколотить въ слѣдующій разъ... Какъ провелъ онъ цѣлую зиму, чѣмъ кормился и гдѣ ночевалъ,—до этого никому не было дѣла; извѣстенъ Максимка сталъ только черезъ годъ, когда, бросивъ мечту о пѣсняхъ, онъ благополучно служилъ у Емельянихи въ ея пряничномъ заведеніи, отпиралъ ворота, кололъ дрова, а во время ярмарки бѣгалъ на посылкахъ отъ хозяйскихъ жильцовъ. Особенно любилъ онъ Аѳанасія Львовича Курганова, который, бывало, пріѣдетъ къ нимъ на ярмарку и начнетъ сорить деньгами: того ему купи, за этимъ сбѣгай,—и Максимку сразу примѣтили всѣ, кто раньше не хотѣлъ его знать.

— А! старый пріятель!—ласково останавливалъ его кабатчикъ, когда видѣлъ, что Максимка то и дѣло бѣгаетъ къ сосѣду мѣнять пустыя бутылки на свѣжія.— Заходилъ бы ко мнѣ, пріятель, за покупочкой!

— Ладно!—подмигивалъ ему Максимка.—Какой я тебѣ пріятель?—и пробѣгалъ мимо.

Благодаря наступившей ярмаркѣ, Максимка и теперь былъ въ такомъ же почетѣ по сосѣднимъ кабакамъ, а пріѣздъ Аѳанасія Львовича, ожидавшійся со дня на день, его веселилъ и радовалъ, какъ праздникъ: опять у него будутъ и деньги въ карманѣ, а главное, ненавистная Емельяниха, гроза и бичъ Максимки, будетъ гнуться передъ Кургановымъ, говорить тихимъ и сладкимъ голосомъ; да и мало ли удовольствій ожидалось отъ этихъ дней!

Однако, Максимка вернулся домой невеселымъ и долго рѣшалъ, что могло означать это ночное видѣніе, и куда нужно было бѣжать отъ бѣды. И отъ какой бѣды? И когда бѣжать? Вѣдь не бѣжать же ему сейчасъ,

въ самый разгаръ ярмарки, когда что ни день — то польза. Въ раздумьи и волненіи онъ крутилъ головою и окончательно не зналъ, что дѣлать.

Емельяниха, у которой служилъ Максимка, была извѣстна всему городу подъ именемъ „вѣдьмы“, и это прозвище не разъ смущало суевѣрную душу Максимки. Емельяниха была старая, злая и ворчливая женщина, съ лицомъ желтымъ и сморщеннымъ, какъ печеное яблоко. Сначала она жила бѣдно, а потомъ выписала откуда-то племянницу, Степаниду Егоровну, молодую вдову съ черными глазами, и жизнь потекла у нихъ сытая, довольная; потомъ обзавелись онѣ домикомъ, который на ярмарку сдавали пріѣзжимъ; затѣмъ на подмогу выписали Ѳеню, бѣлокурую, худенькую сиротку, кормили и растили ее четыре года, одѣвали въ родѣ барышни, но только изъ Ѳени не вышло того, что вышло изъ Степаниды Егоровны: вмѣсто того, чтобы пѣть подъ гитару, Ѳеня читала Библію, отъ гостей, къ которымъ ее выводили, она убѣгала; отъ ихъ шутокъ, вмѣсто того, чтобы покраснѣть и опустить глазки, она блѣднѣла и сверкала глазами такъ сердито, что подгулявшему гостю не было никакого удовольствія. Не предвидя отъ нея проку, на Ѳеню безнадежно махнули рукой, прогнали на кухню и взвалили на нее всю черную работу.

— Наплевать!—сказала Емельяниха. — Ежели дура настоящаго счастія не понимаетъ, такъ пускай съ своимъ лѣшимъ зубы точатъ. Туда и дорога!

„Лѣшимъ“ былъ никто иной, какъ Максимка, котораго Ѳеня всегда утѣшала, разсказывала ему про Бога и ангеловъ, а когда самой приходилось жутко, горевала съ нимъ вмѣстѣ. Раннее дѣтство ея прошло въ иномъ кругу, она воспитывалась въ губернскомъ городѣ у своего дяди, стараго одинокаго дьякона, который научилъ ее думать о Богѣ и любить ближняго. Уже четыре года прошло, какъ умеръ дьяконъ, уже третью

ярмарку проводитъ здѣсь Ѳеня, но примириться съ новою жизнью она не могла; здѣсь все для нея было чуждо и враждебно, все не согласовалось съ послѣднимъ завѣтомъ дьякона, который, умирая, говорилъ ей:

— Прощай, Ѳеня... Молись обо мнѣ... Бога не забывай ни въ горѣ ни въ радости, темными людьми не гнушайся: въ нихъ много сердца и правды много. Запомни мое послѣднее слово: береги себя. Не надѣйся на свою красоту. Вырастешь—тогда поймешь, о чемъ я говорю, а сейчасъ только запомни.

— Запомню, запомню!—шептала дѣвочка, стоя передъ нимъ на колѣнахъ и обливая слезами его холодѣвшую руку.

— Не плачь. Зачѣмъ плакать?—говорилъ умирающій.—Всему свое время... Честно живи, Ѳенюша... темныхъ людей полюби, просвѣти ихъ словомъ Божіимъ... утѣшай скорбящихъ...

Съ этимъ завѣтомъ и умеръ дьяконъ, когда Ѳеня была еще подросткомъ. Долго старалась она понять эти послѣднія слова, она знала ихъ наизусть, но многое стало ей ясно только теперь, когда она выросла. Она съ удовольствіемъ промѣняла роль хозяйской родственницы на роль прислуги, терпѣливо работала на Емельяниху, безропотно переносила попреки кускомъ хлѣба, но когда становилось уже не подъ силу терпѣть, приходила къ Максимкѣ и отводила съ нимъ душу.

— Что мнѣ дѣлать, Максимъ?—жаловалась иногда Ѳеня.—Съ бабушкой просто житья нѣтъ...

— У, йомзя!—сердито ворчалъ Максимка, браня по-своему ненавистную Емельяниху.

— Я убѣгу отъ нихъ!

— А куда?

— Куда глаза глядятъ.

Максимка съ безпокойствомъ глядѣлъ на ея свѣжее, почти дѣтское лицо съ ясными голубыми глазами, и чувствовалъ въ это время, какъ въ груди у него пере-

ворачивается что-то. Онъ никогда не могъ равнодушно слышать, если Ѳеня начинала при немъ мечтать о побѣгѣ, о томъ, какъ она уйдетъ куда-нибудь въ монастырь и будетъ тамъ молиться и поститься до самой смерти.

— А то какая моя жизнь?—пригорюнивалась Ѳеня, складывая на колѣнахъ руки и глядя задумчиво вдаль.— Тамъ лучше будетъ: стану молиться, пѣть на клиросѣ... Я и за тебя, Максимъ, буду молиться, чтобъ и ты тоже въ рай попалъ, а то вѣдь ты—нехристь! Тебя за это въ аду станутъ мучить...

Отъ такихъ предположеній оба они задумчиво вздыхали; потомъ Ѳеня добавляла:

— Ходи, Максимъ, въ церковь почаще, да побольше Богу молись; тогда, можетъ, мы вмѣстѣ съ тобой въ раю будемъ жить...

— А чего жъ дѣлать тамъ будемъ?—съ интересомъ спрашивалъ Максимка, не имѣвшій никакого понятія о религіи, хотя былъ крещенымъ и этимъ званіемъ очень гордился.

— Какъ—что дѣлать?—удивлялась Ѳеня.—Будемъ праведными... съ Богомъ будемъ бесѣдовать, видѣть Его будемъ всегда!

Максимка разочарованно вздыхалъ, либо говорилъ на это: „Гмъ!..“ либо молча чесалъ затылокъ.

Въ церковь онъ не ходилъ, во-первыхъ, потому, что не понималъ, по-каковски тамъ поютъ и читаютъ; объ евангеліи слыхалъ только отъ Ѳени и интересовался одними чудесами; о Богѣ онъ зналъ лишь одно, что гдѣ-то на небесахъ живетъ „русскій Богъ“—такой добрый и милостивый, что пересталъ не только бояться Его, но даже о Немъ и помнить.

Страшнѣе всего на свѣтѣ была для Максимки полиція, поэтому, когда Ѳеня упрекала его въ чемъ-нибудь и говорила: „Побойся ты Бога, Максимъ!“—тотъ возражалъ безпечно:

— Чего Бога бояться? Богъ, небось, не исправникъ.

Между нимъ и Ѳеней общаго не было ничего, но сдружила ихъ печальная участь. Вѣчно обруганный и озлобленный, одичалый въ одиночествѣ, Максимка вызывалъ къ себѣ жалость. Глядя на него, она вспоминала всегда завѣтъ воспитателя—полюбить и просвѣтить темнаго человѣка, и, какъ умѣла, утѣшала Максимку, просвѣщала его, а когда приходилось самой искать утѣшенія, то Максимка дѣлался ей незамѣнимымъ другомъ.

II.

Городъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ маленькій уѣздный городишко, стоявшій далеко на Сѣверѣ, за Ураломъ, въ сторонѣ отъ желѣзной дороги и отъ большихъ путей. Судьба закинула его въ такое захолустье, что ни черезъ него, ни мимо него ѣхать было некуда.

Въ обыкновенное время здѣсь все бывало спокойно, власти не знавали ни тревогъ ни сомнѣній, а городской голова, простякъ и труженикъ, не брезговалъ иногда нарубить собственноручно вязанку дровъ, и дѣлалъ это не ради моціона или принципа, а больше по простотѣ душевной; по модѣ онъ не одѣвался, ходилъ въ рубахѣ съ высокимъ жилетомъ, въ простыхъ шароварахъ и въ валенкахъ. Однако, не всегда бывало такъ просто и пусто въ городѣ, иначе про него не зналъ бы никто, что онъ существуетъ на свѣтѣ, а онъ былъ не только извѣстенъ, но даже знаменитъ въ своемъ родѣ: ежегодно зимою здѣсь открывалась ярмарка на цѣлый мѣсяцъ, на которую съѣзжалось такъ много всякихъ людей изъ столицъ, съ Волги и Сибири, что становилось тѣсно; съѣзжались купцы, доктора, фотографы и артисты, съѣзжались губернскіе жулики и столичные шулера... Какихъ только именъ и профессій не

красовалось тогда на вывѣскахъ, какихъ не привозилось товаровъ! Но, помимо товаровъ и денегъ, пріѣзжіе завозили съ собою необыкновенный шумъ и веселье: открывались трактиры на всевозможные вкусы, съ арфистками и безъ арфистокъ, съ музыкой и безъ музыки, до кабака включительно; открывался театръ для болѣе взыскательной публики, гдѣ исполняли „Гамлета“ и „Донъ-Карлоса“ вперемежку съ такими оперетками, о какихъ въ столицѣ не всякій имѣетъ понятіе, открывался циркъ съ забавными пантомимами и—свыше десятка бань, которыя считались здѣсь почему-то тоже за мѣста увеселительныя...

Для города ярмарка была—все: она прославила его имя на тысячи верстъ, кормила и поила всѣхъ жителей, поэтому и готовились къ ней, какъ къ великому празднику, и всѣ горожане мѣнялись передъ нею, точно по мановенію волшебства; они бросали обычныя дѣла, отколачивали забитыя квартиры, готовили лучшія платья, и многіе уже заблаговременно ходили съ опухшими глазами, увѣряя, что это будто отъ хлопотъ и безсонныхъ ночей. Городской голова на время ярмарки облачался въ черный сюртукъ, надѣвалъ крахмальную манишку, нѣмецкіе сапоги и разъѣзжалъ по почетнымъ купцамъ, отдавая визиты. Нерѣдко, впрочемъ, случалось, что, явясь во всемъ парадѣ къ пріѣзжему, представитель города важно входилъ въ переднюю и здоровался сначала съ лакеемъ за руку, разспрашивалъ, какъ онъ поживаетъ, все ли въ добромъ здоровьѣ, а затѣмъ уже позволялъ ему снять съ себя шубу и ботики. Происходило это по очень простой причинѣ: наниматься въ лакеи къ ярмарочнымъ гостямъ имѣли большую склонность мѣстные мѣщане, не считавшіе никакую работу унизительной, была бы лишь доходна, а съ ними со всѣми городской голова былъ круглый годъ въ наилучшихъ отношеніяхъ, съ иными даже пріятель и кумъ.

Въ одинъ изъ морозныхъ февральскихъ дней, когда

ярмарка была въ полномъ разгарѣ, въ городскую заставу въѣхала старомодная повозка съ большимъ лубочнымъ чепчикомъ, запряженная тройкой потныхъ коней и, звеня колокольчиками, не спѣша, поплелась по дорогѣ.

— Куда прикажете?—оборачиваясь къ сѣдоку, спросилъ ямщикъ.

Изъ повозки выглянула на минуту голова въ сибирской оленьей шапкѣ, закутанная по уши въ доху, и прозвучалъ въ отвѣтъ рѣзкій молодой голосъ:

— Сказано, къ Емельянихѣ!

На улицѣ было людно. Вездѣ кипѣла дѣятельность и спѣшка; озабоченныя лица и торопливая походка—все свидѣтельствовало о дѣлахъ и недосугѣ.

Вотъ, выйдя за двери магазина, ловкій торгашъ встряхиваетъ мѣхъ передъ покупателемъ; вонъ двое горячо спорятъ, очевидно, изъ-за цѣны и взмахиваютъ уже руками, какъ бы готовясь закрѣпить рукобитьемъ сдѣлку; тутъ соблазнили кого-то сверкающіе за окномъ брильянты, тамъ—вывѣшиваютъ напоказъ цвѣтные лоскуты. Всѣ спѣшатъ, суетятся, волнуются... Эта лихорадочная жизнь сразу охватила пріѣзжаго.

— Да ну, живѣй!—крикнулъ онъ ямщику и при этомъ толкнулъ его въ спину.

Должно-быть, и ямщикъ успѣлъ проникнуться общимъ настроеніемъ поспѣшности; не обидясь за толчокъ, онъ подобралъ вожжи и, лихо загикавъ на коней, погналъ усталую тройку такъ быстро, что снѣжная пыль залѣпила ему бороду, лицо и одежду.

Домъ Емельянихи стоялъ вдалекѣ отъ центра. Это было небольшое строеніе съ мезониномъ въ три окошка, съ пошатнувшимся заборомъ и ветхими воротами, на которыхъ лѣпилась ржавая желѣзка съ лаконической надписью: *Пряники.* Ворота всегда были заперты и, чтобы проникнуть во дворъ, нужно было долго звонить; на звонокъ обыкновенно выходилъ Максимка раз-

валистой неторопливой походкой; а иногда выбѣгала Ѳеня. Осадивъ лошадей передъ этими воротами, ямщикъ не успѣлъ еще соскочить съ облучка, какъ изъ повозки, распахнувъ шубу, вышелъ молодой человѣкъ, лѣтъ 28, и направился прямо къ калиткѣ. Оттуда навстрѣчу ему уже выбѣжали изъ дома двѣ женщины, Емельяниха и Степанида Егоровна, обѣ въ накинутыхъ наскоро шубейкахъ; за ними опрометью бѣжалъ Максимка, а въ верхнемъ окнѣ, чего пріѣзжій уже вовсе не поспѣлъ замѣтить, прислонясь щекою къ стеклу, глядѣла на него бѣлокурая головка, что называется, „во всѣ глаза", точно желая его разглядѣть раньше, чѣмъ другіе.

— Съ пріѣздомъ, Аѳанасій Львовичъ! Добро пожаловать! Милости просимъ, гость дорогой!—почти вырывая изъ рукъ поклажу, говорила ему старуха, стараясь кланяться ниже.

Кивнувъ ей головой, Кургановъ подошелъ прямо къ Степанидѣ Егоровнѣ и, снявъ передъ нею шапку, протянулъ руку.

— Здравствуйте, Степанида Егоровна!—проговорилъ онъ съ улыбкой, слегка заигрывающимъ тономъ.—Вы на меня и взглянуть не хотите?

Дѣйствительно, Степанида потупила передъ нимъ глаза, но, услышавъ упрекъ, быстро окинула его взглядомъ, улыбнулась и опять опустила голову.

Черезъ минуту они всѣ трое входили уже по лѣстницѣ въ мезонинъ, а слѣдомъ за ними тащилъ на спинѣ чемоданъ Максимка, чуть не плясавшій отъ радости подъ своей ношей. Онъ былъ чрезвычайно доволенъ, что дождался, наконецъ, человѣка, который, точно красное солнышко, обогрѣваетъ всѣхъ живущихъ здѣсь въ домѣ, передъ которымъ молчитъ и ежится даже сама Емельяниха.

Аѳанасій Львовичъ имѣлъ видъ молодцоватый: голосъ у него былъ громкій, взглядъ упорный и смѣлый. Пріѣзжая къ Емельянихѣ, онъ распоряжался у нея,

какъ въ собственномъ домѣ, и всѣ его здѣсь слушались и любили, потому что онъ ни на что не скупился, былъ всегда веселъ, денегъ не считалъ и обладалъ удивительной способностью подчинять себѣ всѣхъ окружающихъ. Это былъ изъ числа людей, которымъ жизнь—грошъ, но пока они живы, имъ подавай всего, чѣмъ жизнь красна. Ничего не стѣсняясь, всего требуя, за все щедро платя, Кургановъ любилъ жить на широкую ногу и любилъ, чтобы все вокругъ него кипѣло, двигалось и жило. Бывало, крикнетъ во весь духъ: „Максимка!“ И Максимка являлся передъ нимъ свѣжій, бодрый, смотрящій во всѣ глаза, въ ожиданіи приказаній. „На почту!“—скажетъ Кургановъ, подавая пакетъ. „Да живо!“ Или крикнетъ внезапно: „Бѣги, размѣняй!..“ Давая Максимкѣ сторублевую бумажку, а иногда двѣ и три, онъ подкупалъ его довѣріемъ, какого тотъ отродясь не видывалъ ни отъ кого даже на двугривенный.

Когда Аѳанасій Львовичъ, войдя въ свою комнату, помѣщавшуюся наверху, рядомъ съ комнатой Степаниды, умылся и переодѣлся, молодая хозяйка пригласила его къ чаю. На столѣ, кромѣ самовара, стояла водка, закуска и на черной сковородѣ шипѣла яичница.

— Прошу покорно, Аѳанасій Львовичъ!

Кургановъ вошелъ, неся въ рукахъ большой свертокъ.

Сначала возьмите гостинецъ, Степанида Егоровна,— сказалъ онъ, передавая подарокъ.—Недавно ѣздилъ въ Москву... Какія матеріи стали тамъ вырабатывать, что твоя заграница!

Степанида раскраснѣлась отъ удовольствія, притворно смутилась и, принимая свертокъ, молча улыбалась, не зная, что сказать.

— Что вы это, Аѳанасій Львовичъ... Вы совсѣмъ меня избалуете...

— Ну, ну,—возразилъ тотъ, ласково махнувши рукою.—За кѣмъ другимъ, а за вами не пропадетъ.

Онъ пододвинулъ стулъ и сѣлъ къ самовару.

— Чайку не угодно ли? Или, можетъ, позавтракать? Небось проголодались въ дорогѣ.

Кургановъ оглядѣлъ быстрымъ взглядомъ бутылки и, потирая руки, отвѣтилъ:

— Отъ чая откажусь, а вотъ водочки выпью. Удивительно вы понимаете мой характеръ, Степанида Егоровна! Что дорожному человѣку требуется? Чарка водки да поцѣлуй на закуску!

Онъ неспѣша открылъ бутылку, налилъ двѣ рюмки и предложилъ чокнуться.

— За счастливый пріѣздъ, Степанида Егоровна?

— Кушайте на здоровье!

Онъ выпилъ, крякнулъ и, притянувъ свободной рукой къ себѣ Степаниду, поцѣловалъ ее въ губы, потомъ началъ закусывать и разспрашивать про нынѣшнюю ярмарку—много ли пріѣзжихъ, хорошо ли торгуютъ и въ какомъ трактирѣ лучше поютъ арфистки.

Степанидѣ было на видъ около тридцати лѣтъ. Высокая, дородная, съ крупными черными глазами и съ непонятной улыбкой, не то застѣнчивой, не то задорной, она производила загадочное впечатлѣніе на свѣжаго человѣка, но Кургановъ былъ не изъ тѣхъ, которые задумываются надъ чѣмъ-нибудь въ жизни, а тѣмъ болѣе надъ женскими взорами и улыбками. Степанида считалась вдовою, но о вдовствѣ своемъ, кажется, не печалилась; для развлеченія у нея имѣлась гитара, на которой ее выучилъ кто-то играть „За рѣкой, на горѣ“, а въ шкапчикѣ стояла наливка для хорошихъ знакомыхъ, и покойный приставъ, не тѣмъ будь помянутъ, въ долгіе зимніе вечера нерѣдко засиживался здѣсь до разсвѣта. Да и не одному приставу знакома была „вдовья“ наливка...

Наскоро позавтракавъ, Аѳанасій Львовичъ спросилъ вина.

— Ну, выпейте, Степанида Егоровна! Говорятъ, ста-

рый другъ лучше новыхъ двухъ... Много новыхъ-то друзей завели за зиму?

Онъ поднялъ стаканъ и молча смѣялся, ожидая отвѣта. Степанида чуть было не смутилась подъ его взглядомъ; она хотѣла отвѣтить упрекомъ, но раздумала и сказала игриво:

— А хошь бы и много, Аѳанасій Львовичъ?

Однако, сейчасъ же раскаялась въ такомъ отвѣтѣ и печально вздохнула, словно желая сказать, что никакіе друзья не могутъ замѣнить ей *одного* человѣка, а какого—поди угадай!

Выпивъ залпомъ стаканъ, Кургановъ лукаво погрозилъ ей пальцемъ и, поклонившись, вышелъ изъ комнаты, а затѣмъ уѣхалъ на ярмарку.

III.

Когда свечерѣло и дѣловая ярмарка затихла до утра, то до утра же зашумѣла веселая ярмарка. Магазины давно уже заперты, но по трактирамъ пѣсни, хохотъ и музыка; всюду набилось народа, что мухъ на медъ, и некуда присѣсть запоздавшему посѣтителю.

У Емельянихи, хотя и не трактиръ, но гостей набралось не мало; хлопаютъ пробки, льется вино, а табачный дымъ словно туманъ виситъ въ комнатѣ и щиплетъ глаза. Это дѣловая компанія празднуетъ пріѣздъ Аѳанасія Львовича. Степанида Егоровна, улыбаясь и отшучиваясь, сама подноситъ гостямъ стаканы, и всѣ съ нею чокаются, всѣ кричатъ и глядятъ на нее полупьяными, полувлюбленными глазами; всѣмъ нравится ея пышный, колыхающійся станъ, ея сочныя розовыя губы, звенящій увлекательный смѣхъ и маслянистые, черные какъ вишни, глаза; но никому она не отдаетъ предпочтенія и напрасно стараются гости закручивать стрѣлкой усы, приглаживать бороды, капули

и проборы; всѣ для нея одинаковы; только къ Курганову, сидящему на диванѣ поодаль отъ компаніи, подходитъ она чаще, да и то по дѣлу, потому что онъ настраиваетъ ея гитару.

— Знать, попортилась, Аѳанасій Львовичъ, давно ужъ въ руки не брала,—говоритъ она и снова отходитъ къ столу.

То поднося вина, то разсказывая о гитарѣ, то жалуясь, что разучилась играть, Степанида Егоровна все время, пока Кургановъ подвязывалъ и пробовалъ струны, переговаривалась съ нимъ, возбуждая зависть въ гостяхъ, а когда тотъ и самъ подошелъ къ столу и, настроивъ гитару, предложилъ спѣть, то хозяйка, а за ней и гости хоромъ затянули „Милую", но сбились, расхохотались и запѣли „Крамбамбули", продолжая чокаться и подливать въ стаканы.

Ѳеня, притаившись за дверью, не спускала глазъ съ Аѳанасія Львовича. Ей было пріятно смотрѣть, какъ онъ иногда развалится на диванѣ, какъ неожиданно встанетъ, чокнется и выпьетъ вина, или проведетъ рукой по струнамъ, или запоетъ... Какіе у него добрые глаза и какъ онъ веселъ! Другіе тоже сидятъ и пьютъ, хохочатъ, кричатъ, но видно, что они всѣ пьяны и грубы, а онъ такой добрый-добрый... Ѳенѣ нравился больше всего голосъ Курганова; въ немъ было что-то душевное и простое. Но отчего же голосъ его такой грустный, когда онъ поетъ? Всѣ радуются и кричатъ, а у Ѳени отъ этого голоса щемитъ на сердцѣ и хочется заплакать...

...„Всю ночь не смыкалъ я, бывало, очей,
Томился и думалъ я только о ней.
Теперь все прошло... Пролетѣла весна,
И молодость жизни далеко ушла"...

раздавался голосъ Курганова, и Ѳенѣ казалось, что Аѳанасій Львовичъ, дѣйствительно, о чемъ-то горюетъ,

и, улыбаясь, она думала: „Хорошій... добрый человѣкъ!..“

...„А старость все ближе и ближе подходитъ,
Готовлюсь я въ вѣчность совсѣмъ перейти,
А счастье все дальше... да дальше уходитъ“...

Гостей веселило пѣніе Курганова и когда онъ кончилъ, всѣ зашумѣли, полѣзли съ нимъ чокаться, а Ѳенѣ казалось, что онъ, можетъ быть, плачетъ, и ему не до вина.

— Эй! кто тамъ!.. Максимка!..—закричалъ неожиданно Кургановъ, хлопая въ ладоши.—Максимка! Шампанскаго сюда!

У Ѳени екнуло сердце. Она хотѣла было убѣжать, но заколебалась и, наконецъ, сдѣлала шагъ впередъ и вошла въ эту дымную комнату, куда ей было запрещено показываться.

— Что прикажете, Аѳанасій Львовичъ? — проговорила Ѳеня, останавливаясь на порогѣ.

Но, вмѣсто приказанія, Кургановъ протянулъ впередъ руки и весело воскликнулъ:

— А, Ѳенюша! Иди! иди сюда! Я ужъ давно про тебя спрашиваю.

Степанида Егоровна, молча положила гитару и, пожавъ плечами, недовольная, вышла изъ комнаты.

— Что прикажете, Аѳанасій Львовичъ?—снова повторила Ѳеня, опуская глаза и не двигаясь съ мѣста.

Ея появленіе заинтересовало гостей. Начали переглядываться, подмигивать въ сторону Курганова и улыбаться, а находившійся тутъ же въ компаніи татаринъ въ цвѣтной тюбетейкѣ, пившій пиво, грузно поднялся изъ-за стола и, подойдя къ Ѳенѣ, началъ ее разсматривать, повторяя вполголоса: „Хор-рушъ товаръ! хорушъ товаръ!“

Кургановъ взялъ его за плечи, молча повернулъ и посадилъ снова за столъ.

— Пей, Хасанъ, за мое здоровье, а за товарами завтра придешь.

Всѣ захохотали, и смущенный татаринъ, взявшись снова за пиво, проговорилъ съ усмѣшкой:

— Скупой караванбашъ, ай, бачка, скупой!

Ѳеня не обратила вниманія на улыбки и шутки гостей и молча дожидалась приказаній Курганова.

— Вотъ, что, Ѳеня, — сказалъ Аѳанасій Львовичъ: — вели Максиму подать шампанское... все давай!.. весь кулекъ!.. А ты позови бабушку, да скажи чтобъ непремѣнно пришла. И сама приходи. Слышишь?

— Я не могу, Аѳанасій Львовичъ, — прошептала Ѳеня.—Я лучше здѣсь, въ коридорѣ, побуду.

— Говорю, приходи! Не придешь, такъ приведу самъ. Да Емельяниха пусть тоже приходитъ. Никакихъ отговорокъ чтобъ не было. Понимаешь?

— Тащи сюда всѣхъ! — послышались голоса.—Хозяйку сюда! Шампанскаго!

Поднялся веселый крикъ и смѣхъ.

— Ну, живо, Ѳеня! — командовалъ, между тѣмъ, Аѳанасій Львовичъ, беря ее за руку.—Скажи Степанидѣ Егоровнѣ, что гости, молъ, сердятся. Присылай ихъ обѣихъ!

Не успѣла Ѳеня повернуться и выйти въ коридоръ, какъ чья-то холодная костлявая рука схватила ее за волосы и поволокла впередъ въ темноту. Потомъ раздалась пощечина. Затѣмъ застучали быстрые шаги Ѳени, молча сбѣгавшей по лѣстницѣ съ мокрымъ отъ слезъ и закрытымъ ладонью лицомъ.

Поданное шампанское еще больше развеселило гостей; къ тому же вернулась Степанида Егоровна, а за нею вошла и сама Емельяниха, надѣвшая, для парада чепецъ и на плечи большой персидскій платокъ. Она всѣмъ привѣтливо улыбалась и, когда ей наливали вина, отодвигала стаканъ и говорила:

— Сами кушайте на здоровье, дорогіе гости! Благодарю покорно.

— Ну, выпей, бабушка!—приставалъ къ ней Кургановъ, пододвигая стаканъ.

Емельяниха его отодвинула и сказала:

— Сами кушайте, Аѳанасій Львовичъ!

Кургановъ снова придвинулъ стаканъ.

— Ну выпей, Емельяновна!

И они продолжали двигать другъ къ другу стаканъ до тѣхъ поръ, пока Кургановъ не зацѣпилъ его рукавомъ,—и вино пролилось на скатерть.

— Эхъ, старая!—весело воскликнулъ онъ и потянулся за новымъ стаканомъ.

— Говорю, батюшка: угощать меня — только добро портить.

— Ну, ужъ теперь не уйдешь! Пей, Емельяновна!

Начались тосты; сперва за Курганова, потомъ за хозяекъ, потомъ за каждаго изъ гостей. Пиръ разыгрывался не на шутку. Пили уже безъ разбора, и коньякъ и шампанское; окурки бросались куда попало; подъ столомъ катались пустыя бутылки, вино проливалось на скатерть, и у гитары, переходившей изъ рукъ въ руки, оборвали струну.

— Да гдѣ же, наконецъ, Ѳеня?—вспомнилъ вдругъ Кургановъ. Отчего она не пришла? Емельяновна, приведи Ѳеню!

— Ну вотъ, батюшка, очень она тебѣ нужна! Знаешь, какая гордячка... На что такая потребовалась?

— Еще расплачется на людяхъ-то,—съ неудовольствіемъ добавила Степанида Егоровна.—Оставьте ее, Аѳанасій Львовичъ... Вотъ лучше я вамъ винца холодненькаго подолью.

„Чарочка моя, серебряная,
На златомъ-то блюдечкѣ поставленная!“

вдругъ запѣла Степанида Егоровна, съ улыбкой предлагая Курганову чокнуться.

„Эхъ, кому чару пить,
Кому выпивать?“

грянули вслѣдъ за нею недружные голоса гостей:

„Пить чару, пить чару
Степанидѣ да Егоровнѣ
На здоровье, на здоровье,
На здоровьице!“

Всѣ потянулись къ ней съ стаканами и рюмками, а она, кокетливо, потряхивая головой и подергивая плечами, продолжала пѣть, поддразнивая разгулявшихся гостей:

„Ай, жги, жги, жги,
Говори да разговаривай!“

— Эхъ-ма!—вскрикнулъ кто-то, и сразу нѣсколько голосовъ подхватили мотивъ; застучали по полу каблуки, захлопали въ тактъ ладоши, и залихватская плясовая пѣсня завладѣла общимъ настроеніемъ. Кто-то загремѣвъ стульями и пустыми бутылками, выскочилъ на средину комнаты и подъ гамъ и крики прошелся „колесомъ“, разводя руками и откидывая во всѣ стороны ноги, изрѣдка притопывая и присѣдая.

— Браво, браво!—кричали гости.

Одни кричали браво, другіе пѣли, поддерживая плясовой мотивъ.

Кургановъ пѣлъ и игралъ на гитарѣ, татаринъ звонилъ стаканами по бутылкамъ, и отъ топанья всей компаніи дрожали полъ и стѣны.

Максимка, съ разинутымъ ртомъ и опущенными руками, наблюдалъ изъ темнаго коридора въ полуотворенную дверь, испытывая полное удовольствіе. Крики, пѣніе и дикій хохотъ производили на него впечатлѣніе не чужого веселья, а своей личной радости. Онъ видѣлъ, какъ Кургановъ наливалъ вино, какъ пилъ, какъ

заставлялъ пить Емельяниху, и та, низко кланяясь, пила. Онъ съ торжествомъ замѣчалъ, что хозяйка пьянѣетъ и, когда она, выпивъ послѣднюю рюмку, замотала головой, Максимка не выдержалъ.

— Х-хы! хы!..—радостно и искренно воскликнулъ онъ и даже присѣлъ, обнимая животъ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ веселѣе кричали гости. Пляска не унималась.

Максимка ликовалъ, особенно, когда увидѣлъ, что и Кургановъ пустился вприсядку. За нимъ выбѣжала Степанида и плавно закружилась съ поднятыми руками, колыхаясь и подергивая плечомъ, а Кургановъ возлѣ нея такъ и выбрасывалъ изъ-подъ себя ноги вправо, да влѣво. Максимка былъ въ восторгѣ, глядя на нихъ; лучшаго удовольствія ему никто въ мірѣ не могъ бы доставить. Наконецъ, восторгъ его превзошелъ всякія ожиданія; отъ радости онъ чуть не подавился, когда увидалъ, что сама Емельяниха, растопыривъ руки и махая надъ головою платкомъ, кружится среди комнаты подъ общій крикъ и хохотъ; клокъ сѣдыхъ волосъ выбился наружу, щеки ея были красны, глаза мутны, и широкая улыбка дѣлала лицо ея до того безобразнымъ, что Максимка потѣшался надъ нею отъ всей души.

— Гляди! гляди! — шепталъ онъ Ѳенѣ, толкая ее локтемъ.

— Господи! — прошептала Ѳеня, качая головой.— Бабушка-то... бабушка... Стыдъ-то какой!..

Гамъ, смѣхъ и пѣсни, а порой и неосторожное словечко, сорвавшееся съ языка, еще долго оглашали весь домъ. Наконецъ, гости стали цѣловаться съ Кургановымъ и, пошатываясь, выходить къ шубамъ.

Было уже подъ утро.

IV.

Съ слѣдующаго дня Кургановъ горячо принялся за дѣла и бывалъ иногда занятъ такъ, что не успѣвалъ пообѣдать. Домой онъ заѣзжалъ, чтобы достать или убрать какія-нибудь бумаги, затѣмъ опять уѣзжалъ и возвращался поздно ночью совершенно усталый. Максимка бѣгалъ по его порученіямъ тоже цѣлые дни, то съ письмомъ, то со сверткомъ, и вовсе отбился отъ Емельянихи, говоря, что идетъ по приказу Аѳанасія Львовича, а самъ въ это время успѣвалъ завернуть на часокъ въ трактиръ, гдѣ и блаженствовалъ безъ всякихъ опасеній, благо водилось у него немало кургановскихъ денегъ.

Лихорадочная жизнь ярмарки разгоралась день ото дня. Дѣла и веселье, работа и удовольствія перепутались и сплелись настолько между собою, что посторонній человѣкъ не рѣшилъ бы, гдѣ кончалось одно, гдѣ начиналось другое. Безъ угощенія ничего нельзя было подѣлать; съ иными бились по нѣсколько дней, кормя обѣдами, напаивая виномъ, возя по театрамъ; случалось, что пропивали больше, чѣмъ наживали, но спасая честь и достоинство фирмы, на это не обращали особеннаго вниманія.

Не дремалъ за это время и городской голова.— „Вотъ-съ, батенька, сударь вы мой,—говорилъ онъ, объѣзжая знакомыхъ,—по заведенному порядку подписочка махонькая... въ пользу городскихъ бѣдныхъ-съ... Можетъ, чего наличными соблаговолите, а то и товарцемъ-съ: всяко даяніе да благо“.

Одни давали денегъ, другіе жертвовали вещи въ аллегри, театры обѣщали отпустить лучшихъ пѣвцовъ, а трактиры—арфистокъ, и въ назначенный день вся ярмарка, отъ мала до велика, справляла благотворительный праздникъ.

Въ этотъ день Аѳанасій Львовичъ былъ особенно озабоченъ. Онъ нѣсколько разъ пріѣзжалъ домой и перебиралъ бумаги, считалъ на счетахъ, опять уѣзжалъ и, наконецъ, призвалъ Максимку.

— Вотъ тебѣ письмо... Понимаешь? Бѣги сейчасъ на почту, бери тройку и поѣзжай во весь духъ на ту станцію... Понялъ?

— Понялъ, — весело подмигнулъ Максимка, очень любившій, когда ему поручали важное дѣло.

— Во что бы то ни стало, нужно догнать Климентовича! Понимаешь, Климентовича! Спроси смотрителя, проѣхалъ Климентовичъ или нѣтъ; если проѣхалъ, гони еще станцію, двѣ, три — все равно! Понимаешь? Нужно догнать и передать вотъ это письмо.

Максимка почувствовалъ приливъ такой нѣжности къ Курганову, что ему захотѣлось поцѣловать его фалду, которую тотъ небрежно откинулъ, держа руку въ карманѣ.

— Вотъ тебѣ письмо,—сказалъ Кургановъ, передавая пакетъ. Вотъ тебѣ деньги на дорогу... Обратно скачи во весь махъ и къ утру привези отвѣтъ. Десять рублей на чай получишь. Но если ты его не догонишь...

— Кереметь догоню! *) — воскликнулъ въ азартѣ Максимка.—Чего не догнать?

— Ну, такъ маршъ! Бѣгомъ! Живо!

Аѳанасій Львовичъ даже топнулъ и ударилъ въ ладоши, а Максимка, сунувъ письмо и деньги за пазуху, бросился опрометью внизъ, такъ что задрожала и затрещала подъ нимъ вся лѣстница. Его душа переполнилась уваженіемъ и любовью къ Курганову: катить на тройкѣ, исполнить важное дѣло и получить десять рублей—было для него такимъ удовольствіемъ, какого еще—умрешь не увидишь...

Уже съ обѣда въ пассажѣ гремѣла музыка. Город-

---

*) Кереметь—свирѣпое божество чувашей.

скія дамы, расфранченныя и разодѣтыя, засѣдали за лотерейными колесами; у супруги городского головы еще со вчерашняго вечера ожесточилось сердце на чужіе карманы; жена исправника и жена лѣсничаго, сперва стѣсняясь, исполняли свои обязанности, но мало-по-малу начинали тоже входить въ азартъ. А народа прибывало и прибывало. По стариннымъ традиціямъ, въ этотъ день вся ярмарка должна была посѣтить базаръ и въ пассажѣ поэтому набиралось такое множество публики, любящей потолкаться, позѣвать, послушать оркестръ и пѣвцовъ, что выходила, вмѣсто гулянья, толкотня, дававшая возможность хорошо поживиться не только городскимъ бѣднякамъ, но и заѣзжимъ карманникамъ. Развлеченія не прекращались до вечера. Всюду пахло свѣжими елками, лисьимъ мѣхомъ, кофеемъ, овчиной; отъ дамъ благоухало духами, отъ мужчинъ табакомъ и спиртомъ.

Вдоволь намявши бока и туго наколотивъ карманы всевозможными бездѣлушками изъ аллегри, къ вечеру усталая публика разбредалась опять-таки по трактирамъ доканчивать благотворительный день.

У Курганова знакомыхъ было полгорода. Куда ни придетъ, куда ни повернется, отовсюду слышно одно и то же:

— Аѳанасій Львовичъ! Къ намъ на минутку!

И Кургановъ подходилъ, присаживался и выпивалъ, переходя отъ однихъ знакомыхъ къ другимъ. Одинъ говорилъ: „Уважь!“— и Аѳанасій Львовичъ изъ уваженія выпивалъ шампанскаго; другой говорилъ: „Не обидь!“—выпивалъ и съ этимъ; третій приставалъ: „Удостой!“ Наконецъ, у Аѳанасія Львовича зарябило въ глазахъ. Потерявъ мѣру, онъ уже самъ началъ спрашивать шампанское и приставать къ знакомымъ, требуя „уважить“, „не обидѣть“ и „удостоить“. Потомъ съ компаніей арфистокъ переселился въ кабинетъ, гдѣ ему пѣли романсы, гладили его по волосамъ, и,

шутя, вынимали изъ кармановъ выигрышныя бездѣлушки...

Стояла глухая ночь, когда онъ подъѣхалъ къ своимъ воротамъ. На душѣ у него было пусто, въ головѣ шумѣло. Прежде чѣмъ позвонить, онъ оглядѣлся кругомъ; лѣвая сторона улицы была черна, какъ уголь, а правая сіяла серебромъ; сѣрые домики, снѣжная дорога, крестъ на колокольнѣ—все блестѣло и сверкало, и на Кургановa напало раздумье. Онъ стоялъ возлѣ калитки и не могъ налюбоваться картиной, развернувшейся передъ нимъ, словно въ первый разъ въ жизни. Чувство не то раскаянія, не то одиночества грызло его сердце, и ему становилось жаль своей молодости, уходившей на кутежи. Онъ глядѣлъ на ясное небо, на звѣзды, на сверкающій снѣгъ, и хотѣлось ему чего-то чистаго и высокаго, ради чего стоило бы жить и трудиться.

Кургановъ стоялъ съ опущенными руками, не зная на что рѣшиться. Ничего, однако, не придумавъ, онъ подошелъ къ звонку, досадливо рванулъ его изо всей силы и громко обругалъ собаку, залаявшую на него изъ подворотни.

Дожидаясь его возвращенія, на звонокъ выбѣжала Ѳеня.

— А гдѣ-жъ Максимка?—строго спросилъ Кургановъ.—Небось, дрыхнетъ, скотина?

— Максима вы за городъ услали. Только поутру вернется.

— А... да! Ну, чортъ съ нимъ!

Ѳеня заперла калитку и пошла слѣдомъ за Аѳанасіемъ Львовичемъ. Когда они прошли черезъ сѣни, Кургановъ остановился на порогѣ Ѳениной комнаты и, подумавъ, сказалъ:

— Нѣтъ-ли, голубушка, гдѣ-нибудь браги, а то въ горлѣ пересохло. Принеси-ка, я подожду.

Ѳеня молча взяла свѣчу и, стѣсняясь своего костюма, потому что была въ большомъ платкѣ, наки-

нутомъ на голыя плечи, ежась и закрываясь, вышла въ сѣни, а Кургановъ переступилъ порогъ и вошелъ въ ея комнату, освѣщенную слабымъ свѣтомъ лампадки, висѣвшей передъ образомъ, и сѣлъ прямо на кровать.

V.

Было тихо вокругъ; капала гдѣ-то вода изъ рукомойника, ударяясь о мѣдный тазъ, гдѣ-то хрипло тикали часы, и больше ничѣмъ не нарушалось ночное безмолвіе. Комната, гдѣ онъ сидѣлъ была маленькая, низкая, съ дешевыми обоями въ мелкую шашку, съ однимъ окномъ, задернутымъ занавѣской, съ маленькимъ зеркальцемъ на стѣнѣ, возлѣ котораго висѣло вышитое русскимъ швомъ полотенце, на стулѣ лежало сброшенное кое-какъ платье.

Опустивши голову и сложивъ на колѣнахъ руки неподвижно сидѣлъ Аѳанасій Львовичъ въ ожиданіи браги, стараясь сосредоточить разбѣгавшіяся мысли.

— Аѳанасій Львовичъ... Что это вы гдѣ!—съ стыдливымъ упрекомъ обратилась къ нему Ѳеня, вернувшись со свѣчкой и глинянымъ кувшиномъ въ рукахъ.

Замѣтивъ разбросанное платье, она смутилась еще больше, но тотъ, не обращая вниманія на ея слова, проговорилъ разсѣянно:

— Знаешь, Ѳеня... Я нынче взялъ билетъ... Дай, думаю, на твое счастье... И вотъ, погляди, выигралъ.

Онъ началъ шарить по карманамъ и вынулъ золотое дешевое колечко съ бирюзой.

— Видишь?... Возьми и носи! Это на счастье. Давай, я тебѣ самъ надѣну. Да ну же, подойди, чего боишься!

— Аѳанасій Львовичъ, пожалуйте къ себѣ!—боязливо настаивала Ѳеня умоляющимъ голосомъ.— А то какъ бы бабушка не проснулась.

— А чортъ съ ней, съ бабушкой, если и проснется!—небрежно отвѣтилъ Кургановъ.—А это вотъ духи—продолжалъ онъ спокойно, вынимая изъ другого кармана флаконъ, перевязанный голубою лентой. — Все выигрыши, Ѳеня! Много я этой дряни выигралъ нынче; половину бросилъ. Налей-ка мнѣ бражки стаканчикъ!

— Идите, право, къ себѣ, Аѳанасій Львовичъ, вамъ завтра вставать рано,—умоляла Ѳеня, подавая стаканъ браги.

Кургановъ отхлебнулъ и вытеръ усы.

— Погоди, Ѳеня... Уйду,—сказалъ онъ,—погоди меня гнать.

Онъ горько вздохнулъ, и въ два большихъ глотка осушилъ весь стаканъ.

— Хорошая брага,—похвалилъ онъ, начиная закуривать папиросу и чувствуя, что мысли его путаются.—А ты слыхала, Ѳеня, какъ арфистки поютъ?

— Нѣтъ, Аѳанасій Львовичъ... Гдѣ же мнѣ слыхать, я въ трактиры не хожу.

— И не ходи. Тамъ всякое безобразіе... Лучше, Ѳеня, книжки читай... Я пока читалъ, хорошимъ былъ человѣкомъ... А это все чепуха... Зло!... Ты умѣешь читать?

— Умѣю, Аѳанасій Львовичъ. Меня отецъ Александръ училъ.

— Какой Александръ?

— Батюшка.

— Попъ?

— Нѣтъ, онъ былъ дьяконъ. Меня не хотѣли учить, а онъ настоялъ. Я у него и жила. Онъ меня и воспитывалъ въ своемъ домѣ.

— Молодецъ батя!

Наступило молчаніе. Ѳеня стояла возлѣ стѣны, опустивши глаза, и дожидалась, когда Кургановъ уйдетъ, а тотъ сидѣлъ на ея постели съ папиросой въ зубахъ

и задумчиво глядѣлъ на тусклое пламя свѣчи, вертя въ рукахъ выигранное кольцо.

— Ну, поди, я тебѣ надѣну,—вспомнилъ онъ про подарокъ.

Ѳеня не отвѣчала. Кургановъ опять замолчалъ.

Нѣсколько минутъ онъ пристально и спокойно созерцалъ Ѳеню. Ея молодое лицо казалось ему красивымъ и, главное, свѣжимъ, дѣвственнымъ, почти дѣтскимъ; волосы ея были гладко зачесаны назадъ и сплетены въ косу; отъ всей ея фигуры, отъ свѣжаго лица, отъ скромно опущенныхъ глазъ вѣяло юностью, простотой и, какъ казалось въ эту минуту Курганову, самобытной прелестью, и онъ мало-по-малу залюбовался ею. Онъ мысленно сравнивалъ ея лицо съ размалеванными лицами арфистокъ, которыхъ, часъ тому назадъ, угощалъ въ кабинетѣ, слушая ихъ пѣсни и вольную болтовню, а иныхъ даже обнималъ и цѣловался съ ними. Ему становилось гадко отъ этихъ воспоминаній. Онъ глядѣлъ на Ѳеню и дивился, какъ могъ онъ находить удовольствіе среди тѣхъ, кто доступенъ каждому безъ симпатіи, безъ любви, даже безъ уваженія! И ему казалось, что онъ уже давно ненавидитъ эти лица съ подведенными бровями, этотъ неискренній хохотъ, это необузданное веселье, весь этотъ чадъ продажной любви, изъ котораго онъ только что выбрался съ тяжелой головой и несвязными мыслями.

— Не гони меня, Ѳеня,—ласково обратился къ ней Аѳанасій Львовичъ, и въ голосѣ его дрогнула скорбная нотка.—Ты меня давно знаешь. Не бойся меня, я не злой человѣкъ.

— Что вы, Аѳанасій Львовичъ! Кто же говоритъ... Я не боюсь... Сидите сколько угодно.

— А... ты все не про то, Ѳеня! Ты думаешь, что я у васъ постоялецъ, что я твоей Емельянихѣ деньги плачу, такъ мнѣ ужъ и чортъ не братъ! Сижу, молъ, гдѣ хочу, дѣлаю, что знаю. Нѣтъ, Ѳеня!.. Ты лучше

вотъ что скажи: вѣришь, что я не злой человѣкъ, что я тебѣ ничего худого не пожелаю?.. Коли вѣришь, садись рядомъ, а я тебѣ буду разсказывать...

— Разсказывайте, Аѳанасій Львовичъ; я слушать буду, все равно, стоя.

— Садись, говорю тебѣ!..

Кургановъ быстро поднялся и схватилъ ее за руку выше кисти. Ѳеня взглянула на него съ недоумѣніемъ и страхомъ, и прошептала:

— Аѳанасій Львовичъ!.. Пустите, ради Господа!..

— Я съ тобой попросту говорю, а ты все дичишься. Ну, Богъ съ тобой!—упрекнулъ Кургановъ и, выпуская изъ своей руки ея руку, добавилъ:—Я думалъ, ты меня пожалѣешь, Ѳеня... Ну, налей хоть браги еще!

Онъ сѣлъ опять на постель, а Ѳеня подала ему наполненный стаканъ.

— Ты думаешь, я счастливъ?—продолжалъ Аѳанасій Львовичъ, отхлебывая браги.—Нѣтъ, Ѳеня, все это чепуха... Да, чепуха! И вся жизнь моя—чепуха! просто хоть пулю въ лобъ!.. Для чего я живу? Ну, скажи, пожалуйста, я живу для какого чорта? А? Кому я нуженъ?

— Что вы это, Аѳанасій Львовичъ?—возразила та съ недовѣріемъ.—Ваша ли жизнь не хороша?

— Чѣмъ же она хороша?

— Да все у васъ есть... всѣ васъ боятся, всѣ любятъ... Сами вы такой...

— Какой это „такой?“

— Молодой...—сконфуженно договорила Ѳеня, хотѣвшая было сказать „красивый“.

Кургановъ вздохнулъ и съ грустью махнулъ рукою, какъ бы говоря, что его пѣсенка спѣта.

— Молодой...—повторилъ онъ задумчиво, и усмѣхнулся.—Былъ молодой, Ѳеня! Былъ да сплылъ!.. Вонъ ужъ скоро плѣшь начнетъ протираться... А выпито-то сколько?... Вѣдь, если все это въ котелъ лить, что я

выпилъ, такъ зелье-то котелъ проѣстъ, а не то, что живого человѣка... Э, гдѣ ужъ тутъ до молодости! Зря прошла! А вотъ ты отчего такая грустная всегда?— спросилъ онъ неожиданно, вглядываясь въ ея лицо.— Или живется не сладко?

— Я ничего...

— Знаю, какъ „ничего"! Ужъ больно Емельяниха-то у тебя шельма, да и Степанидѣ Егоровнѣ тоже пальца въ ротъ не клади.

— Нѣтъ, за бабушку мнѣ надо Бога молить,—возразила Ѳеня.—Кабы не она, и жить бы какъ—неизвѣстно. Конечно, работы много, да я работать умѣю, мнѣ не трудно.

— Плюнь ты на свою бабушку. Терпѣть ее не могу, старую хрычевку.

— Какъ же такъ, Аѳанасій Львовичъ! Зачѣмъ такъ говорить, это мнѣ даже грѣшно. Я, можетъ быть... Я, можетъ, и уйду... Только вѣдь, Аѳанасій Львовичъ... Только я сама еще не знаю...

— Уйдешь? Куда уйдешь?

— Такъ... Куда-нибудь...—Ѳеня, теребя руками концы платка, осторожно взглянула на Курганова, какъ бы рѣшая, можно ли сказать ему тайну, и добавила:—Въ монастырь, можетъ-быть, пойду... Я давно собираюсь.

— Въ монастырь?.. Да ты съ ума сошла, Ѳеня!— воскликнулъ тотъ.—Зачѣмъ тебѣ въ монастырь?

— Что же здѣсь-то дѣлать, Аѳанасій Львовичъ?— проговорила Ѳеня, волнуясь все болѣе.—Я вѣдь... Мнѣ вѣдь...

— Тяжело тебѣ здѣсь, вотъ что!—разрѣшилъ ея колебанія Аѳанасій Львовичъ.—А говоришь „ничего"! Какой ничего! Запрягли въ работу, какъ лошадь, безъ отдыха... А ты все терпишь, все сносишь.

— Какъ же не терпѣть... Конечно, нужно терпѣть... Преподобная Ѳеодора и не это терпѣла, когда въ монастырь пошла... Вотъ и я, Аѳанасій Львовичъ,

должна претерпѣть... Въ монастырѣ будетъ еще труднѣе...

— Терпѣть, да терпѣть, — проговорилъ Кургановъ, грустно кивая головой.—Все только терпѣть да страдать... А были ли у тебя радости, Ѳеня? Знавала ли ты когда свободу? Видѣла ли міръ Божій?.. Ничего ты этого не видала и ничего ты не понимаешь! Вѣдь, небось, тебѣ и пожить хочется? и полюбить хочется? Ну, понѣжиться, что ли, приласкаться къ милому человѣку? А?

Ѳеня не отвѣчала; только руки ея проворнѣе затеребили платокъ.

— А жизнь-то кругомъ кипитъ, манитъ къ себѣ!... А ты вотъ про монастырь думаешь, потому что тебѣ тяжело здѣсь; всѣ для тебя чужіе, никто тебя не цѣнитъ... А вѣдь міръ-то Божій великъ, жизнь-то на свободѣ сладка!.. Эхъ, Ѳенюша, Ѳенюша!.. Нашелся бы такой человѣкъ, который бы оцѣнилъ тебя, полюбилъ, и ты бы тоже его полюбила,—развѣ задумаешься? Махнешь на все рукой и пойдешь за нимъ, куда позоветъ. Правда? Вѣдь пойдешь? И монастырь забудешь, и горе забудешь... Съ милымъ человѣкомъ вѣдь годъ за день кажется... Правда?—допытывался Кургановъ, каждымъ словомъ бичуя Ѳенино сердце.

Она стояла, низко опустивъ голову, и молчала. Если бъ Аѳанасій Львовичъ понималъ, какъ онъ мучилъ ее, какъ насильно вызывалъ изъ глубины души затаенную печаль и неясныя думы, называя прямыми именами ея скорби, которыхъ она еще не умѣла назвать, онъ замолчалъ бы, но охмелѣвшая голова не работала, а языкъ, какъ нарочно, становился бойчѣе.

— Великое дѣло, Ѳеня,—свобода! Живешь, какъ хочешь, никто съ тебя слова не смѣетъ взыскать; пошелъ куда вздумалъ, вернулся когда захотѣлъ... А тебя, небось, Емельяниха, и къ подругѣ безъ того не

отпустить, чтобы не попрекнуть. Знаю я ее, чертову перечницу.

— У меня нѣтъ подругъ,—отвѣтила Ѳеня почти сквозь слезы.

Яркое красное пятно выступило на ея лѣвой щекѣ около подбородка, а лицо было, попрежнему, бѣлое. Кургановъ замѣтилъ это, и волненіе Ѳени слегка сообщилось ему. Онъ слѣдилъ за ея пальцами, которые нервно свертывали и раскатывали конецъ платка, глядѣлъ на ея волнующуюся грудь, на зардѣвшееся пятно на щекѣ и думалъ, что отпускать такую красивую дѣвушку, полную жизни, въ монастырь—жалко.

— Знаешь, что, Ѳеня!—воскликнулъ онъ неожиданно ударяя себя ладонью по колѣнамъ.—Хочешь отсюда уѣхать?.. Уѣдемъ со мной!..

Ѳеня испуганно метнула на него взглядъ, вспыхнула вся и, какъ бы не разслышавъ вопроса, зажмурила глаза и еще ниже опустила голову.

На Курганова нашло вдохновеніе. Допивая глотками стаканъ, онъ началъ разсказывать, гдѣ бывалъ, сколько объѣздилъ городовъ, какія видѣлъ страны.

— Поѣдемъ, Ѳеня!—говорилъ онъ съ увлеченіемъ.—Я тебѣ покажу Москву, про которую, знаешь, поется: златоглавая, бѣлокаменная... Небось, слыхала? Ну говори, слыхала, что ли? Что жъ ты молчишь, Ѳеня? Слыхала про Москву?

— Да... слыхала...—еле прошептала она.

— Ну вотъ. И въ Петербургъ проѣдемъ; тамъ дворцы стоятъ, государь живетъ... Оттуда махнемъ за границу. Улицы тамъ какія! дома какіе—на крышу взглянешь, шапка свалится!.. Магазины, рестораны—чортъ знаетъ!.. Здѣсь у насъ снѣгъ, да метели, морозъ за уши деретъ, а тамъ, гдѣ-нибудь на берегу моря—тепло... цвѣты цвѣтутъ... Ты видѣла когда-нибудь море?... А виноградники? Идешь, а вокругъ тебя рай земной: груши зрѣютъ, апельсины на вѣткахъ... виноградъ

виситъ вотъ этакими кистями!.. Потомъ въ морѣ будемъ купаться... Волна, это, издали растетъ, растетъ, бѣжитъ прямо на тебя... думаешь: ну, разбила!—а она рухнетъ и разстелется мелкой струйкой, запѣнится, зажурчитъ... А мы съ тобой выкупаемся, и пойдемъ къ себѣ... кофе пить... Эхъ, Ѳеня, Ѳеня! Цѣны ты себѣ не знаешь! Вѣдь, если съ тебя сорвать эти тряпки, да нарядить тебя въ хорошее платье, да въ экипажъ посадить, вѣдь всѣ завидовать станутъ!.. Ей Богу!..

Любуясь ея волненіемъ, Кургановъ все болѣе убѣждался, что Ѳеня—красавица, и что взять ее отсюда необходимо, и въ восторгѣ воскликнулъ:

— Кончено дѣло! Ѣдемъ, Ѳенюша!

Онъ всталъ, шагнулъ къ ней и положилъ на плечи ей руки.

— Ты вѣдь будешь меня любить? А? Будешь любить? Скажи, Ѳенюша, будешь любить? Ну, милая... скажи...

Ѳеня молчала. У нея голова кружилась. Она переставала понимать, гдѣ она, что съ нею и не во снѣ ли все это... А Кургановъ все спрашивалъ, ласково, вкрадчиво, наклонясь почти къ самому лицу ея:

— Поѣдешь Ѳеня?.. Будешь меня любить?

Его рука обвивала уже ея станъ.

— Аѳанасій Львовичъ... — съ трудомъ прошептала Ѳеня; дыханіе ея обрывалось, ноги подкашивались.— Ради Бога... Аѳанасій Львовичъ!..

Она медленно подняла на Курганова усталые глаза, не то съ упрекомъ, не то съ мольбою, и улыбалась ему, и дрожала, и ничего не могла вымолвить.

— Завтра, завтра, Ѳенюша,— шепталъ въ отвѣтъ Кургановъ, гладя ее по головѣ. Завтра утромъ приди мнѣ сказать... Рѣшайся... Въ среду я уѣзжаю отсюда, а если ты поѣдешь, такъ завтра же вечеромъ соберемся! Право, Ѳенюша, хорошо поживемъ! Такъ завтра придешь съ отвѣтомъ? Не забудешь, Ѳенюша?

Ѳеня потрясла головой.

— Не забудешь? Придешь?

Она кивнула, не помня себя. Она хотѣла что-то сказать ему, но Аѳанасій Львовичъ быстро обнялъ ее и крѣпко поцѣловалъ въ губы, въ глаза, въ щеку... Ѳеня вскрикнула и, какъ змѣя, извернувшись всѣмъ тѣломъ, выскользнула изъ его объятій, зашаталась и бросилась въ сѣни.

Кургановъ глядѣлъ на захлопнутую дверь, не двигаясь съ мѣста; потомъ досталъ портсигаръ и закурилъ папиросу. Потомъ, подождавъ съ минуту, онъ взялъ свѣчку и нетвердыми шагами направился къ себѣ наверхъ, откуда вскорѣ послышалось его богатырское храпѣніе на весь домъ.

VI.

Долга и уныла зимняя ночь,—тянется, тянется, и не дождешься разсвѣта. За окномъ черно; стекла замерзли; проходитъ часъ, другой, третій, а черно попрежнему, точно само время остановилось, и надежда на желанный разсвѣтъ переходитъ въ досаду.

Ѳеня уже давно лежала въ постели и старалась заснуть. Зажмуривъ глаза, она читала молитвы, но неотвязная мысль не давала покоя, а взволнованная кровь все стучала въ виски... Вода попрежнему мѣрно капала изъ рукомойника, да гдѣ-то вдалекѣ за окномъ брехала чужая собака. Свѣтъ лампадки мягко пронизывалъ ночной мракъ, и отовсюду изъ этой полумглы на Ѳеню глядѣли ласковые глаза Аѳанасія Львовича, вездѣ чувствовалось его присутствіе, слышался вкрадчивый голосъ: „Ѣдешь со мною? Будешь меня любить?“

Ѳеня мяла подушку, которая жгла ей щеки и голову, и пересохшими губами порывисто шептала: „Господи! Господи! Что же это!..“ Ее всю охватило новое

властное чувство, сладкое и мучительное; оно перепутало ея мысли. Монастырь, съ его тишиной и покоемъ, вставалъ иногда передъ нею, какъ блѣдный призракъ, но сейчасъ же проносилась внезапная мысль: что тамъ?.. здѣсь сиротство и тамъ будетъ сиротство; а вотъ Аѳанасій Львовичъ зоветъ на жизнь, на свободу, на любовь,—и призракъ угасалъ и терялся... Да такъ ли? Ужъ не шутилъ ли онъ? Нѣтъ! Онъ не станетъ шутить! Онъ добрый, хорошій... Она силилась не думать, забыть, старалась прогнать отъ себя назойливыя мысли.

На свѣтильнѣ наросталъ нагаръ; огонекъ лампадки блѣднѣе озарялъ икону и золоченый вѣнчикъ. Гдѣ-то хрустнула половица; гдѣ-то тараканъ шуршалъ по обоямъ...

Взволнованная и измученная, Ѳеня скинула, наконецъ, съ себя одѣяло, зажгла свѣчу и сѣла на постель, сдавивъ руками виски. Вотъ и кольцо съ бирюзой, которое Аѳанасій Львовичъ велѣлъ надѣть и носить... Ѳеня надѣла его, поглядѣла, подумала и хотѣла было поцѣловать его, но сейчасъ же сняла и положила на столъ; потомъ спрятала подъ подушку, но опять достала и положила на прежнее мѣсто.

Занавѣска неплотно закрывала окошко, и Ѳеня заглядѣлась на край замороженнаго стекла, въ которомъ красными искрами отражался огонь свѣчи, дробясь и сверкая.

„Какъ, должно-быть, морозно теперь на дворѣ!“— подумалось Ѳенѣ, и сейчасъ же вспомнилось, что гдѣ-то „тамъ“ теперь цвѣты цвѣтутъ... „Такъ что же, что цвѣты цвѣтутъ? На что мнѣ цвѣты? На что мнѣ виноградъ?..“ Но чѣмъ старательнѣе она загораживала руками лицо и уши, чтобы не видѣть, не слышать, не думать, тѣмъ яснѣе слышался ей голосъ: „Ѣдешь со мною? Будешь меня любить?..“ И ей казалось, что жизнь ея мѣняется въ эти минуты: позади остается мракъ и холодъ, и униженіе, а впереди блистаетъ ра-

дость и воля. „Что же дѣлать теперь?.. Ужъ не пойти ли сейчасъ и не сказать ли ему: „я поѣду, я буду вашей служанкой, вашей рабой!..“

Ѳеня встала и взялась было за платье, чтобы надѣть и итти, но руки ея опустились, и она снова спрашивала себя: „Что жъ дѣлать? Что дѣлать!“

Она рѣшалась и колебалась, взглядывала съ вѣрой и молитвой на икону и, наконецъ, бросилась ничкомъ на постель, спрятала лицо въ подушки и зарыдала отъ тоски и отчаянія. Ей становилось ясно, что Аѳанасій Львовичъ былъ единственнымъ дорогимъ человѣкомъ, котораго она любила, давно любила... Она всегда первая встрѣчала его, слушала его грустныя пѣсни, вмѣстѣ горевала съ нимъ, но онъ этого не зналъ. Да она и сама не знала, и никто этого не зналъ.

Между тѣмъ, за окномъ, загороженнымъ ставнями, забрезжилъ разсвѣтъ. Гнусавый крикъ пѣтуха раздался подъ самымъ окошкомъ. Ѳеня вздрогнула и, озираясь, соскочила съ постели.

„Господи!.. Неужто утро?!..“

Растерянная, она остановилась среди комнаты, прислушиваясь къ чему-то, и, точно въ отвѣтъ ей, загудѣлъ колоколъ...

„Все равно! Будь, что будетъ!“ шептала она сама себѣ и начала поспѣшно одѣваться.

„Побѣгу скорѣй въ церковь... Помолюсь Богу... Пускай Господь благословитъ и... уѣду! уѣду!..“

Руки ея тряслись. Она торопилась. Накинувъ на плечи шубу и накрывшись платкомъ, Ѳеня задула свѣчу и, перекрестившись, не помня себя, выбѣжала за дверь.

— Куда? Куда?—закричала Емельяниха, сходившая со свѣчой по лѣстницѣ.— Куда подрала ни свѣтъ ни заря!..

Ѳеня вздрогнула и остановилась, но подумала сейчасъ же: „А... все равно!“ и, махнувши рукой въ от-

вѣтъ Емельянихѣ, выбѣжала во дворъ, хлопнула калиткой и скрылась за заборомъ.

Прошло не болѣе получаса, и Ѳеня вернулась. Настроеніе ея было тихое, почти торжественное. Встрѣтившись съ бабушкой, она даже улыбнулась и молча прошла къ себѣ въ комнату, но не успѣла и затворить двери, какъ на порогѣ уже стояла Емельяниха.

— Далеко ли гулять изволили?—послышался рѣзкій, дребезжащій голосъ, и старуха медленно подошла къ Ѳенѣ.

Та сидѣла на постели и спокойно глядѣла на Емельяниху, не боясь ни гнѣва ея, ни искаженнаго злобой лица.

— По своимъ дѣламъ ходила,—отвѣтила Ѳеня.

— По дѣламъ? — переспросила старуха. — По дѣламъ?—зашипѣла она.—По своимъ дѣламъ?

Она подняла руку и со всего размаха ударила Ѳеню по лицу. Та вскрикнула и откинулась къ стѣнѣ.

— Вотъ тебѣ за твои дѣла! Вотъ тебѣ за дѣла!—и Емельяниха, нагнувшись надъ нею, поймала ея голову и крѣпко вцѣпилась въ волосы.—Вотъ тебѣ, скромница! Вотъ тебѣ, безстыжая!—приговаривала она, таская Ѳеню за косы, но Ѳеня молчала.

Емельяниха утомилась, опустила руки и отошла на шагъ отъ постели, продолжая ворчать и сверкать глазами.

— Вотъ какъ ты постничаешь да кислыя рожи строишь?

Ѳеня тяжело дышала, но глядѣла спокойно, почти весело.

— Бабушка,—проговорила она, — за что вы меня обижаете? Что я вамъ сдѣлала?

Емельяниха въ первую минуту не нашлась даже, что сказать,—до такой степени озадачилъ ее простой и незлобивый тонъ, но она понимала, что отвѣтить все-таки надо и, ничего пока не придумавъ, начала браниться.

— На своей груди тебя, змѣю, отогрѣла, а ты вотъ куда!.. Въ обиду?! Да какъ у тебя языкъ-то безсовѣстный на меня повернулся? Какъ глаза-то твои безстыжіе на меня смотрятъ? Тьфу!.. Ворона лупоглазая!

Помолчавъ, она добавила:

— Негодница!..

Потомъ опять помолчала и еще добавила:

— Змѣя подколодная!

— Да что я вамъ сдѣлала, бабушка?—снова спросила Ѳеня.

— Вотъ нешто этого не хватало, чтобъ ты со мной чего сдѣлала!—накинулась на нее Емельяниха.—Раннимъ утромъ, ни свѣтъ, ни заря, дѣвка бѣгомъ бѣжитъ, лица на ней нѣтъ... За ворота прямо, да и была такова! И спросить не смѣй, куда, молъ, матушка, торопитесь? Махнула рукой, точно на собаку какую, и убѣжала. Да что-жъ я тебѣ послѣ этого?! Кто я такое? Или ужъ я не хозяйка стала своему дому? Или ужъ мнѣ и взыскать ни съ кого нельзя?..

Въ это время заскрипѣла дверь, и въ комнату заглянулъ Максимка.

— Ты куда, чучело?!—топнула на него Емельяниха, но онъ, не смущаясь, вошелъ и проговорилъ:

— Письмо привезъ. Очень скоро нужно.

Протянувъ пакетъ, онъ добавилъ:

— Велѣлъ будить.

— Кто велѣлъ?

— А кто писалъ.

Важность письма, о которомъ говорилось въ домѣ цѣлыя сутки, сразу охладила пылъ Емельянихи. Она бережно взяла пакетъ, оглядѣла его со всѣхъ сторонъ и проговорила тихо.

— Пойду, постучусь... А ты чего-жъ, дурень, стоишь разиня ротъ!—крикнула она сейчасъ же на Максимку.—Или не знаешь, что сапоги не чищены? А ты, сударыня,—обратилась она къ Ѳенѣ,—не меня-ль до-

жидаешься, чтобъ я тебѣ самоваръ поставила? Ахъ, вы, ироды этакіе! Вѣчно за вами гляди, да ходи, ничего сами не знаете. Пошелъ вонъ, дуракъ!

Она выпихнула Максимку и, все еще ворча, понесла наверхъ письмо.

Ѳеня думала: „Все равно!.. Много я терпѣла, на послѣдкахъ ужъ можно еще потерпѣть“. На душѣ у нея было мирно и только сейчасъ, когда она увидала Максимку, ей стало неловко и стыдно, что его-то она и забыла... Какъ онъ останется безъ нея? Что будетъ дѣлать?.. Но сейчасъ же она вспомнила, что Аѳанасій Львовичъ проснется, захочетъ чаю, а самоваръ не поставленъ...

Она улыбнулась, сама не зная чему, и весело побѣжала на кухню.

Максимка сидѣлъ уже тамъ. Возлѣ него лежали нечищенные сапоги, а самъ онъ держалъ на колѣнахъ самоваръ и теръ его тряпкой такъ усердно и сердито, что казалось, не будь самоваръ мѣднымъ, онъ давно протеръ бы ему бока. Увидавъ Ѳеню, Максимка противъ обыкновенія, не улыбнулся и не сказалъ ни слова.

— Будетъ, Максимъ, тереть,—проговорила Ѳеня.— Давай скорѣй, нужно поставить.

Она отняла самоваръ, налила воды и, насыпавъ углей, развела огонь.

— Небось, усталъ въ дорогѣ?—спрашивала Ѳеня, гремя трубою.—Ночь-то не спалъ?

— Я сердитъ,—мрачно отвѣтилъ Максимка.

— На кого?

Онъ кивнулъ по направленію къ горницѣ.

— На бабушку, что ли?.. Чего-жъ сердиться?

— А зачѣмъ она тебя все ругаетъ?

— Ну, Максимъ, не надолго... Побранитъ, да и перестанетъ.

Ѳеня подошла къ нему и, улыбаясь, положила ему на плечо руку.

— Знаешь, Максимъ?.. Я вѣдь скоро уѣду отъ васъ.

Тотъ встрепенулся и съ недовѣріемъ поглядѣлъ на Ѳеню.

— Вѣрно, Максимъ. Далеко уѣду... очень далеко!.. Ну, да хорошо, я тебѣ все разскажу, а сейчасъ побѣгу, столъ накрою.

И, оставивъ Максима въ страхѣ и недоумѣніи, она схватила сапоги, повернулась и убѣжала.

VII.

Кургановъ проснулся съ больной головой. Письмо, которое ему подали, онъ прочиталъ и не понялъ. Потомъ онъ выпилъ воды, умылся и опять прочиталъ. Дѣло было серьезное. Онъ задумался и подошелъ къ столу, чтобы достать бумажникъ изъ ящика, куда онъ запиралъ его каждый разъ на ночь, а ключи хранилъ подъ подушкой. Но въ ящикѣ бумажника не нашлось. Кургановъ поспѣшно схватилъ сюртукъ, но и въ карманахъ не было ничего, кромѣ платка, цвѣтныхъ тесемокъ отъ выигрышей и, тоже выигранной, пачки шпилекъ. Начиная безпокоиться, онъ поднялъ подушки и подъ ними нашелъ портсигаръ; потомъ вернулся къ столу, перешарилъ всѣ ящики, перебралъ всѣ бумаги, расшвырялъ подушки, одѣяло, осмотрѣлъ всю одежду, поглядѣлъ подъ кровать, подъ диванъ, но бумажника не было. „Что такое?—тревожился Аѳанасій Львовичъ.— Куда онъ могъ дѣваться?..“

Начиная припоминать, онъ волновался все болѣе и болѣе. Онъ уже вспомнилъ, что тамъ лежало полторы тысячи рублей, которые онъ получилъ изъ банка; были еще переводы и четыре векселя на пять тысячъ, да карманныхъ денегъ рублей двѣсти или триста. Голова его сразу перестала болѣть и мысли прояснились. Въ смущеніи онъ нѣсколько минутъ шагалъ по комнатѣ,

не зная, за что приняться; наконецъ, сошелъ внизъ и обыскалъ шубу.

— Емельяновна, — сказалъ онъ, встрѣчаясь съ старухой, — взойди на минутку, нужно поговорить.

Онъ вернулся къ себѣ, а слѣдомъ за нимъ вошла Емельяниха.

— Что прикажешь, Аѳанасій Львовичъ?

— Бѣда стряслась, — проговорилъ Кургановъ.

— Что такое?

— Бумажника не найду.

— Какъ бумажника? — изумилась та.

— Съ деньгами, съ переводами... Тысячъ на семь тамъ было.

— Господи Іисусе Христе! — въ страхѣ перекрестилась Емельяниха. — Да какъ же ты это, батюшка?

Кургановъ пожалъ плечами.

— Не знаю. Пьянъ вчера былъ.

Старуха качала головой, вздыхала и ахала.

— Что-жъ это такое! Да ты бы хоть поискалъ, Аѳанасій Львовичъ, нѣтъ ли гдѣ по одежѣ, или куда не сунулъ ли въ столъ, или, можетъ, гдѣ обронилъ за постелью?

Волнуясь не меньше Курганова, Емельяниха встала на колѣна и подползла подъ кровать

— Ахъ, ты грѣхъ какой! — вздыхала она. — Какъ же это такое!

— Пробѣги-ка на дворъ, погляди, нѣтъ ли гдѣ на снѣгу, или по коридору. За находку не поскуплюсь.

— Да что ты, Господь съ тобой! Я и задаромъ тебѣ весь дворъ исползаю. Какъ это такъ, чтобы пропало! Твое добро пуще собственнаго! Ужъ коли только у насъ обронилъ, отыщемъ, не безпокойся. Чужихъ у насъ не бываетъ ни въ домѣ ни на дворѣ...

Она вдругъ запнулась и замолчала.

„А Ѳенька-то проклятая убѣгала утромъ?“ вспомни-

лось Емельянихѣ, и она такъ смутилась, что Кургановъ замѣтилъ.

— Что такое?

— Да ничего, батюшка!... Въ бокъ что-то кольнуло... Побѣгу сейчасъ, поищу поскорѣй...

Она ушла, а Кургановъ снова зашагалъ по комнатѣ, вспоминая вчерашнюю ночь и обдумывая возможность потери. Гдѣ это могло случиться? Въ пассажѣ во время гулянья, или въ трактирѣ, или здѣсь на дворѣ?... Онъ пожималъ плечами и ничего не могъ вспомнить. Однако, разстаться съ такой суммой ему не хотѣлось. Главное, были векселя... „Ну, денегъ-то, конечно, ужъ не воротишь, — думалъ онъ, — а вотъ съ векселями какъ быть?... Придется заявить полиціи... Иначе ни векселей вторыхъ не подпишутъ ни переводовъ не выдадутъ...

„А все это пьянство проклятое!... — негодовалъ на себя Кургановъ. — Поди-ка вспомни теперь, гдѣ кого видѣлъ, съ кѣмъ говорилъ!...“

Всевозможныя мысли, догадки и воспоминанія вихремъ крутились въ его головѣ. На мгновеніе ему вспомнилась Ѳеня... Онъ даже остановился. „Нѣтъ, это не то! — сказалъ онъ себѣ. — Гдѣ же бумажникъ? Гдѣ я его потерялъ и какъ теперь быть съ векселями?... Однако Ѳеня вспомнилась еще разъ; вспомнилась и ея комната, пьяная болтовня, поцѣлуи...

— Эхъ! — обругалъ самъ себя Кургановъ: „Свинья! Безобразникъ!...“ Ему сдѣлалось стыдно, и въ то же время мысль о бумажникѣ тревожила все сильнѣе.

— Ѳеня!—закричалъ онъ, выходя за дверь.—Ѳеня!...

На лѣстницѣ послышался шелестъ платья и быстрые легкіе шаги.

Кургановъ вернулся въ комнату, чувствуя себя нехорошо и неловко, но дверь уже отворилась, и на порогѣ стояла Ѳеня. Онъ поднялъ голову и взглянулъ. Какъ онъ ни былъ разстроенъ, какъ ни былъ занятъ

мыслью о пропавшихъ деньгахъ, но, взглянувъ на Ѳеню, прежде всего подумалъ: „Что съ нею?...“

Лицо ея было строго и блѣдно, глаза глядѣли въ упоръ, точно ждали чего-то, спрашивали, умоляли... Кургановъ отвернулся и нерѣшительно проговорилъ.

— Войди, Ѳеня. Затвори дверь.

Та затворила дверь и молча ожидала вопроса, готовая по первому слову кинуться на колѣна, цѣловать и обливать слезами протянутую руку, но Кургановъ, вмѣсто привѣтствія, смущаясь и отвертываясь, спросилъ:

— Ѳеня... ты не видала... бумажника?

Глаза ея сразу потускнѣли. Она такъ же прямо глядѣла на Курганова, такъ же ждала отъ него чего-то, но уже блескъ и надежда и радость погасли.

— Я говорю, не видала бумажника?... Вчера я потерялъ гдѣ-то бумажникъ... Не у тебя забылъ?

Ѳеня закусила губу и молча потрясла головой.

— Я не шучу, Ѳеня... Тамъ было семь тысячъ!...

— Семь тысячъ... — повторила Ѳеня, точно сквозь сонъ, и руки ея опустились.

— Векселя были, деньги, бумаги разныя были... Ты не видала?

Она снова покачала головой.

— Я тебѣ не дарилъ его?... Спьяну-то не припомню...

— Вотъ вы что подарили, — тихо сказала Ѳеня, начиная дрожать и снимая съ пальца кольцо.—Вотъ что подарили. — Вотъ... возьмите!

Она хотѣла положить кольцо на столъ, но уронила. Хотѣла было поднять его, но у нея потемнѣло въ глазахъ; хотѣла сказать что-то, и не могла. Она зашаталась и побѣжала внизъ, сама не понимая, что съ нею дѣлается.

Максимка въ это время сидѣлъ въ одиночествѣ въ кухнѣ и весело соображалъ, насколько онъ будетъ богатъ, если Кургановъ отдастъ ему обѣщанные десять рублей за работу. Вдругъ отворилась дверь, и Максимка

въ удивленіи вскочилъ съ мѣста. Ѳеня съ крикомъ и рыданіями бросилась прямо на него, обхватила руками его шею и повисла, точно мѣшокъ.

— Максимушка! Максимушка! — рыдала она, дрожа и пряча на его груди свою голову. — Максимушка!.. Я пропала!..

Ея рыданія и слезы совсѣмъ ошеломили его. Онъ глядѣлъ на Ѳеню разгорѣвшимися глазами и чувствовалъ, какъ гдѣ-то глубоко внутри его, тамъ, гдѣ онъ предполагалъ свою душу, совершается что-то необыкновенное, страшное и таинственное. Онъ не спрашивалъ и не говорилъ ничего, но пальцы сами сжимались въ кулаки, а Ѳеня, повиснувъ на его шеѣ, вздрагивала и захлебывалась въ слезахъ. Неполныя, неясныя слова прорывались иногда сквозь рыданія; они были внезапны и несвязны, мѣшались и повторялись.

— Какая я... какая несчастная!.. Максимушка, какая... Максимушка, пожалѣй меня!.. Какая я... какая несчастная!..

Между тѣмъ наверху, въ комнатѣ Аѳанасія Львовича, кричали еще шибче, чѣмъ здѣсь. Емельяниха, взволнованная и оробѣвшая, доказывала, что бумажникъ въ ея домѣ потеряться не могъ, что она исползала всѣ мышиныя норки, но ничего не нашла, и что ей очень обидно, почему Аѳанасій Львовичъ не вѣритъ, а Степанида Егоровна, вышедшая на крикъ изъ своей комнаты, горячо упрекала Курганова въ легкомысліи и нападала на него тоже съ крикомъ.

— Вольно же вамъ по чужимъ спальнямъ таскаться! Гдѣ ночевали, съ тѣхъ и спрашивайте... да! съ тѣхъ и спрашивайте!

— Вы про что это такое!—разсердился Кургановъ.

— А про то, что нечего на меня кричать! — дерзко отвѣтила Степанида.—Сами виноваты! такъ вамъ и надобно! Жалко, что еще мало...

— Да перестаньте вы, Степанида Егоровна!—кричалъ Кургановъ.

— Всѣ ваши гадости мнѣ хорошо извѣстны, Аѳанасій Львовичъ! Очень хорошо извѣстны!

— Да перестаньте же, чортъ возьми!

— Нечего черкаться! Никто не виноватъ въ этомъ. Спросите-ка лучше бабушку, она все разскажетъ... Она все знаетъ.

— Чего я стану разсказывать?—испугалась Емельяниха.—Сама ничего не знаю, чего тутъ разсказывать!.. А тебѣ, Степанида Егоровна, стыдно и даже грѣшно!

— Ничего не грѣшно! А вы спросите ее, спросите!—обратилась она къ Курганову.

Тотъ насторожился и внимательно взглянулъ на старуху.

— Говори, Емельяновна. Я не шучу. Семь тысячъ не пустяки, на вѣтеръ бросать я ихъ не намѣренъ. Лучше разсказывай, а не то—церемониться не стану!

— Да есть на тебѣ крестъ-то, Аѳанасій Львовичъ?—растерялась совсѣмъ Емельяниха. — Что такое я видѣла? Ничего не видала и на душу грѣха не хочу брать. Только сроду у меня такихъ дѣловъ не бывало и ужъ ты меня, ради Бога, не путай. А тебѣ, матушка,—обратилась она къ Степанидѣ,—стыдно!

— Нисколько не стыдно. За живое затронетъ, такъ ничего не стыдно!

— Да замолчите вы! — топнулъ на нихъ Кургановъ. — Кричите да ссоритесь только. Я ничего не хочу знать, а вотъ если бумажникъ вы мнѣ не найдете, я заявлю полиціи.

— Такъ откуда-жъ я тебѣ возьму твой бумажникъ?—разсердилась, въ свою очередь, Емельяниха.—Ишь ты, дѣло какое: посѣялъ нивѣсть гдѣ, а тутъ за тебя отвѣчай!

Аѳанасій Львовичъ топнулъ и мигомъ выпроводилъ изъ комнаты обѣихъ хозяекъ, а самъ надѣлъ шубу

и уѣхалъ. Проходя дворомъ, онъ увидѣлъ, что Досъ, лохматая Максимкина собака, повернула къ сѣнямъ морду и, зажмуривъ глаза, воетъ тонкимъ пронзительнымъ голосомъ...

„Ну, — подумалъ Кургановъ, — пошла теперь суматоха!“ И, кликнувъ извозчика, велѣлъ везти къ исправнику, котораго считалъ своимъ добрымъ знакомымъ, и надѣялся на его скорую и энергичную помощь.

Не прошло и часа, какъ у воротъ кто-то громко и нетерпѣливо зазвонилъ разъ за разомъ. Максимка бросился отпирать, распахнулъ калитку и даже отшатнулся отъ внезапнаго испуга. Передъ нимъ стоялъ полицейскій съ крутыми рыжими усами... А полицейскихъ ни Максимка ни его вѣрный Досъ не могли равнодушно видѣть.

— Дома хозяйка?

— Дома, дома, — поспѣшилъ отвѣтить Максимъ, пятясь къ забору, между тѣмъ какъ Досъ, ощетиня шерсть и поджавши хвостъ, прыгалъ и неистово лаялъ на вошедшаго.

Полицейскій молча и важно прошелъ мимо въ горницу, пробылъ тамъ минутъ десять и, когда возвращался и его провожала Степанида Егоровна, то, идя, онъ повторялъ все время съ видимымъ наслажденіемъ:

— Двадцать четыре часа!.. Дѣло ярмарочное!.. Двадцать четыре часа!..

Произносилъ онъ это какимъ-то особеннымъ тономъ, словно торжествовалъ, и голосъ его отзывался болью въ смущенномъ сердцѣ Максимки.

Когда же, заперевъ за гостемъ ворота, Максимка вернулся въ кухню, то увидѣлъ что Ѳеня неподвижно сидитъ на скамейкѣ съ сложенными на колѣнахъ руками. Она была очень блѣдна и задумчива. Онъ подошелъ къ ней и молча сѣлъ рядомъ.

— Что ты, Максимъ, какой страшный? — сказала Ѳеня тихо и спокойно, вглядываясь въ его смуглое сердитое лицо. — Нужно терпѣть, Максимушка... На томъ свѣтѣ намъ все воздастся... Преподобная Ѳеодора больше нашего притерпѣла... и чужую вину на себя взяла... Помнишь, я читала тебѣ, Максимушка?

Голосъ ея былъ необыкновенно ласковъ и ровенъ, а глаза были ясные, свѣтлые. Она медленно вздохнула и, глядя куда-то вдаль, промолвила:

— Богъ съ нимъ, съ Аѳанасіемъ Львовичемъ! Обидѣлъ онъ меня... очень обидѣлъ...

И изъ глазъ ея заструились тихія слезы.

— Грѣхъ ему... грѣхъ ему! — повторяла Ѳеня, а Максимка пристально глядѣлъ на нее злыми глазами и недоброе чувство къ Курганову разросталось въ немъ съ каждой секундой.

— Теперь мнѣ одна дорога—въ монастырь... Вспоминай меня, Максимушка... Вспоминай... А я все притерплю... все... И ты терпи.

Максимка слушалъ и молчалъ, а между тѣмъ сердце его болѣло, сжималось и стонало. Онъ чувствовалъ, что внутри у него что-то растетъ все больше и шире, растетъ и распираетъ ему всю грудь и все горло, такъ что дышать становится трудно.

— Вотъ я ему... Ладно! — проговорилъ онъ, наконецъ.—Погоди ужо!

И Максимка, погрозивъ кулакомъ, тряхнулъ головою.

— Ладно!..

— Что ты! Что ты, Максимъ!—испугалась Ѳеня, схватывая обѣими руками его кулакъ,

Максимка сверкнулъ глазами и вскочилъ съ скамейки.

— Зарѣжу! Больше ничего!

Но, видя, что Ѳеня укоризненно качаетъ головой, онъ смутился.

— Какъ тебѣ не стыдно, Максимъ?—сказала она.— Рѣхнулся ты, что ли?.. Ахъ, Максимъ, Максимъ!.. Видно,

мнѣ и съ тобой нельзя... и тебѣ нельзя душу открыть...

Она махнула рукой и ушла.

VIII.

Ярмарка давно уже затихла, и усталый народъ либо отдыхалъ, либо веселился, позабывъ дневныя заботы, и никто, конечно, не зналъ, что есть одинъ человѣкъ, который сидитъ въ это время на дворѣ на бревнышкѣ и, не поднимая головы, думаетъ горькую думу. Морозъ пощипываетъ его за носъ и за уши; на небѣ блеститъ мѣсяцъ, окруженный громаднымъ бѣлесоватымъ кольцомъ; гдѣ-то жалобно воетъ Досъ, гдѣ-то за воротами весело громыхаютъ бубенчики,—но ничто не выводитъ Максимку изъ его оцѣпенѣнія; какъ онъ сѣлъ, такъ и сидитъ съ опущенной головой, точно примерзъ. Медленно бродятъ у него тяжелыя мысли, медленно сосетъ его сердце какая-то невидимая змѣя, и никакъ не можетъ Максимка понять, что такое случилось.

А случилась такая напасть, что у Максимки заледенѣла вся кровь.

Сначала пришла къ нему Ѳеня и упрекнула, зачѣмъ онъ такъ напугалъ ее; потомъ она заставила поклясться его передъ иконой, что не тронетъ Курганова; и Максимка поклялся.

— Не трону его, не зарѣжу,—обѣщалъ онъ Ѳенѣ, крестясь на образъ.—Вотъ-те Микола-богъ,—не трону!

И говоря это, Максимка думалъ: „Ну, теперь не трону. Ужъ вѣрно, не трону“...

Послѣ этого какъ разъ и случилась бѣда. Приходилъ опять полицейскій съ рыжими усами, потребовалъ Ѳеню, и все время называлъ ее „сахаромъ“.

— Ты куда же, сахаръ, бѣгала поутру?.. Откуда у тебя, сахаръ, колечко явилось?—спрашивалъ онъ,

улыбаясь, а потомъ велѣлъ ей надѣть шубу и увелъ неизвѣстно куда.

Отъ одного его вида, отъ голоса, какимъ онъ говорилъ „сахаръ“, у Максимки подгибались колѣна. Ѳеня тоже тряслась и просила позвать самого Аѳанасія Львовича.

— Какъ же ему не грѣхъ меня обижать!—говорила она, а полицейскій, улыбаясь, ей отвѣчалъ:

— До всего, сахаръ, дойдемъ! Дѣло ярмарочное: въ двадцать четыре часа все отыщемъ!..

Если бы Ѳеню уволокъ въ лѣсъ медвѣдь, или она упала бы въ Волгу, или загорѣлся бы со всѣхъ сторонъ домъ—Максимка могъ бы тогда показать свою силу, но теперь, когда случилось самое страшное дѣло, и Ѳеню увелъ полицейскій, Максимкѣ нечего было дѣлать; и вотъ онъ сѣлъ на бревно и сидитъ, и видитъ только одно,—что безсиленъ.

Мало-по-малу оцѣпенѣніе его начало проходить; но чѣмъ яснѣе становились мысли, тѣмъ больнѣе дѣлалось на душѣ.

„А... погубилъ!?“ думалось ему про Курганова. И сознаніе, что Кургановъ погубилъ Ѳеню, внезапно озлобило его такъ, что онъ вскочилъ и, ударивъ изъ всей силы кулакомъ по бревну, прошипѣлъ сквозь зубы:

— Коштанъ!! *)

Кургановъ, котораго онъ такъ недавно уважалъ и любилъ за лихія продѣлки, за пляску, за брань, за умѣнье пьянствовать цѣлую ночь напролетъ, теперь былъ ему ненавистенъ, какъ самый лютый врагъ, и Максимка, снова сжавъ кулаки, проговорилъ:

— Тибь болдыръ!.. **)

Хотя онъ всегда говорилъ и думалъ по-русски, но

---

*) Міроѣдъ.

**) Сгинь. Провались!

когда доходило до злобы (а въ злобѣ Максимка уже не помнилъ себя), то бранился по-своему, по-чувашски.

Прислушиваясь къ вою Доса, Максимка приходилъ въ ужасъ и суевѣрно убѣждался все болѣе и болѣе, что Ѳеня погибла, и еще сильнѣе въ немъ закипала ненависть къ Курганову, къ этому злодѣю и міроѣду, передъ которымъ даже Емельяниха теперь казалась ангеломъ... Въ волненіи и страхѣ онъ вышелъ на улицу, самъ не зная, зачѣмъ.

Сильно морозило; снѣгъ весело хрустѣлъ подъ ногами, и шаги пѣшехода можно было бы слышать за полверсты; улица, занесенная снѣгомъ, бѣлѣла и искрилась подъ луною, а крестъ на колокольнѣ сіялъ и горѣлъ, будто его только что облили свѣжимъ золотомъ.

Но нѣтъ! Не милъ ему Божій свѣтъ! Ему хотѣлось мрака, такого же долгаго, тяжкаго, какой охватилъ его душу. И Максимка шелъ, не разбирая пути. Чья-то собака накинулась на него съ лаемъ, но онъ толкнулъ ее въ морду ногою, и когда та взвизгнула, на сердцѣ у него стало легче. Злоба, одна только злоба наполняла его всего. Кусая губы, онъ шелъ все быстрѣе, не чувствуя подъ собою ногъ; иногда до слуха его доносилось яростное скрипѣніе,—это онъ самъ же скрежеталъ своими здоровыми, бѣлыми зубами и не замѣчалъ, что скрежещетъ. Не зналъ онъ также, зачѣмъ и куда идетъ, и опомнился только, когда вернулся домой, обогнувъ весь городъ.

Въ домѣ все было тихо. Максимка одинъ бродилъ по двору, не находя мѣста, куда дѣваться; голову его палило точно огнемъ, передъ глазами кружились красныя пятна. Усталый и промерзшій, онъ вошелъ въ свою каморку, гдѣ было тепло, и, не снимая ни тулупа ни шапки, сѣлъ на постель. Но что же ему теперь дѣлать?! Проклятый коштанъ не выходилъ изъ мыслей, а сердце стонало и злобилось все больше и больше.— „Погубилъ... погубилъ, коштанъ!“ говорило оно Ма-

ксимкѣ, и Максимка снова поднялся и зашагалъ изъ угла въ уголъ большими, осторожными шагами, безъ шума, затаивъ дыханіе. Поминутно онъ останавливался и озирался. Глаза его дико блуждали, а скуластое смуглое лицо разгоралось румянцемъ. Какъ хотѣлось ему въ это время пробраться къ Курганову ночью и перерѣзать горло, чтобы зналъ, коштанъ, въ другой разъ—какъ обижать и смѣяться! Но клятва связывала ему руки, и онъ отъ ужаса чуть не задыхался.

Ему хотѣлось скорѣе, сейчасъ же, сію же минуту встрѣтить Курганова, чтобъ разсчитаться. Онъ уже предвкушалъ наслажденіе, съ какимъ защемилъ бы проклятаго „хозя“ между воротъ, да такъ, что затрещали бы кости!

Безсильная, безысходная ярость душила его. Онъ заметался и, подбѣжавъ къ двери, ударилъ по ней кулакомъ такъ свирѣпо, что дверь распахнулась и волна морознаго воздуха обожгла ему воспаленное лицо.

Позабывъ, что крещеный, въ изступленіи сорвалъ онъ съ головы шапку, поднялъ къ звѣздному небу руки и, дрожа и блѣднѣя, воскликнулъ:

— Хаяръ-Кереметь!! *)

Онъ бросился ницъ на землю, зарыдалъ и застоналъ, произнося страшныя заклинанія:

— Злая Кереметь! Лихая Кереметь! Погуби врага! Умертви врага!

Глаза Максимки налились кровью и сверкали, какъ горячіе уголья.

Тяжело дыша, онъ поднялся; его грудь, рукава, лицо и волосы были въ снѣгу. Скрестивъ на груди руки, онъ низко поклонился на востокъ и опрометью бросился въ комнату, гдѣ заперся, и повалился ничкомъ на кой-

*) Самое свирѣпое божество, приносящее скорбь и бѣдствія, имя котораго не безопасно упоминать даже въ молитвѣ.

ку. Такъ онъ долго лежалъ. Сердце въ немъ билось до боли, замирало, душило его, и было такъ жутко, что онъ не смѣлъ поднять головы. Когда же Досъ завылъ подъ самымъ окномъ, Максимка вдругъ встрепенулся и, озираясь съ суевѣрнымъ страхомъ, приподнялся и сѣлъ.

Ему казалось, что „тамыкъ-хоранъ“ *) уже разверзаетъ свою пасть, чтобъ поглотить „коштана“; тамъ будетъ ему голодно и холодно, тамъ не найдетъ онъ ни дома, ни воды, чтобъ утолить жажду, ни друга, ни брата, ни отца, ни дѣтей.

Если Максимка и не очень твердо вѣрилъ, что все это непремѣнно случится съ Кургановымъ, то во всякомъ случаѣ желалъ ему этого искренно, съ радостью и отъ всей души.

Онъ сидѣлъ на своей койкѣ, торжествовалъ и вмѣстѣ злился, скаля зубы и сжимая кулаки.

Еще никто и никогда не видалъ въ такомъ видѣ Максимку. Въ немъ уже нельзя было бы и признать того послушнаго, безропотнаго парня, котораго били по щекамъ, кормили впроголодь и ругали на всякомъ шагу. Теперь онъ былъ бы страшенъ самой Емельянихѣ, да и самъ затрепеталъ бы передъ собою, если-бъ увидалъ себя въ зеркалѣ.

„Погубилъ... погубилъ, коштанъ!!“

Эта мысль не выходила изъ его головы, и нанесенная обида, точно пламя, разливалась по всей крови.

Онъ представлялъ себѣ Ѳеню связанную веревками, безсильную, забитую, и нисколько не сомнѣвался, что она пропала теперь... совсѣмъ пропала. Скрипя зубами и поднявъ кулаки, Максимка бѣшено бросался въ уголъ, но передъ стѣной кулаки его опускались и изъ груди вылетали безсильные, дикіе звуки, похожіе на рычаніе...

---

*) Адъ, мѣсто вѣчнаго несчастія и голода.

IX.

На дворѣ было ясно, точно днемъ, хотя давно уже наступила ночь; лунный свѣтъ широкой мягкой волной проникалъ черезъ окно въ комнату Максимки, и тамъ было также свѣтло. Максимка давно лежалъ, но глаза его были открыты.

Горькая обида не давала покоя. Мысли его бѣжали, словно въ перегонку, путались и злили его. Сердце стучало и замирало, и было больно дышать. Внутри у него все горѣло, передъ глазами ходили огненные круги, на губахъ трескалась кожа.

Все, что было русскаго привито къ его душѣ, теперь отъ него отдалилось и умерло, и онъ съ радостью чувствовалъ себя прежнимъ свободнымъ чувашиномъ, какимъ были его отецъ, дѣдъ и прадѣдъ. О, они были не глупѣе его! Они умѣли жить на свѣтѣ, а вотъ онъ не умѣетъ... Его всю жизнь ругали, били и притѣсняли, а онъ молчалъ и терпѣлъ. Вотъ и сейчасъ: онъ не спитъ, страдаетъ, онъ обиженъ и разозленъ, а сдѣлать ничего не можетъ, потому что врагъ его силенъ. Силенъ и несокрушимъ, и не боится гнѣва Максимки, и даже домой не идетъ. Не идетъ домой, а попиваетъ себѣ вино, да поетъ, да хохочетъ...

Нѣтъ! Онъ не дастъ ему жить спокойно! Онъ ему покажетъ, что такое обида!..

Только какъ же онъ это сдѣлаетъ? Что съ нимъ дѣлать?!

Максимка проклиналъ свое обѣщаніе передъ Миколой-богомъ. Измѣнить ему онъ не могъ, и обиды забыть не могъ, и безсильная ярость заставляла его рычать и задыхаться.

„Ширъ-шаръ...“ внезапно пронеслось въ его мысляхъ.

Максимка вскочилъ.

Вскочилъ и задумался...

Потомъ онъ сѣлъ на кровать, уперся въ нее кулаками и, неподвижно остановивъ глаза, медленно и зловѣще прошепталъ:

Ширъ... шаръ!? *)

Лицо его стало строго и блѣдно; губы тряслись.

„А мнѣ что жъ!“ думалъ онъ, начиная дрожать и улыбаться все шире и шире. Наконецъ, онъ засмѣялся тонкимъ, короткимъ смѣхомъ, походившимъ на ржанье. Звукъ этого смѣха былъ жидокъ и слабъ, но улыбка и оскаленные зубы и засверкавшіе глаза выражали злорадство и торжество побѣдителя.

Вѣдь вотъ ему врагъ не даетъ покоя, а самъ гуляетъ себѣ... Такъ нѣтъ же! Пускай и онъ почувствуетъ, пускай перестанетъ спать! И ужъ не жить ему больше весело!..

Съ души у него точно свалился камень. Стало легко...

О, тогда уже ничѣмъ нельзя будетъ избавиться отъ Максимки! Его не прогонишь, не ударишь, не выживешь! Онъ станетъ всюду преслѣдовать врага, всюду мѣшать ему, пугать по ночамъ, отнимать у него всякую радость, отгонять сонъ и безъ-устали мучить его душу, пока тому не опротивѣетъ Божій свѣтъ, пока не перестанетъ онъ пить и ѣсть, и не засохнетъ отъ горя и злобы... Нѣтъ, не задаромъ достанется ему гибель Максимки! Ему лихо придется, такъ лихо, такъ худо, какъ не можетъ быть хуже ни одному человѣку!

„А мнѣ что жъ!—разсуждалъ Максимка, и погубить себя казалось ему въ сущности такъ просто и такъ не важно, что обмѣнять свою жизнь на долгую и мучительную гибель врага было только побѣдой! Вѣдь съ

---

*) Сухая бѣда, т. е. непредвидѣнное и неодолимое несчастіе. „Тащить сухую бѣду“ — это значитъ, что на зло своему заклятому врагу нужно повѣситься у него во владѣніи, чтобы заставить его мучиться всю жизнь.

проклятымъ коштаномъ ничего иначе не сдѣлаешь: онъ все будетъ смѣяться да пировать, а тутъ...

И Максимка опять засмѣялся.

А тутъ... онъ не пропуститъ ему ни одной ночи, чтобъ не явиться ужаснымъ призракомъ, онъ будетъ его попрекать своею смертью, душить страшными сновидѣніями, становиться вездѣ поперекъ дороги, путать мысли, отравлять веселье... О, тогда уже больше не запоетъ коштанъ!.. Выплачетъ онъ свои глаза, изорветъ свои волосы, изсохнетъ, завянетъ и умретъ хуже всякой собаки, съ проклятіемъ и злобой на самого себя!..

Максимка весь дрожалъ. Короткій внезапный смѣхъ внезапно же смѣнялся скрежетомъ зубовъ, или звукомъ крѣпкаго удара по койкѣ, или трепетнымъ шумнымъ вздохомъ. И злоба, и радость побѣды, и накопившееся за много лѣтъ горе, и ненависть — все слышалось, все изливалось въ этихъ звукахъ. Максимкѣ было даже весело, и нисколько не было страшно. Его радовало и то, что ночь стояла лунная: свѣчку съ собой не для чего было нести, а въ мягкихъ валенкахъ онъ сумѣетъ пробраться такъ осторожно, что никто не разслышитъ. Отъ нетерпѣнія и близкаго торжества у него захватывало духъ. Да, теперь уже онъ (онъ, а не Кургановъ!) будетъ хозяиномъ, и это будетъ скоро, очень скоро... будетъ сейчасъ!..

Максимка всталъ. Выйдя на дворъ, онъ уже не слыхалъ, какъ хрустѣлъ подъ его ногами снѣгъ, не замѣчалъ ни луны, ни звѣздъ на небѣ, ни лохматаго Доса, съ визгомъ и радостью бросившагося къ нему отъ воротъ. Одна только мысль наполняла его всего. Съ этою мыслью онъ перешелъ весь дворъ, отворилъ сарай и нащупалъ впотьмахъ веревку. Онъ схватилъ ее дрожащими руками и наскоро засунулъ за пазуху, чтобы согрѣть. Потомъ, не торопясь, направился къ дому и рѣшительнымъ движеніемъ руки отворилъ

и захлопнулъ за собою дверь, которая въ ожиданіи Курганова была не заперта.

Крадучись, онъ вскорѣ приблизился къ лѣстницѣ и, отсюда уже, не помня себя отъ нетерпѣнія, быстро зашагалъ вверхъ, оставляя валенками мокрые слѣды на порожкахъ.

Въ коридорѣ было темно. Максимка нагнулся, почти присѣлъ, чтобы безъ шума нащупать скобку, и, нащупавъ, быстро распахнулъ дверь, вошелъ и такъ же быстро и безъ шума затворилъ ее за собою.

Луна здѣсь глядѣла прямо въ окошко, и по полу распластались свѣтлыя широкія пятна, вперемежку съ тѣнями. Убѣдившись, что вокругъ тихо, и никто не идетъ, Максимка началъ осматриваться. Прежде всего онъ увидалъ письменный столъ у окна. Это было не то. Потомъ увидалъ постель. И это было не то. Въ углу бѣлѣла печка; между печкой и постелью еще что-то бѣлѣло... Максимка пристальнѣе вглядѣлся и понялъ: это висѣла крахмальная сорочка, зацѣпленная за гвоздь воротомъ. Стараясь не скрипѣть и не шумѣть, онъ осторожными шагами подошелъ къ сорочкѣ, задумался на секунду и быстро сдернулъ ее со стѣны.

Въ стѣнѣ торчалъ большой черный гвоздь, который Максимка самъ вбивалъ въ прошломъ году для зеркала. Не спуская теперь съ него глазъ, онъ началъ шарить за пазухой и вытащилъ сырую оттаявшую веревку. Вынувъ, онъ посмотрѣлъ на нее. Потомъ опять поглядѣлъ на гвоздь и опять на веревку... Потомъ намоталъ веревку на гвоздь и завязалъ узломъ. Попробовалъ потянуть, — было крѣпко. Потомъ изъ веревки сдѣлалъ съ другого конца петлю, и снова попробовалъ руками. Было также прочно. Потомъ онъ задумался.

Думалъ Максимка не долго. Онъ повернулся лицомъ къ окну и молча погрозилъ кулакомъ, а черезъ минуту висѣлъ уже въ петлѣ...

Огненнымъ дождемъ посыпались искры передъ его

глазами, вспыхнула радуга, какія-то теплыя волны, будто изъ густого масла, подняли его и понесли все выше и выше, быстрѣй и быстрѣй... А вотъ и Бѣлый Старецъ... но борода его красна, и одежда красна, и лицо его красно, точно все въ заревѣ... Вотъ и Ѳеня... тоже красная... огненная... Она цѣлуетъ Максимку... на ней нѣтъ ни платья ни сорочки... А вокругъ огонь и зарево, и музыка гремитъ со всѣхъ сторонъ, а маслянистыя теплыя волны все быстрѣй и все выше несутъ... и уносятъ во мракъ...

. . . . . .

Степанида Егоровна проснулась. Кто-то громко и безпрестанно звонилъ у воротъ, видимо, сердился.

„Неужто опять полиція?—испугалась она. — Да чего жъ не отпираетъ дуракъ Максимка?...“

Но звонокъ не смолкалъ.

Тогда Степанида Егоровна встала, наскоро одѣлась и сама побѣжала къ воротамъ, тревожась и не понимая, отчего нѣтъ ни Максимки ни Емельянихи.

Заслышавъ издали скрипъ шаговъ, Кургановъ закричалъ изъ-за калитки:

— Что жъ ты, чортъ, оглохъ, что ли!!..

Но калитка отворилась, и Аѳанасій Львовичъ изумился.

— Это вы?—проговорилъ онъ.—А гдѣ же Максимка? Я чуть не полчаса звоню.

Онъ вошелъ, самъ заперъ калитку и, слѣдуя за молчавшей хозяйкой, проговорилъ:

— Степанида Егоровна!.. Какъ я виноватъ передъ Ѳеней и передъ вами... особенно передъ Ѳеней! Ужъ вы извините меня. По пьяному дѣлу, сами знаете, чего только ни случается... Вѣдь бумажникъ-то мнѣ отыскали.

— Отыскали?—остановилась Степанида Егоровна.— Ну, и слава Богу!

— Арфистка проклятая, вытащила... послѣ базара... Только васъ-то всѣхъ перессорилъ да огорчилъ понапрасну... Ей Богу совѣстно! Ужъ вы простите, что такъ обидѣлъ.

— Ну, что за обида!—обрадовалась та.—Наше вѣдь женское горе короткое, Аѳанасій Львовичъ: поцѣлуетъ милый человѣкъ—вотъ и все прошло!

Она засмѣялась и весело взбѣжала на лѣстницу. Кургановъ тоже засмѣялся и промолвилъ вдогонку:

— За этимъ дѣло не станетъ!

Войдя наверхъ, Степанида Егоровна остановилась возлѣ Кургановской двери; Аѳанасій Львовичъ тоже остановился.

— Хотите мириться?—спросилъ онъ съ улыбкой.—Завтра вѣдь уѣзжаю...

Та потупила голову.

— Ну?..—повторилъ Кургановъ.—Хотите?

Степанида Егоровна молча сбросила съ себя шубейку и положила ему на плечи руки.

— Конечно, хочу!!

И оба они разсмѣялись. Затѣмъ поцѣловались и обнявшись, вмѣстѣ вошли въ комнату.

— Только, чуръ: про Ѳеньку чтобъ я не слыхала больше!

— И безъ того стыдно, Степанида Егоровна!—отвѣтилъ Кургановъ.—А все это пьянство проклятое!.. Вотъ и сейчасъ: цѣлую ночь съ сыщиками возился, но ужъ пьянъ я больше не буду... Ни-ни! ни за что!..

Аѳанасій Львовичъ, смѣясь, нашарилъ въ карманѣ спички, зажегъ огонь, и—оба они вдругъ поблѣднѣли и вскрикнули...

СЧАСТЛИВЕЦЪ.

(Изъ дневника пріятеля).

I.

По сибирской трактовой дорогѣ во всю мочь скачетъ рѣзвая тройка, вынося на крутой пригорокъ тяжелый тарантасъ, въ которомъ я, кряхтя отъ толчковъ, стукаюсь то о бортъ экипажа, то о чемоданъ, лежащій рядомъ со мною. Ямщикъ мой точно ошалѣлъ: лошади мчатся во весь духъ, а онъ, привставши, нахлестываетъ ихъ поочередно кнутомъ, взмахиваетъ руками и вскрикиваетъ не то визгливымъ, не то охрипшимъ голосомъ съ такимъ отчаяннымъ выраженіемъ, будто невидимая рука ухватила его прямо за горло. Духъ занимается отъ такой бѣшеной скачки.

„Должно-быть, близко станція", думаю я, вспоминая справедливую поговорку, что, приближаясь къ дому, всякій ямщикъ дѣлается лихимъ.

Дѣйствительно, едва въѣхали мы на пригорокъ, какъ передъ нами раскинулось селеніе, по улицамъ котораго съ тѣмъ же крикомъ и звономъ колокольчиковъ мы помчались, преслѣдуемые стаей собакъ. Впрочемъ, все это такъ быстро промелькнуло передъ моими глазами, что я не успѣлъ разобрать подробностей; видѣлъ только, что по обѣ стороны бѣгутъ отъ насъ телята и свиньи, лаютъ сзади и спереди собаки и врозь азлетаются съ крикомъ куры.

— Куда, ваше-скородіе, везти?—сдерживая, наконецъ, тройку, спрашиваетъ ямщикъ.

— Вези, гдѣ почище.

— На почту, али къ Смарагдычу?

— А кто это Смарагдычъ?

— У Смарагдыча будетъ почище.

— Ну, такъ, конечно, къ Смарагдычу!

Ямщикъ въ отвѣтъ опять вскрикнулъ, опять ухнулъ и, нахлестывая лошадей, черезъ минуту подкатилъ меня съ звономъ и громомъ къ маленькому сѣрому домику на углу селенія, которое было вообще очень грязно и бѣдно, но, вѣроятно, потому, что раскинулось широко, называлось уѣзднымъ городомъ.

Разбитый и усталый, я вылѣзъ изъ тарантаса и пошелъ во дворъ. Навстрѣчу мнѣ изъ сарая вылѣзъ мужикъ съ нечесанной головой и узкими глазами, должно-быть, спавшій только что безмятежнымъ сномъ.

— Вамъ... тово?—лѣниво пробормоталъ онъ, утирая горстями лицо.—Лошадей, что ли?

Въ это время въ домѣ отворилась низенькая дверь и на помощь невыспавшемуся мужику вышла хозяйка, женщина лѣтъ 25, въ цвѣтной бумажной кофточкѣ. На первый взглядъ она мнѣ показалась костлявой и некрасивой, хотя глаза большіе и сѣрые глядѣли смѣло и вызывающе.

— Прошу покорно, войдите,—услышалъ я ея мягкій голосъ, который сейчасъ же сдѣлался громкимъ и рѣзкимъ, когда она крикнула мужику: „Чемоданы тащи! Дурень!“

Мужикъ, точно подъ ушатомъ холодной воды, вдругъ присѣлъ, заметался туда и сюда и бѣгомъ пустился за ворота, сообразивъ, наконецъ, въ чемъ дѣло.

— Пожалуйте,—снова сказала мнѣ хозяйка, привѣтливо и мягко.

Она ввела меня въ домъ, въ очень чистую и свѣтлую комнату съ кроватью подъ пологомъ. На полу лежалъ

пестрый тюменскій коверъ, по стѣнамъ стояли диванъ и стулья, у окна—столъ.

— Эта комната для проѣзжихъ.

— Я хотѣлъ бы переночевать, если это удобно.

— Конечно, удобно. На то и комнату держимъ.

— Въ такомъ случаѣ, комната за мною.

— Очень хорошо.

Прежде всего мнѣ хотѣлось спать. Я такъ усталъ и такъ былъ разбитъ, что отказался отъ обѣда, который мнѣ предложила хозяйка.

— Вы, вѣрно, не здѣшній, что такъ замучились?— спросила она, глядя на меня своими свѣтлыми глазами, не то съ участіемъ, не то съ усмѣшкой.

— Да, я изъ Петербурга.

— А... Къ желѣзнымъ дорогамъ привыкли!

Мужикъ принесъ мои чемоданы, и хозяйка, пожелавъ мнѣ пріятнаго отдыха, вышла, а я заперъ за нею дверь, раздѣлся и сейчасъ же заснулъ. Послѣ четырехъ сутокъ утомительной ѣзды въ тарантасѣ, я спалъ какъ убитый и, несмотря на то, что велѣлъ себя разбудить черезъ часъ и ко мнѣ стучались, я проснулся лишь къ вечеру.

II.

Вечеръ былъ тихій и ясный, одинъ изъ тѣхъ лѣтнихъ вечеровъ, которые своей тишиной навѣваютъ сладкую лѣнь,—и хочется бродить, бродить безъ конца и безъ цѣли, среди простора и одиночества, и въ то же время не хочется двинуться съ мѣста.

Солнце уже закатилось, но небо было свѣтлое и вокругъ было свѣтло; сѣверныя сумерки вообще долги и блѣдны.

— Самоваръ вамъ куда подать,—спросила хозяйка, когда я захотѣлъ выпить чаю:—въ комнату или въ садикъ?

— А у васъ есть садикъ?

— Крошечный.

— Тогда лучше въ садикъ.

Вскорѣ она пригласила меня къ чаю. Между домомъ и дворомъ былъ разбитъ, дѣйствительно, крошечный садъ, всего въ нѣсколько саженъ. Здѣсь росли шиповникъ, лопухи и репейникъ съ сѣдыми щетинистыми цвѣтами, а въ уголкѣ стояла бесѣдка изъ живыхъ акацій съ густою непролазною зеленью.

Когда мы вошли, въ бесѣдкѣ шипѣлъ самоваръ, но на столѣ былъ приборъ только одинъ—для меня; при этомъ не было ни чая ни сахара. Этотъ одинокій приборъ и отсутствіе сахара, и вообще все, всякая мелочь, не только напоминали мнѣ о моей роли, но даже какъ будто нарочно подчеркивали, что я здѣсь не гость, а только—проѣзжій.

И ясный вечеръ, и этотъ крошечный садикъ, и присутствіе женщины—все какъ-то не вязалось съ одинокимъ приборомъ, тѣмъ болѣе, что на своемъ пути я уже нѣкоторое время вовсе не встрѣчалъ женщинъ, съ которыми можно было бы разговориться. Встрѣчались либо старухи, либо просто бабы, а въ глазахъ этой новой хозяйки мнѣ видѣлось что-то иное, какъ будто интеллигентное, хотя мнѣ казалось это и страннымъ и почти невозможнымъ.

„Ну, что-жъ,—подумалъ я,—проѣзжій я, ну и ладно... Съ проѣзжаго и спросъ не таковъ. Проѣзжему некогда церемониться“.

Въ качествѣ проѣзжаго я предложилъ хозяйкѣ выпить со мной чашку чаю.

— Что-жъ, съ удовольствіемъ!—просто согласилась она.—Я вижу, вамъ страшно скучно.

Она засмѣялась и пошла, чтобы принести себѣ чашку, а я пошелъ доставать изъ чемодана чай и сахаръ.

Черезъ нѣсколько минутъ, когда мы сидѣли уже вмѣстѣ за самоваромъ и разговаривали, я обратился

къ хозяйкѣ съ просьбой назвать ея имя. Она въ отвѣтъ засмѣялась.

— По-разному, — сказала она: — мужъ меня зоветъ Огонькомъ, а добрые люди величаютъ Агніей Петровной.

— Ну, и я буду изъ этихъ добрыхъ людей и буду васъ величать Агніей Петровной.

Мнѣ почему-то вдругъ стало весело. Да и хозяйка такъ мило улыбалась, что мы глядѣли другъ другу въ глаза, точно давнишніе пріятели, да и лицо ея, показавшееся мнѣ сперва некрасивымъ, пріобрѣло какое-то новое выраженіе, задорное, лукавое. Я уже видѣлъ, что это отчаянная сорви-голова, но мнѣ это даже нравилось. Слово за слово—и мы разговорились.

— А не принести ли огня?—вдругъ спросила Агнія Петровна, указывая рукой на садикъ, утопавшій въ сумеркахъ.—Какъ мы заболтались. Совсѣмъ ужъ стемнѣло.

— Зачѣмъ мнѣ огонь,—пошутилъ я,—когда здѣсь и безъ того уже есть Огонекъ!

— Ну, огонькомъ-то вы не смѣете меня называть, потому что...

Она не договорила и сдѣлала головою странное, но лихое движеніе, которое не перескажешь, однако, сразу поймешь, что оно значитъ. А значило оно приблизительно то самое, что означаетъ извѣстная поговорка: „руки коротки!“

Я засмѣялся. Она обидѣлась.

— Знаете что,—вдругъ заявила она:—вы, должно-быть, здоровенный нахалъ!

„Нѣтъ, она не интеллигентная“, съ грустью подумалось мнѣ. Впрочемъ, въ качествѣ проѣзжаго, мнѣ было это не такъ уже важно.

— Васъ, вѣрно, избаловали женщины?—сказала она нѣсколько мягче послѣ небольшой паузы. — Вы что-то ужъ больно осмѣлились.

— Наоборотъ,—со смѣхомъ возразилъ я, чувствуя,

что начинаю дурачиться.—Я совсѣмъ неудачникъ среди женщинъ, а главное—трусъ.

— Оно и видно!

— Вы не вѣрите?

— Конечно, не вѣрю.

— Посмотрите, какой я смирный.

— Знаю я такихъ смиренниковъ. Благо нѣтъ никого,—возьмутъ да обнимутъ! Этого только отъ васъ и жди.

Я задумался.

Въ саду было темно и тихо; хозяйка была такъ странно настроена, а въ меня все болѣе и болѣе вселялся какой-то бѣсъ. Глядя на Агнію Петровну, я чуть было не воспользовался ея предостереженіемъ, но она меня перебила вопросомъ:

— Вы изъ Петербурга? Зачѣмъ вы сюда заѣхали?

— По дѣламъ.

— А у васъ какія дѣла?

Разговоръ начинался скучный. Чтобъ перебить его, я отвѣтилъ кратко:

— На службу—и сейчасъ же спросилъ:—А вы, что же, вдова?

— Вдова,—отвѣтила Агнія Петровна и засмѣялась.— Только соломенная, потому что мужъ все лѣто живетъ на заимкахъ, а я здѣсь. Только вы, пожалуйста, ничего не думайте: я мужа очень люблю.

— Да я и не думаю. Любите себѣ на здоровье.

— Ну, ужъ тоже знаю я васъ, какъ вы не думаете: небось, о себѣ страсть какъ мечтаете. Съ лица-то вы ничего... видный!

„Нѣтъ она не интеллигентная“,—еще разъ подумалось мнѣ.

— Ужъ очень я не люблю мужчинъ... знаете, такихъ... Сидѣть-то съ ними противно. Ну, словомъ, мозгляковъ не люблю.

— Какихъ мозгляковъ?

— Ну, такихъ... ни кожи ни рожи! Вотъ какъ у насъ телеграфистъ: бѣлобрысый, щеки въ угряхъ,— даромъ что франтъ! Зато дьяконъ у насъ, Василій Сергѣичъ, вотъ это красавецъ: румяный, высокій!

Она засмѣялась и встала.

— Вы-то выспались, а мнѣ, небось, и отдохнуть пора, — сказала она дѣловымъ тономъ.— Пойду уложу дѣтей, а потомъ и за вами приду. Спасибо за угощеніе!

Она ушла. Я остался въ полномъ недоумѣніи.

III.

Въ бесѣдку приходилъ нѣсколько разъ мужикъ, собралъ все со стола и унесъ домой. Потомъ пришелъ еще разъ и спросилъ, не хочу ли я ужинать.

— Хозяйка говоритъ, можно яицъ подать... коли, молъ, хочетъ. А не хочетъ — не надо.

Я отказался.

Вскорѣ все замолкло. Ни со двора ни съ улицы не доносилось ни единаго звука, словно все замерло. Вечеръ былъ теплый, небо было звѣздное, ясное, и уходить въ душную комнату пока не хотѣлось. Вокругъ стояла унылая, безнадежная тишина и — странно сознаться—я пожалѣлъ, что нигдѣ не залаетъ или не завоетъ собака: все-таки проявилась бы жизнь! Вдругъ среди этого безмолвія раздались какіе-то звуки, жидкіе и равнодушные: это собрались забить городскіе часы гдѣ-то вдалекѣ, и заиграли прелюдію, но ихъ сейчасъ же заглушили часы церковные, которые близко, почти по сосѣдству, начали ударять разъ за разомъ грубо и лѣниво, но отчетливо.

Потомъ опять все затихло.

Я докурилъ сигару и рѣшилъ было итти спать, но въ это время скрипнула калитка, и тоненькій женскій

голосокъ чуть слышно запѣлъ, почти замурлыкалъ, медленно и невнятно какой-то знакомый мотивъ.

— Ну, вамъ все приготовлено, — сказала Агнія Петровна, подходя къ бесѣдкѣ. Гдѣ вы тутъ? Васъ и не видно вовсе.

Не знаю, было ли ей меня не видно, но я ее видѣлъ ясно: она переодѣлась въ другую кофточку, съ болѣе короткими и широкими рукавами и болѣе открытой шеей.

— Можете итти, если хотите. Спокойной ночи!

Она повернулась и, сдѣлавъ два-три шага въ сторону, опять тихонько запѣла, еле слышно:

«Обо мнѣ ты не мечтай...
Не сердись и прочь ступай!
Не скучай...

— А рано ли васъ завтра будить? — услышалъ я ея голосъ, уже настоящій, а не тотъ мурлыкающій и мечтательный, которымъ она пѣла.

Между своимъ вопросомъ и моимъ отвѣтомъ она успѣла еще пропѣть:

«Прощай, прощай!
Но меня не забывай!»

— Меня не надо будить, — отвѣтилъ я, нѣсколько замедливъ:—я не тороплюсь.

Пѣла она плохо и фальшивила, но меня все-таки занимало это. Я остановился, а она прошла еще шага три-четыре и опять протянула тоненькимъ-тоненькимъ голоскомъ, какъ бы сама съ собою:

«Не скучай... Прочь ступай»...

И, повернувшись ко мнѣ, добавила, улыбаясь:

«Но меня не за...бы...вай!»..

Потомъ она расхохоталась и, всплеснувъ руками почти предъ самымъ лицомъ у меня, сказала серьезно:

— Вотъ вы, чай, удивляетесь! А вѣдь я, право, со скуки. Ей-Богу, со скуки! Въ кои-то вѣки настоящій человѣкъ проѣдетъ, а то все этотъ бѣлобрысый телеграфистъ... надоѣлъ до смерти.

— А дьяконъ-то? — пошутилъ я.—Василій Ивановичъ, что ли?

— Василій Сергѣичъ! Ну что-жъ? Онъ красавецъ, это вѣрно. Только что-жъ отъ него?

— А вамъ чего-жъ отъ него нужно?

— Да ничего не нужно. Только онъ... онъ о себѣ больно много думаетъ. Да и дьяконица у него ревнива.

Разговаривая о дьяконѣ и телеграфистѣ, мы стали ходить рядомъ взадъ и впередъ возлѣ бесѣдки.

— Мужъ лѣтомъ совсѣмъ не живетъ дома,—жаловалась она, точно въ чемъ-то оправдываясь предо мною.—Не живетъ и не живетъ! Поневолѣ глупости въ голову лѣзутъ.

— Значитъ, мужъ выходитъ и виноватъ во всемъ?

— Не то, что виноватъ, а все-таки скучно. Да и настоящаго человѣка въ годъ разъ увидишь, а то и ни разу. Что вы на это скажете?

Я усмѣхнулся.

— Чему вы смѣетесь?

— Мнѣ вспомнилось изъ одной книги, гдѣ говорится, что женщинѣ, которая не сумѣетъ свалить свою вину на мужа, не слѣдуетъ позволять кормить ребенка, потому что такая женщина выкормитъ непремѣнно дурака.

Агнія Петровна расхохоталась.

— Это вѣрно!—воскликнула она.—Я сама кормила своихъ дѣтей, и... ничего!.. Нельзя же весь вѣкъ стѣсняться да церемониться... Давно извѣстно: коли всего стыдиться, такъ и дѣтей не видать!—И, весело засмѣявшись, добавила: — Страсть люблю подурачиться! Только вы будете плохо обо мнѣ думать... Впрочемъ, что-жъ, вѣдь вы—проѣзжій!

Нѣсколько минутъ мы ходили молча.

— Ну... пора, что ли, спать? — сказала она вопросительно и какъ будто недовольнымъ тономъ. — Или посидимъ немножко?.. Пойдемте въ бесѣдку.

Вошли въ бесѣдку и сѣли рядомъ.

— Вы не озябли?—начала она вдругъ, взявши мою руку.

— А вы не озябли?—сказалъ я и, въ свою очередь, взялъ ее за руки.

Она молчала.

Потомъ она тихо промолвила:

— Свѣжо...

И тихо прижалась плечомъ къ моему плечу...

. . . . . .

IV.

На другой день поутру, когда Агнія Петровна пила у меня въ комнатѣ чай, за окномъ послышался звонъ колокольчиковъ и рѣзко прервавшійся стукъ экипажа.

— Ай, бѣда: никакъ хозяинъ пріѣхалъ!

Агнія Петровна вскочила со стула и бросилась къ окну.

— Онъ и есть!—шепнула она второпяхъ, схватывая со стола свою чашку.

Потомъ, чего я уже никакъ не ожидалъ, подбѣжала сзади ко мнѣ, схватила меня свободной рукой за подбородокъ, запрокинула мнѣ голову и быстро поцѣловала. Когда я успѣлъ повернуться, ее уже не было въ комнатѣ. Въ то же самое время я услыхалъ, какъ хлопнула дверь, и громкій мужской голосъ весело окликнулъ:

— Огонекъ, здравствуй!

Послышались крѣпкіе, сочные поцѣлуи и одновременно съ ними шопотъ Агніи Петровны.

— Тише, дурашка. У насъ постоялецъ.

— Куда ѣдетъ?

— На Черепиху. Ужъ велѣлъ сейчасъ коней запрягать. Очень торопится.

„Выпроваживаетъ!“ подумалось мнѣ.

— На Черепиху?—возразилъ мужской голосъ.—Экая досада! Надо сказать, чтобы не торопился: тамъ вчера у овраговъ мостъ попортился; не проѣдешь. Послали чинить. Къ вечеру сдѣлаютъ, а теперь нѣтъ пути.

— Неужели попортился?

— То-то и дѣло. Надо пойти сказать.

Я услыхалъ приближеніе твердыхъ, тяжелыхъ шаговъ; затѣмъ ко мнѣ постучались въ дверь.

— Позволите войти?

— Войдите.

Я увидалъ на порогѣ своей комнаты громаднаго роста мужчину, бородатаго, въ поддевкѣ и большихъ сапогахъ.

— Если вы изволите ѣхать на Черепиху...—началъ было онъ вѣжливымъ тономъ, но вдругъ замолчалъ, вытаращилъ на меня глаза, улыбнулся и крикнулъ, вытянувъ впередъ руки.

— Сашенька!!... Другъ ты мой!.. Какими судьбами?!

Я взглянулъ на него, и у меня чуть не подкосились ноги отъ стыда и смущенія: это былъ мой старинный пріятель, котораго уже нѣсколько лѣтъ я потерялъ изъ вида. Онъ былъ почти неузнаваемъ теперь. Но я узналъ его, и едва могъ выговорить въ отвѣтъ:

— Николай Смарагдовичъ?...

А онъ ликовалъ и какъ будто еще самъ себѣ не вѣрилъ.

— Это ты?!.. Сашка-канашка? Разбойникъ ты этакій! Милый мой!..

Онъ обнялъ меня и почти перенесъ въ своихъ объятіяхъ на стулъ, посадилъ и закричалъ на весь домъ, если только не на всю улицу:

— Огонекъ! Огонекъ! Жена!.. Да бѣги скорѣй!.. Огонекъ!

Я боялся взглянуть теперь на Агнію Петровну, боялся, что она смущена и потерялась; но она вошла, какъ ни въ чемъ не бывало, и даже очень участливо спросила:

— Ты чего, мой дружокъ?

— Посмотри, Огонекъ!—радостно продолжалъ Николай Смарагдовичъ, крѣпко удерживая меня за плечо на стулѣ.—Погляди, кого занесла къ тебѣ судьба-то! Вѣдь это мой закадычный пріятель, старый другъ!.. А ты, небось, и принять-то его безъ меня не сумѣла!.. И какія это меня чудеса осѣнили, чтобъ сегодня вернуться?.. Ну, голубчикъ,—обратился онъ ко мнѣ,—хоть умри, а сегодня ты не уѣдешь! Нѣ-ѣтъ!! Не пущу!— И вдругъ опять закричалъ:—Жена! Да чего-жъ ты?.. Давай скорѣй завтракать.

Потомъ снова началъ меня жать и трясти.

— Какими ты судьбами-то? А? Какъ ты къ намъ заѣхалъ-то? Откуда? Зачѣмъ? Вотъ это, братъ, сюрпризъ! Это, братъ, для меня сущій праздникъ!

Въ свое время съ Николаемъ Смарагдовичемъ мы были очень дружны, вмѣстѣ ѣздили за границу, и странно мнѣ было видѣть его теперь въ высокихъ сапогахъ, въ поддевкѣ, въ высокомъ жилетѣ подъ самое горло, когда въ моей памяти онъ оставался по внѣшности вполнѣ „европейцемъ“.

— Ну, какъ живешь?—спрашивалъ онъ меня, интересуясь всякой подробностью, всякою мелочью моей жизни. Онъ разспрашивалъ меня о нашихъ старыхъ общихъ друзьяхъ, радовался за всякаго, кому изъ нихъ удавалась жизнь, и огорчался за тѣхъ, кому было трудно и горько. Наконецъ, заговорилъ о себѣ.

— Ты думаешь, я пропалъ? Мы разстались съ тобой, когда я былъ нуль, ничтожество, пропащій человѣкъ, безъ будущаго, безъ настоящаго... Ну, нѣтъ, братъ! Пропалъ, да не очень! Если ты желаешь, какъ многіе желаютъ, и я тоже когда-то желалъ, узнать, и не только

узнать, а хоть бы однимъ глазкомъ взглянуть, каковъ-таковъ изъ себя бываетъ счастливый человѣкъ, то вотъ— гляди на меня! Въ оба глаза гляди и радуйся!

Онъ хлопнулъ рукою себя по богатырской груди и выпрямился, точно на смотру.

— Гляди, братъ! Передъ тобой счастливый человѣкъ! А это въ наши дни не отъ всякаго услышишь. Во-первыхъ, я здоровъ... какъ чортъ! какъ быкъ!

Онъ раскинулъ въ обѣ стороны руки, сжалъ кулаки и началъ медленно напрягать мускулы, выпятивъ колесомъ грудь.

— Какова грудища? А?

Я похвалилъ.

— Бей кулакомъ! Ничего, не бойся!.. Да братъ, здоровье—важная штука! Ну, это первое, а второе...

Онъ вздохнулъ и началъ уже другимъ тономъ:

— Второе... не знаю даже, какъ тебѣ и объяснить. Ты знаешь, меня раньше всюду преслѣдовало несчастье, ни въ чемъ не везло. Я унывалъ, бѣсновался, чуть было пулю въ лобъ съ отчаянія не пустилъ, ну, а теперь это обошлось. Именно „обошлось". А закалъ, тѣмъ не менѣе, остался; закалъ хорошій! А все отчего было мое горе? Оттого, братъ, что жилъ я среди лѣнтяевъ, среди трутней да пустозвоновъ, — вотъ отчего! А здѣсь я научился работать. Всю европейщину къ чорту послалъ, и видишь въ чемъ хожу. Не до нарядовъ мнѣ! У меня и земля на заимкахъ, и лошади, и покосы, и рощи. Здѣсь работой не брезгуютъ, здѣсь работа — почетъ! А народъ здѣсь какой? Не нашимъ чета! Здѣсь люди закаленные, испытанные нуждою и горемъ, но добряки, труженики, а не лоботрясы! Ты здѣсь не увидишь нигдѣ мужика въ лаптяхъ: лапоть, это — бѣдность! Не увидишь раскрытой избы. Мужикъ богатъ, трудолюбивъ и честенъ. Къ тому же, онъ не холопъ, а человѣкъ! Здѣсь у насъ крѣпостныхъ не бывало и никакихъ униженій народу въ кровь не всосалось... Да,

братъ, здѣсь можно жить и работать! Клянусь тебѣ: Сибирь—мнѣ мать, а Агнія—добрый геній!

„Добрый геній“, съ грустью подумалось мнѣ.

— Именно, геній!—восторженно продолжалъ Николай Смарагдовичъ.—Да я за нею, какъ за каменной стѣной. Вѣдь все она знаетъ, все умѣетъ: работать — сколько хочешь, не оторвешь! И домъ, и хозяйство, и дѣти,—все на ней. Мила, скромна... да я ужъ и не знаю, чего еще! Судьба моя такъ сложилась удачно, что мнѣ ничего, ровно ничего болѣе не надо! На всемъ земномъ шарѣ второго такого счастливца, какъ я, пожалуй, и не найдешь. Все у меня есть, все мнѣ удается, а ужъ за жену не знаю какъ и благодарить судьбу. Да, братъ я очень счастливъ!

Мы опять помолчали.

— А не боишься ты принимать проѣзжихъ? — полюбопытствовалъ я, когда прошло первое впечатлѣніе встрѣчи.

— Вотъ, глупости! Чего-жъ бояться? У насъ никогда ничего не бываетъ. Народъ удивительно честный. Каторжникъ бѣглый придетъ—и того пущу, не побоюсь. У насъ, братъ, свои счеты, бояться намъ нечего.

— Да вѣдь вотъ ты часто уѣзжаешь по дѣламъ.

— Ну, такъ что-жъ?

— И не бываешь подолгу.

— Ну и что?

— А тутъ проѣзжіе...

— А чортъ съ ними!

— Не ревнуешь жену ни къ кому?

Николай Смарагдовичъ даже захохоталъ во все горло.

— Огонька-то?.. Ну, братъ, сейчасъ видно, что ты ее не знаешь. Да вѣдь это кремень! Не женщина, а кремень!.. Э, да что! У насъ здѣсь и воздухъ совсѣмъ особенный, у насъ „этого“ здѣсь не водится. Здѣсь трудъ да дѣло, да семейный очагъ—вотъ что у насъ на

умѣ. Это не Питеръ, не столица, гдѣ разные флирты, да всякая нечесть! У насъ, братъ, строго. У насъ трудъ да дѣло, а эти глупости и въ голову никому не приходятъ. Ахъ, ты чудакъ, чудакъ!

И Николай Смарагдовичъ весело и безпечно захохоталъ снова.

— Ну и чудакъ, братъ, ты!

Потомъ онъ ушелъ на минуту и вернулся съ троими ребятишками, крѣпкими, шустрыми, и, любуясь ими, проговорилъ;

— Погляди-ка, каковы у меня „бумсы", а?.. Щеки-то, щеки: не ущипнешь!

Дѣти, какъ я замѣтилъ невольно, всѣ трое были на разныя лица. Ни одинъ изъ нихъ не походилъ на другого.

Я чувствовалъ себя очень гадко, а Николай Смарагдовичъ, хлопая меня по плечу, въ упоеніи восклицалъ:

— Эхъ, пріятель! стыдно мнѣ передъ тобою хвалиться, но только счастливѣй меня тебѣ не бывать! Вотъ ты самъ увидишь, какъ я устроилъ свою жизнь. Потолкуй-ка, поди, съ женой да приглядись хорошенько, что это за человѣкъ, и ты поймешь, можетъ-быть, почему я считаю себя счастливѣйшимъ изъ людей... Наши души... Э, да что тутъ!

Онъ весело махнулъ рукою и, обнявъ меня, закричалъ, тоже весело и громко:

— Эй! Огонекъ!.. подавай же завтракъ!

Къ вечеру мнѣ подали, наконецъ, тройку, и я свободнѣе вздохнулъ, когда тарантасъ мой загремѣлъ по дорогѣ...

СУМЕРКИ.

Вечерѣло... На поблѣднѣвшемъ небѣ догорала заря; жидкій туманъ медленно вставалъ надъ полями, которымъ, казалось, не было конца: они раскидывались въ ширь и впрямь и незамѣтно сливались съ сѣдою далью. Было тихо кругомъ. Лѣсъ стоялъ молча, словно задумавшись и нахмурясь.

По потемнѣвшей лѣсной тропинкѣ, пробираясь къ лугамъ, одиноко брелъ высокій худой старикъ, свѣсивъ на грудь сѣдую косматую голову. Его загорѣлыя руки съ выпуклыми жилами были запачканы землею и мѣстами поранены; въ одной онъ держалъ пучекъ травы съ мелкими голубыми цвѣтами, а въ другой — несъ широкій обломанный ножъ, только что отчищенный о сырую землю.

Выходя изъ лѣса, старикъ увидалъ на опушкѣ, около пней, человѣка въ длинной одеждѣ и монашеской теплой скуфейкѣ; за плечами его висѣлъ ранецъ съ рыжей облѣзлой шерстью, а въ рукѣ была надежная палка; стоялъ онъ къ лѣсу спиною и усердно глядѣлъ въ меркнущее пространство. Заслышавъ хрустѣвшій подъ шагами валежникъ, онъ вздрогнулъ, быстро повернулъ голову, и подошедшій старикъ увидѣлъ его сухощавое, точно удивленное лицо съ жиденькой бородкой и свѣтлыми безсмысленными глазами.

— Спаси Христосъ! — кланяясь, проговорилъ стран-

никъ, снявши обѣими руками скуфейку.—И гдѣ тутъ дорога до Васильковской обители?

Старикъ разсѣянно поглядѣлъ на него, поднялъ нехотя руку, въ которой свѣтился ножъ, и отвѣтилъ указывая вдаль:

— Вонъ туда. Тамъ будетъ рѣка, а за рѣкой большая дорога. Тамъ тебѣ и паромъ будетъ... На богомолье, что-ль?—спросилъ онъ, оглядывая странника съ головы до ногъ.

— По святымъ мѣстамъ странствую... Усердіе возымѣлъ... исходилъ, почитай, всю Россію. Теперь къ Соловецкимъ угодникамъ. Въ попутныя обители забредаю... значитъ, по дорогѣ. Гдѣ переночуешь... харчами, значитъ... гдѣ тебя, значитъ, харчами напутствуютъ...

Не дослушавъ, старикъ опустился на срубленный пень и началъ медленно и внимательно перебирать и разглядывать сорванныя травы, бросивъ ножъ подлѣ себя.

— Мнѣ туда же итти на село, — проговорилъ онъ, не отрываясь отъ дѣла. — Только я ближе хожу. Тутъ, подъ горой, у меня мельникъ знакомый, онъ насъ на лодкѣ доставитъ. Садись, посиди, чѣмъ тебѣ до парома-то крюка давать.

Странникъ послушно сѣлъ на ближайшій пень, по которому въ расщелинахъ коры суетились муравьи и, равнодушно поглядывая на сосѣда, дожидался вопроса.

— Трудно, чай, странничать-то? — небрежно проговорилъ старикъ, пристально глядя въ сторону.

Все вниманіе его привлекало къ себѣ растеніе, тонкое, клейкое, съ бурыми листьями, росшее невдалекѣ отъ пня. Странникъ тоже покосился на это растеніе и, не смущаясь тѣмъ, что собесѣдникъ плохо его слушаетъ, отвѣчалъ.

— Странствую съ Божьей помощью. Стало-быть, всякими тоже мѣстами проходишь, всякими, значитъ,

губерніями. Гдѣ добрый народъ, а гдѣ, это самое, лукавый. Гдѣ рады божьему человѣку, а то... а то и собакъ выпущаютъ на странниковъ.

Пока онъ говорилъ, старикъ, взявши ножъ, пристально и угрюмо глядѣлъ на растеніе, какъ бы что-то рѣшая; затѣмъ началъ медленно и осторожно окапывать кругомъ него землю, стараясь не перерѣзать корней.

Странникъ въ удивленіи замолчалъ.

Окопавши землю, старикъ бережно вынулъ растеніе, быстро перевернулъ его корнемъ вверхъ и съ видимою любовью и надеждой началъ очищать корешокъ, сдувая съ него всякую пылинку.

— А, чтобъ тебѣ! — вырвалось у него внезапно.

Скомкавъ растеніе, онъ отшвырнулъ его прочь, далеко отъ себя, и досадливо крякнулъ.

— Нѣтъ и нѣтъ, хоть ты тресни!

Съ минуту они оба молчали. Всякій о чемъ-то думалъ.

— Ужъ не знаю, какъ звать тебя, божій ты человѣкъ, — проговорилъ старикъ, повертываясь вдругъ къ сосѣду, который успѣлъ сейчасъ же выговорить сладкимъ теноромъ: „Грѣшный Лука“, и сидѣлъ, скромно поглядывая на старца своими узкими мигающими глазами; муравьи, кишѣвшіе подъ корою пня, суетились теперь у него уже по спинѣ.

— Вотъ что, Лука,—сказалъ рѣзко старикъ, — случалось тебѣ, чай: вдругъ занедужится? занеможется?

Морщинистый его лобъ при этомъ покрылся весь крупными складками, и брови сдвинулись въ одну мохнатую дугу.

— Какъ не случаться, — недоумѣвая, отвѣтилъ Лука.—Значитъ, всякое испытать доводится... въ странствіи, значитъ. Случалось. По веснѣ, стало-быть,—оживляясь воспоминаніями, продолжалъ онъ,—по веснѣ, значитъ, животъ надорвалъ. Худо было! Старуха, дай Богъ здо-

ровья, горшками правила... животъ-то. Зажжетъ бумагу, да въ горшокъ, а горшокъ, это самое, на животъ поставитъ,—такъ всего и подтянетъ. Слава Богу, потомъ полегчало.

Старикъ попрежнему сидѣлъ опершись о колѣно рукою, и вдумчиво, съ грустью глядѣлъ на Луку.

— А то вотъ игуменъ у насъ, отецъ Паисій... тотъ больше насчетъ невоздержанія. Горчицею, стало быть, пользуетъ. Ни тебѣ сѣсть поутру, ни тебѣ лечь... Братія зато необычайной трезвости, не то что въ иныхъ, это самое, обителяхъ...

Заря, между тѣмъ, погасла. Горизонтъ былъ еще свѣтелъ, но надъ лѣсомъ небо уже потемнѣло. По опушкѣ полетѣли первые вечерніе жуки, таинственно и важно гудя, точно желая доказать всему міру, что они очень, очень сердиты и сильны. Гдѣ-то за рѣкою закраснѣлся костеръ; откуда-то вмѣстѣ съ волною свѣжаго воздуха донеслась далекая хоровая пѣсня. Запахло влагой и тиной; закрякали хоромъ лягушки.

Старикъ вздохнулъ и обратился къ Лукѣ.

— Ты все не про то... Самъ я простой человѣкъ... немудреный... Только ко мнѣ со всей округи ходятъ: „Дѣдушка, вылѣчи! батюшка, помоги!...“ Ну, стараюсь по мѣрѣ силъ. Лѣтомъ брожу вотъ вездѣ, собираю, что нужно. Цѣлебухи наберу, звѣробою, полыни отъ лихорадокъ; крушина тоже полезна, кто животомъ мается; дягиль беру по поемнымъ лугамъ, белены, дурману, — всего наберешь, на цѣлую зиму... — Онъ перевелъ духъ, нахмурился и добавилъ тихимъ, таинственнымъ голосомъ: — Только одного не найду. Ты вотъ по всей Россіи ходилъ... Не слыхалъ ли ты гдѣ-нибудь, что это за корень такой: зовется онъ „Перстъ Ивана Крестителя?“

Вытаращивъ съ любопытствомъ глаза, Лука отрицательно покачалъ въ отвѣтъ головою.

— Пять лѣтъ добиваюсь! Всякую былинку, кажись,

перерылъ, всякій корешокъ осмотрѣлъ, а этого нѣтъ да нѣтъ!

Не торопясь, онъ отвязалъ отъ пояса тряпицу и, бережно развернувъ ее, вынулъ пожелтѣвшій сморщенный корешокъ и такъ же бережно поднесъ его на ладони къ Лукѣ.

— Не видывалъ ли гдѣ такого?

Лука осторожно тронулъ корешокъ пальцемъ и опять покачалъ головою.

— Нѣтъ... не видалъ.

Старикъ тоскливо поглядѣлъ на завѣтный корень и съ прежней осторожностью завернулъ обратно въ тряпицу и привязалъ къ поясу.

— Нигдѣ нѣтъ!—проговорилъ онъ печально.—Нигдѣ не найду. А вѣдь знаю, что здѣсь растетъ. Кабы не зналъ, не досадно. А то знаю, что здѣшній: не то по лѣсамъ искать, не то по лугамъ, не то по болотамъ... Сколько разъ во снѣ его видывалъ!.. Теперь онъ, видишь, сморщился, а когда свѣжій былъ, то чисто вотъ рука съ пальцами, и единъ палецъ вытянутъ; за это и корень зовется „Перстъ Ивана Крестителя“... Такой полезный, такой полезный, что и сказать невозможно. И вотъ не дается же, прости Господи!

— Противъ немощи, значитъ?—полюбопытствовалъ Лука.

— Извѣстно, противъ немощи.

У Максима засверкали глаза; разговаривая о корнѣ, онъ вдохновлялся.

— Противъ такой немощи, что во всей округѣ ни одной бабы несчастной не было бъ, — вотъ какой корень! Цѣны ему нѣтъ. Только найти никакъ невозможно. Пять годовъ разыскиваю; всякій день до поздней ночи брожу по лугамъ да по лѣсу, всякій корешокъ изрылъ, а этого нѣтъ и нѣтъ. Нѣтъ „Перста Ивана Крестителя“!.. А вѣдь было, говорю, счастье-то въ рукахъ, да въ могилу ушло. Знала Михеевна, гдѣ корень растетъ. Охъ,

бабы, бабы! Вѣдь какъ просилъ ее, на колѣнахъ стоялъ: укажи, гдѣ корень искать!.. „Буду, говоритъ, помирать, тогда открою“. Да такъ и померла невзначай. Прихожу къ ней, а она—мертвая. Только вотъ корешокъ одинъ и остался. Ежели-бъ только знать, гдѣ поискать его,—прямо всей округѣ счастье!

Лука молча и почтительно слушалъ: въ самомъ названіи корня ему чудилось что-то святое, таинственное и великое.

— Самъ посуди, — продолжалъ Максимъ. — Бабѣ польза — и тебѣ спокой; бабѣ вредъ—и тебѣ каторга. Баба пуще всего на свѣтѣ. Она все одно, что душа въ тѣлѣ,—не такъ ли? Чудно создана баба... Охъ, чудно, прости Господи!

Отъ его словъ Лука зашевелился на своемъ пнѣ и, закативши глаза, проговорилъ, нервно поглаживая тощіе бока.

— На грѣхъ создана! На грѣхъ создана!

— Создана-то на счастье, — угрюмо перебилъ Максимъ,—только вышло-то оно не на счастье, а на бѣду.

— А и то! — вдругъ оживился Лука, которому муравьи заползли уже за воротъ.—Чего-чего черезъ нихъ на землѣ не творится! Божьи люди отъ нихъ въ монастыри, это самое, затворяются. А онѣ, значитъ, и туда... братію соблазняютъ... Странствуешь это, всякаго тоже навидишься. Вонъ намедни село на село изъ-за дѣвки драться ходили. Изъ-за дѣвки-то, значитъ!.. Боже милостивый, сколько парней изувѣчено!.. Въ другомъ мѣстѣ мужикъ изъ-за бабы запьянствовалъ да сжегъ ее въ сѣнникѣ, это самое... Законъ стало-быть не блюла. Отъ сѣнника-то изба занялась, и вся деревня заполыхала. Въ Сибирь, говорятъ, пошлютъ... И все это баба причиной. И куда ни обернись—вездѣ, это самое, грѣхъ одинъ! Что-то дальше изъ этого... то-есть, дальше-то что-жъ изъ этого будетъ?...

Максимъ и Лука оба задумались.

Лука, скрививъ губы, почесывалъ хребетъ, давя заблудившихся муравьевъ, и думалъ о святомъ чудодѣйственномъ корнѣ, который можетъ спасти всѣхъ отъ соблазновъ и принести землѣ миръ и покой. Максимъ тоже думалъ и угрюмо смотрѣлъ въ потемнѣвшую даль, сжимая въ рукѣ растеніе съ голубыми цвѣтами. Онъ тоже думалъ о корнѣ, только объ его не чудодѣйственной но о лѣкарственной силѣ: „Нигдѣ не лѣчатъ, а я сталъ бы лѣчить!"—мечталъ онъ, позабывши и себя и Луку.

На поляхъ бѣлѣла и клубилась роса. Съ рѣки медленно поднимался прозрачный паръ въ прихотливыхъ узорахъ. На небѣ мигали первыя несмѣлыя звѣздочки, точно украдкою высыпавшія на развѣдки.

— Ну, пора, братъ, итти,—сказалъ старикъ, поднимаясь и разглаживая спину.—Всегда вотъ такъ! ходишь-ходишь, ищешь-ищешь, — только къ ночи домой вернешься... Ну, пойдемъ, Лука. Надо мельника-то разбудить, чай.

Не разговаривая, они пошли по луговинѣ и вскорѣ приблизились къ откосу, а потомъ и къ берегу рѣки, гдѣ, у кустовъ надъ водою чернѣла сгорбленная фигура мельника, ставившаго жерлицы.

— Богъ въ помощь!—окликнулъ его Максимъ.

— А, дѣдушка! Милости просимъ.

Улыбаясь во все лицо, широкое и безусое, мельникъ весело подбѣжалъ къ Максиму.

— Все бродишь, дѣдушка? Ахъ, ты, неугомонный! Домой, что ли, перевезти?

— А что жена?—строго перебилъ Максимъ.

— Да что жена! Слава тебѣ Господи! Какъ ты приказывалъ, такъ и пила твою травку. Дай Богъ тебѣ здоровья, все какъ рукой сняло.

На рѣкѣ было тихо, и голосъ мельника звучалъ свободно и весело среди этого затишья. Максимъ стоялъ понуря голову и глядѣлъ въ воду.

— Ну, давай, что ли лодку-то... Перевези.

— Полѣзай, Максимъ Прокофьичъ. Не оступись, гляди.

Мельникъ подвелъ лодку, въ которую вошелъ осторожно старикъ; за нимъ, перекрестившись, шагнулъ и Лука.

— Съ Богомъ!—весело крикнулъ мельникъ, прыгнувъ послѣднимъ, и ухватился за весла.

Лодка, широкая и большая, грузно заколебалась и затѣмъ медленно поплыла къ противоположному берегу. Лука сидѣлъ посрединѣ и все время глядѣлъ на мельника, который то низко пригибался къ нему, то далеко откидывался, налегая на весла. Звѣздное небо глядѣлось въ рѣку.

Максимъ медленно обнажилъ свою сѣдую голову, задумчиво почесалъ затылокъ и заговорилъ не то сердито, не то съ тоской.

— Вотъ, говоришь, женщина-то на грѣхъ создана,—обратился онъ къ Лукѣ.—Анъ не на грѣхъ, а на пользу. На свѣтѣ все на пользу сотворено, только ты пользоваться умѣй. Къ примѣру, сколько травъ ядовитыхъ, сколько корней, а взяться съ умомъ, такъ ничего тебѣ, отъ нихъ, кромѣ пользы.

Лука смущенно потрогалъ концы своихъ длинныхъ волосъ, свѣсившихся по самыя плечи, и ничего не отвѣтилъ Максиму, только вздохнулъ и смиренно закатилъ глаза.

— А что баба теперь силу взяла, это—вѣрно,—продолжалъ Максимъ.—И ничего ты съ ней теперь не подѣлаешь.

— Самъ мужикъ виноватъ: ослабъ!—добавилъ мельникъ.—Прежде съ бабой ладить умѣли, а теперь ужъ—ау!—вырвалась!.. Самъ нашъ братъ виноватъ: ходу ей далъ! Хы-хы-хы!..

Мельникъ весело захохоталъ и снова добавилъ:

— А у господъ теперь мужчина ослабъ пуще на-

шего. Никуда не годится! Тамъ баба силу такую взяла, что и нивѣсть, чѣмъ дѣло кончится. Видывалъ я ихъ. Знаю. Другая такъ и юлитъ, такъ и юлитъ передъ мужемъ, а ему, извѣстно, соблазнъ. Слабы господа на соблазнъ, пуще нашего слабы!

— Эхъ, парень, ты все не про то!—вздохнулъ тяжело Максимъ и поглядѣлъ на Луку, точно желая узнать его мнѣніе.

— Чего не про то?—разошелся мельникъ.—Хы! Нѣтъ про то, про это самое! Другая все здорова, все весела, и на ногахъ стоитъ, и смѣется, а чуть ежели баринъ поихнему не сдѣлалъ, либо что супротивъ сказалъ, тутъ сейчасъ и болѣзнь! Ну, а ему жалко. Ну, и слабѣетъ... хы!.. Знаемъ мы ихъ!

— Не грѣши!—возразилъ Максимъ.—Это вѣрно, что есть такая болѣзнь въ женскомъ дѣлѣ, большая болѣзнь. Знаю я, какая она, и знаю, отчего она. И у всѣхъ у нихъ одна болѣзнь, только лѣчить ее не умѣютъ... И знаю я, чѣмъ ее взять, а вотъ найти никакъ не могу.

Максимъ вздохнулъ. Вздохнулъ и Лука. Вздохнулъ, наконецъ, и мельникъ.

— Нечѣмъ будетъ помянуть меня послѣ смерти. А то, небось вспомнили-бъ: вотъ, молъ, жилъ да былъ дѣдъ Максимъ, счастье намъ отыскалъ!.. Ужъ никто послѣ меня корня искать не станетъ. А я для кого стараюсь? Все для людей. Чему Господь надоумилъ, все дѣлаю... все ваше!.. А ужъ чего не могу сыскать—не взыщите, ребятушки.

Въ голосѣ старика дрогнула скорбная, слезливая нотка.

— Не взыщите... Не пеняйте на дѣда...

Помолчавъ немного, Максимъ заговорилъ вновь, но въ голосѣ его такъ и осталась эта нота, скорбная, горькая.

— Гляжу я на всѣхъ—и некому мнѣ теперь своихъ дѣловъ передать... Эхъ, некому!.. А я много кое-чего

знаю. Знаю, какъ какую болѣзнь лѣчить. А вотъ передать свое знаніе и некому... Не хотятъ на чужую пользу ребята стараться, все теперь больше о себѣ думаютъ. Ну, что-жъ!—тяжело вздохнулъ онъ опять.—Скоро помру... Жили и до меня... ну, и безъ меня жить будете. Только ужъ „Перстъ Ивана Крестителя“ безъ меня не получишь... Эхъ! вѣдь знала Михеевна, да и та, не тѣмъ будь помянута...

Максимъ сердито крякнулъ, махнулъ сердито рукою и замолчалъ. Молчали и всѣ, пока не доплыли до берега. Мельнику было жаль старика, а Лука сокрушался втайнѣ о чудодѣйственномъ корнѣ, отъ котораго, ему казалось, зависѣла мирная, безстрастная, благочестивая жизнь.

— Ну, спасибо тебѣ,—проговорилъ Максимъ, когда лодка причалила къ берегу.

Лука молча вышелъ изъ лодки, снялъ обѣими руками скуфейку и, низко поклонившись мельнику, послѣдовалъ за Максимомъ, ощупывая палкой потемнѣвшую дорогу.

Старикъ шелъ впереди, печально опустивъ на грудь голову, и думалъ о корнѣ. Лука его не тревожилъ разспросами и двигался вслѣдъ, тоже задумавшись и пригорюнясь. Ему мечталась скитальческая его жизнь по деревнямъ и обителямъ. И не было бы нигдѣ сварливыхъ бабъ, не было бы красивыхъ молодухъ, что теперь опьяняютъ при встрѣчахъ его грѣшную душу. Все было бы мирно, все славило бы Господа и Предтечу Его, Ивана Крестителя, указавшаго чудодѣйственный корень, изъ котораго дѣдъ Максимъ дѣлаетъ пойло и даетъ всѣмъ сварливымъ бабамъ, чтобъ не задорили онѣ мужей, не гнали бы странниковъ; даетъ молодымъ дѣвкамъ, чтобъ не дышало отъ нихъ опьяняющей свѣжестью, чтобъ не дурманили онѣ парней, которые изъ-за нихъ рѣжутся и дерутся, забывая Творца: чтобы Божьи странники могли безмятежно спать во время

ночлега въ избѣ, гдѣ спитъ чуть не рядомъ красивая молодуха...

— Охъ, Господи!—очнулся Лука отъ мечтаній и поглядѣлъ на широкую спину Максима, шедшаго впереди той же медленной, величавой походкой, опустивши голову на старую грудь, которая хрипѣла при каждомъ вздохѣ, точно слабое дерево, готовое свалиться при первой бурѣ.

На темномъ небѣ начали вырисовываться силуэты крышъ и деревьевъ...

Путники приближались къ селу, гдѣ ушла въ могилу тайна бабьяго счастья.

ХЛѢБЪ-СОЛЬ.

Я ѣхалъ на „дружкахъ“—то въ мягкой плетенкѣ, набитой сѣномъ, то въ громоздкомъ тарантасѣ, то въ короткой и узкой кибиткѣ.

Дружками въ Сибири называются вольные ямщики, которые, провезя верстъ въ двадцать станцію, или по-тамошнему—станокъ, передаютъ васъ другому товарищу, а тотъ третьему, третій четвертому,—и такъ вы можете проѣхать тысячи верстъ, не заботясь, не торгуясь и не чувствуя никакихъ неудобствъ противъ почты. Такая передача путника изъ рукъ въ руки называется „веревочкой“, и всякій ямщикъ держится строго этой веревочки, не задерживая проѣзжаго въ лошадяхъ. Въ ямщики дается обыкновенно работникъ; иногда это старый ворчунъ, суетливый и сердитый, у котораго все не ладится: лошади бѣгутъ тяжело, кричитъ онъ на нихъ охрипшимъ голосомъ и проклинаетъ ихъ всю дорогу; а то попадется бойкій здоровый парень, — и лошади у него бѣгутъ бойко и весело, и посвистываетъ онъ на нихъ весело и легко, точно шутитъ.

— Но! Но!.. Но, родныя!—покрикиваетъ онъ, взмахивая безъ угрозы кнутомъ и руками. — Знаешь, кого везешь?—спрашиваетъ онъ коней, имѣя въ виду самого себя, и съ удовольствіемъ самъ же за нихъ отвѣчаетъ:—Трофимъ Петровичъ ѣдетъ!—и, гикнувъ, добавляетъ уже въ полномъ восхищеніи:—Рукавишниковъ!!...

И лошади, точно тоже обрадовавшись, что ими правитъ Трофимъ Рукавишниковъ, несутся вскачь, развѣвая по вѣтру хвосты и гривы, а ямщикъ, не трогая ихъ кнутомъ, ликуетъ да покрикиваетъ:

— Эхъ-ма!.. Милыя!!..

Желая выгодать чуть не полсотни верстъ, я свернулъ съ почтоваго тракта и уже съ утра ѣхалъ на дружкахъ по проселку. Часы летѣли за часами; смѣнялись лошади и ямщики, смѣнялись и окрестныя картины.

Уже близилось къ вечеру, когда передъ нами засверкала широкая, большая рѣка.

— Тррр! Тпрру!!—закричалъ ямщикъ, осаживая коней. Онъ соскочилъ съ повозки и, приложивъ ко лбу руку, чтобы не мѣшало солнце, поглядѣлъ вдаль и разочарованно добавилъ, точно про себя.

— Ахъ-те, песъ-те заѣшь: не попали!

— Куда не попали?

— Да перевозу нѣтъ. Энъ онъ—на той сторонѣ.

— Такъ какъ же?

Вмѣсто отвѣта онъ приложилъ обѣ ладони къ губамъ, въ родѣ рупора, и издалъ пронзительный протяжный свистъ. Потомъ закричалъ:

— Э-эй!.. Ты!.. Голо-ва!!.—и вновь обратился ко мнѣ: Не слыхать. Вѣтеръ не въ ту сторону. Теперь цѣльный часъ пробьешься.

Но не желая покориться слишкомъ скоро своей участи, онъ еще разъ заоралъ во весь голосъ:

— Ере-мѣй!.. Е-ре-мѣй!.. Ишь, тебя унесло, старый песъ!.. Е-ре-мѣ-й!!

Но послѣдняя нота не вышла. Голосъ осѣкся, и ямщикъ, махнувши рукой, покорился.

— Придется ждать, — рѣшилъ онъ съ неудовольствіемъ.

— Подождемъ,—отвѣтилъ я и вышелъ изъ тарантаса.

Берегъ, возлѣ котораго мы стояли, былъ страшно крутой и высокій, точно стѣна, нависшая надъ водою,

и только тамъ, гдѣ пролегала дорога, былъ пологій спускъ въ родѣ выемки.

Я подошель къ самому обрыву, глянулъ внизъ — и невольно остановился. Подо мною, внизу, плескалась рѣка, широкая, сѣрая и холодная. За рѣкой, за далекимъ степнымъ берегомъ, закатывалось солнце и его, точно ревнивая стража, шагъ за шагомъ провожали двѣ тучи, зловѣще нависая надъ горизонтомъ, какъ будто провожали онѣ солнце не на покой, не до свиданія, а въ могилу. И солнце угасало не съ тихою радостью, не съ надеждой, какъ бываетъ обыкновенно при закатѣ, а точно съ борьбою: тучи нагоняли его, стараясь закрыть, и оно пропадало за ними, но вдругъ, словно собравшись съ послѣдними силами, ударяло по нимъ, било на отмашь, разрывало мѣстами ихъ сѣрыя лохмотья и брызгало гордо лучами, заливая краснымъ свѣтомъ, какъ кровью, и небо, и рѣку, и землю; но тучи, растрепанныя и багровыя, надвигались снова, плотнѣли, чернѣли, налѣзали одна на другую и заполонили, наконецъ, собою весь горизонтъ.

Повѣяло холодомъ...

И вѣтеръ, который налеталъ на меня, желая не то свалить меня въ рѣку, не то по-своему обласкать меня, сталъ холоднѣе, и рѣка потемнѣла, и небо—и отъ всего, что я видѣлъ окрестъ, повѣяло холодомъ, но не тѣмъ, который пронизываетъ тѣло: вѣяло холодомъ и мракомъ, леденящими душу; вѣяло одиночествомъ и сиротствомъ.

Широкій песчаный выступъ, гдѣ я стоялъ, былъ испещренъ вкривь и вкось глубокими трещинами; виднѣлись кое-гдѣ истлѣвшіе остатки дерева, не то бревенъ, не то полѣньевъ, а еще подальше возвышалась какая-то развалина, въ родѣ дома или сарая. Ямщикъ сказалъ мнѣ, что это была упраздненная церковь, а мѣсто, гдѣ я стоялъ, упраздненное кладбище. Каждую весну, когда полая вода высоко подмываетъ берегъ,

трещины становятся шире, и берегъ глыбами рушится и падаетъ въ рѣку.

Странное, почти жуткое чувство овладѣло мною. Всѣ эти люди, зарытые здѣсь, такъ же жили, такъ же страдали, надѣясь на лучшее, и, можетъ быть, умерли, не достигнувъ счастья, но умирая, боролись за каждый послѣдній шагъ, за каждый вздохъ, за каждую секунду жизни, бывшей ярмомъ и бременемъ... Или они глядѣли просто и прямо въ лицо неизбѣжной смерти и покорно сходили въ свои могилы, которыя теперь рушатся, и прахъ этихъ людей разносится далеко по свѣту...

— Е-ре-мѣ-й!!. — раздался снова голосъ ямщика. — Ере-мѣ-й!..

И, точно, эхо откликнулось съ того берега:

— Э... Э... Эй!..

Это отвѣчалъ уже перевозчикъ.

Я оглянулся на тарантасъ. Возлѣ него стоялъ чужой человѣкъ и что-то тихо и серьезно говорилъ ямщику, внушительно указывая на меня искоса большимъ пальцемъ. Одѣтъ онъ былъ по-деревенски, но строгіе глаза и сухощавое, немного блѣдное лицо выдавали въ немъ не то горожанина, не то бродягу.

— Мало-ль васъ тутъ такихъ-то!—отвѣтилъ спокойно ямщикъ и обратился ко мнѣ, но уже горячѣе:—Въ попутчики просится. Да тамъ дорога въ гору пойдетъ, и безъ него тяжело.

— А ты прими,—таинственно и важно убѣждалъ его человѣкъ.

— А ну те совсѣмъ!—отмахнулся тотъ.

— Чай, не сто пудовъ...

— Да и не перышко!

И ямщикъ, проворчавъ что-то еще, влѣзъ на козлы и началъ осторожно спускаться къ рѣкѣ, къ небольшой пристани. Лошади ступали неохотно и неувѣренно, точно упирались; колокольчики вздрагивали и тревожно верещали.

Вскорѣ къ помосту подплыла широкая барка, въ которую первымъ шагнулъ обиженный попутчикъ, потомъ вошелъ я, а за мною ямщикъ ввелъ лошадей съ тарантасомъ, и какъ только ввелъ и загородилъ бортъ, накинулся на плохонькаго сѣдого старичка, стоявшаго посрединѣ барки.

— Помирать тебѣ, видно, пора, а не перевозомъ править. Чего горло драть заставляешь? Вишь, сѣдока привезъ; можно, чай, поспѣшить.

— Спѣши, не спѣши, а раньше возможности не поспѣешь,—возразилъ тотъ, потрясывая бородкой.

— Отчаливай, знай!

— Съ Богомъ! — весело крикнулъ старичекъ и выхвативъ изъ-за пояса кнутъ, тяжело и неуклюже побѣжалъ вдоль по парому.

— Съ Богомъ! Съ Богомъ!—повторялъ онъ, видимо озабоченный.

И барка, отдѣлившись отъ берега, медленно и тяжело поползла назадъ поперекъ рѣки.

У барки было два колеса, точно у парохода, но приводились они въ движеніе конною силой: кругомъ высокаго столба бѣгали двѣ лошади съ завязанными глазами, а за лошадьми бѣгали два мужика съ кнутами и подгоняли ихъ,—и колеса вращались, шлепая лопатками по водѣ, и барка плыла, а старичокъ все еще хлопоталъ и весело покрикивалъ:

— Кружись, милыя! Кружись, голубчики! На ночлегъ скоро, кружись съ Богомъ!

Вѣроятно, уставши, Еремѣй, наконецъ, замолчалъ. Онъ засунулъ кнутъ опять за поясъ и, оставивъ лошадей на работника, подошелъ къ моему ямщику и сѣлъ около. Съ минуту онъ сидѣлъ тихо, стараясь отдышаться, и разсѣянно поглядывалъ то на меня, то на попутчика, беззвучно шевеля губами, точно бесѣдуя самъ съ собою.

Попутчикъ былъ, видимо, сердитъ и всякій разъ

отворачивался, когда старикъ взглядывалъ на него. Ямщикъ сидѣлъ на полу, привалившись къ борту и, круто и широко разставивъ колѣна, чиркалъ спичкой, стараясь закурить и загородиться отъ вѣтра.

Переведя духъ и откашлявшись, Еремѣй обратился къ нему.

— Охъ, пріятель! И то пора помирать мнѣ. Ты это правду сказалъ: пора. Все одно ничего не сдѣлать, только Бога больше прогнѣваешь.

— А ты не гнѣви,—пуская на вѣтеръ клубъ дыма, равнодушно отвѣтилъ ямщикъ.

— Радъ бы не гнѣвить, да коль дѣло такое: грѣхи гнѣвятъ! А на томъ-то свѣтѣ трудно за свои грѣхи отвѣчать. Сказано: въ потѣ лица будешь ѣсть хлѣбъ твой, а я что?.. Спросятъ ангелы: „хлѣбъ-соль ѣлъ на землѣ?..“ Ѣлъ... „А откудова бралъ?“—Зарабатывалъ. „Изъ земли добывалъ?“—Анъ и не добывалъ изъ земли. „Такъ съ кого-жъ, спросятъ, бралъ?“.. Охъ, хо-хо!.. вотъ тутъ и подумаешь.

Старикъ сокрушенно покачалъ головой и вздохнулъ.

— И подумаешь, да ничего не придумаешь. Хлѣбъ-соль ѣлъ, а Богу отвѣтъ давать и самъ не знаю, какъ буду.

Я пристально поглядѣлъ въ глаза Еремѣю. Они не бѣгали, какъ бываетъ у людей съ нечистою совѣстью: они спокойно глядѣли въ мои глаза, спокойно и вмѣстѣ печально, точно ожидали чего-то. И все лицо Еремѣя не выражало ни тревоги, ни скрытности. Это былъ невысокій старичокъ съ небольшой головой и небольшой бородкой, сѣденькій, не очень крѣпкій, но и не ветхій.

— Думаю себѣ: велика печаль на свѣтѣ,—вновь заговорилъ онъ со вздохомъ, указывая на крутой берегъ, отъ котораго мы удалялись.—Вонъ покойнички какъ обсыпаются. Жили, жили, думали здѣсь мѣсто найти вѣчное, анъ вотъ тебѣ! Такъ и мое тоже дѣло: гдѣ свои косточки положу, гдѣ свою душу успокою, невѣдомо. А отвѣтъ-то Богу все-жъ давать надобно.

— Да за что отвѣтъ?—полюбопытствовалъ я.

— А за хлѣбъ-соль.

— Да вѣдь ты же работаешь: перевозишь. Что тутъ дурного?

— Зачѣмъ дурное; дурного нѣтъ. Да и хорошимъ назвать нельзя. Потому—какая моя работа?—спрашивалъ старикъ, обращаясь уже только ко мнѣ одному.—Отъ кого я сытъ, обутъ, одѣтъ,—отъ кого? Отъ кого моя хлѣбъ-соль?

И началъ разсказывать Еремѣй о тѣхъ переселенцахъ, что тысячными толпами уже много лѣтъ тянутся изъ Россіи на „новыя мѣста". Изстрадавшіеся, измученные, обнищавшіе, бѣгутъ они отъ лихой нужды, отъ безкормицы, а онъ, Еремѣй, перевозъ здѣсь держитъ, и съ бѣдняка, съ своего же брата, гроши собираетъ, хлѣбъ-соль ѣстъ, за которую передъ Богомъ не знаетъ какъ отвѣчать.

— А вонъ съ той стороны, изъ Сибири, опять народъ переходитъ. Охъ-хо-хо!... Тамъ тоже хлѣбушко не родился. Скотину порѣзали, крыши раскрыли,—что-жъ теперь дѣлать!.. Туда переселенецъ не лучше нищаго, а назадъ и вовсе голодный бѣжитъ. Что я могу подѣлать? Иныхъ Христа-ради перевезешь... Это бываетъ. Да только всѣхъ невозможно Христа-ради: идетъ, идетъ народу-то, просто счету не хватитъ...

Еремѣй снялъ шапку, обнаживъ голову со спутанными сѣрыми, но крѣпкими волосами, почесалъ макушку и снова, надвинувъ шапку на глаза, продолжалъ:

— Всѣхъ Христа-ради никакъ нельзя... Вонъ онѣ, лошадки-то, у меня:—пить-ѣсть тоже надобно? А работники—пить-ѣсть надобно? Внучата есть послѣ дочери, старуха есть—надо кормить-то? А корма дорогіе сдѣлались. Обуть, одѣть, напитать надобно?.. Охъ-те, грѣхи, грѣхи, никакъ на все и не угодишь. А земля все скудѣетъ... Неурожаи пошли...

Неожиданно и громко вмѣшался въ его рѣчь попутчикъ.

— Истинно сказано въ писаніи: проклята земля!— гаркнулъ онъ, засверкавъ своими огромными глазами.— Со скорбью будешь питаться отъ нея во всѣ дни; терніе и волчцы произраститъ она тебѣ; въ потѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвратишься въ землю!— закончилъ онъ строго, почти грозно и торжественно.

— Вотъ-вотъ,—перебивая его, засуетился старикъ.— А вѣдь на томъ-то свѣтѣ, первое дѣло, спросятъ: хлѣбъ-соль ѣлъ?... Съ кого добывалъ?.. А я какой могу дать отвѣтъ: съ голоднаго, съ холоднаго... Охъ-хо-хо!

И Еремѣй пріунылъ.

Задумался и ямщикъ. Должно быть, онъ думалъ о голодовкѣ и о землѣ, которая скудѣетъ, потому что вдругъ всталъ и, тряхнувъ волосами, выговорилъ быстро и страстно:

— Ты ее и такъ, и этакъ... въ потѣ лица... вѣрно это... а она тебѣ—терніе!!.. Какъ хошь, такъ и живи, а не хошь, помирай съ голоду, даромъ что въ потѣ лица... вѣрно!

— Тѣснота завелась въ народѣ, — задумчиво и со вздохомъ проговорилъ Еремѣй.

— Тѣснота,—тихо согласился ямщикъ, а попутчикъ угрюмо добавилъ:

— Отъ лукаваго все.

Наступило опять молчаніе. Слышно было, какъ шлепали по рѣкѣ колеса и бурлила подъ бортомъ вода, щелкалъ иногда кнутъ да вырывалось бранное слово работника.

— А знаешь, что бы я сдѣлалъ? — вдругъ сказалъ Еремѣй, обращаясь ко всѣмъ намъ,—что бы я сдѣлалъ, кабы въ силѣ былъ да мѣсто такое зналъ? А?

И, гордо закинувъ свою маленькую голову и тряся сѣдой бородкой, ожидалъ отвѣта.

Мы молча и вопросительно глядѣли на него.

— Я бы пришелъ на весь народъ, да и сказалъ... Вотъ только мѣста нѣтъ такого, чтобы весь народъ мое слово услышалъ... не нашъ уѣздъ, не твой, не его, а вся Россія, весь народъ православный, всѣ до послѣдняго человѣка!

Онъ крякнулъ, точно въ самомъ дѣлѣ собрался держать рѣчь передъ цѣлымъ народомъ, но въ это время споткнулась лошадь, загромыхали доски, и голосъ работника нарушилъ торжественность минуты:

— Гляди, чортъ!..

Старикъ встрепенулся.

Раздался еще разъ окрикъ:

— Нно! задумалась!..

Щелкнулъ кнутъ, застучали поспѣшно и громко подковы о дерево и снова все стихло.

Слышались только мѣрные конскіе шаги, бурлила опять вода подъ баркою и мѣрно отшлепывали колеса лопатками по рѣкѣ.

Еремѣй перевелъ глаза на меня и крякнулъ еще разъ, но уже тихонько.

— Да... — продолжалъ онъ, — я бы имъ и сказалъ: Братцы! Милые! Давай о душѣ думать! Давай другъ за друга постоимъ!.. Я бы имъ свой перевозъ и барку, лошадей и все свое выложилъ и сказалъ: получи! И крестъ бы съ себя снялъ: получи!.. Потому—тѣсно стало на свѣтѣ, ухъ, тѣсно! Не приведи Богъ. Мѣста-то много, дѣвать некуда, а тѣснота. И добра всякаго много, а никому не хватаетъ. У иного на двоихъ, на троихъ, а онъ одинъ, и все себѣ сберегаетъ, ну, и тѣснота. Все чужое добро-то: что твое, что мое, что Петра, что Ивана— все чужое, все по рукамъ распихано, а люду православному и нѣтъ ничего. Вотъ и тѣсно.

Слушатели угрюмо молчали.

Барка плыла среди воднаго простора; началъ моросить мелкій холодный дождикъ, и оба берега лежали какъ бы въ туманѣ.

— Это ты зря, Еремѣй,—подумавъ, проговорилъ ямщикъ.—Отдать—не фигура, а чѣмъ будешь жить-то?

— А! — возразилъ старикъ. — Не я одинъ, а и всѣ такъ-то за мной: у кого землица, у кого что—получи, да получи!.. А я бы, какъ Мининъ-Пожарскій, первый свое добро на люди: на, молъ!.. Только мѣста нѣтъ этакого, чтобы всѣ мое слово слышали, какъ есть всѣ, до единаго человѣка. Сложились бы такъ-то всѣ, а тамъ въ дѣлежъ,—вотъ и не стало бы тѣсноты на свѣтѣ.

Онъ мечтательно и съ улыбкой глядѣлъ вверхъ на мутное небо, стряхивалъ иногда съ бороды и лица капли дождя и, видимо, наслаждался своею мыслью.

— У котораго сердце изнемогло, душа замутилась, поднялся бы тотъ человѣкъ да сказалъ: братцы, спасибо!.. А теперь—нѣтъ... Теперь слабому не встать, да и сильному только дай Богъ на ногахъ удержаться.

— Такъ тебя и послушали, — возразилъ ямщикъ, угрюмо глядя въ сторону.

— А что-жъ?.. Можетъ и вышло бы хорошо отъ такого моего слова? А я бы... я бы не пожалѣлъ своего добра... я бы... крестъ послѣдній...

Дождикъ усиливался.

Барка между тѣмъ приближалась уже къ берегу и оттуда доносились чьи-то голоса.

Словно опомнившись, Еремѣй вдругъ вскочилъ и замахалъ руками на работниковъ.

— Легче! Эй! Легче! Гляди, какъ бы бортъ-отъ не сшибло. Позадерживай!

Передъ нами былъ снова старикъ-хлопотунъ, суетившійся по баркѣ; мечтатель сразу исчезъ въ Еремѣѣ, едва приблизился берегъ.

А на берегу, подъ дождемъ, передуваемая вѣтромъ, уже стояла группа людей съ посохами и котомками, въ ожиданіи переправы.

Съ какой покорностью, съ какимъ молчаливымъ терпѣніемъ дожидались они Еремѣя!

— Сколько васъ душъ-то?—дѣловито и по-хозяйски крикнулъ имъ старикъ, еще не дойдя до пристани.

Тѣ что-то отвѣтили. Потомъ кто-то спросилъ:

— А посколько положишь, добрый человѣкъ, съ души-то?

Глядя на ихъ ветхія одежды, на суровыя истомленныя лица, на сѣрое вечернее небо, лившее дождемъ, и слыша пискъ и плачъ ребятишекъ, захолодавшихъ на вѣтру, я понялъ, какъ намучился старикъ, сбирая съ этихъ людей послѣдніе гроши.

Жалость къ своему брату и необходимость кормить семью, сомнѣніе въ справедливости своей работы и страхъ отвѣта передъ Богомъ—все это вмѣстѣ создало въ душѣ Еремѣя тоску и смуту и зародило мечту о широкомъ общемъ благополучіи.

Только не хватало „мѣста“.

— Ужъ ты Христа-ради, добрый человѣкъ... положи по-божески!—раздалось изъ толпы.

Еремѣй лишь качалъ въ отвѣтъ головою да сокрушенно причмокивалъ.

— Охъ-хо-хо!.. Охъ, грѣхи, грѣхи!..

И въ этихъ вздохахъ чувствовалось ясно, какъ была для Еремѣя вкусна его трудовая хлѣбъ-соль.

ДѢТИ.

I.

Когда въ клубѣ начинался превосходный обѣдъ, бывающій только по пятницамъ, и на этотъ разъ, какъ нарочно, съ безподобнымъ меню,—въ это самое время Александръ Ильичъ Березинъ принужденъ былъ ѣхать на вокзалъ встрѣчать своего стараго товарища и родственника, Култаева. Ему было очень досадно прогулять этотъ обѣдъ, но не встрѣтить было неловко, и Александръ Ильичъ поѣхалъ.

Это былъ высокій, красивый мужчина лѣтъ 40 на видъ, съ темными крутыми усами, въ пенснэ, одѣтый щеголевато и со вкусомъ. Заложивъ одну руку въ карманъ мѣхового пальто, а другой рукой, затянутой въ перчатку, поигрывая тросточкой, онъ прогуливался по платформѣ въ ожиданіи поѣзда, и хотя любилъ Култаева и былъ радъ съ нимъ увидѣться, все-таки втайнѣ досадовалъ на пріятеля, котораго принесло именно сегодня, а не вчера и не завтра: сейчасъ его дожидается большая компанія, чтобы вмѣстѣ выпить передъ обѣдомъ водки, такъ какъ поваръ устроилъ имъ какую-то особенную „штуку“ къ закускѣ,—такую штуку, что Александръ Ильичъ не умѣлъ даже назвать ее по имени; это была совершенная новость въ кулинарномъ искус-

ствѣ, и по разсказамъ, такая вкусная и интересная, что волей-неволей, выпьешь лишнюю рюмку. Нетерпѣливо прохаживаясь по платформѣ, холодной и тускло освѣщенной, Березинъ вынулъ часы: было какъ-разъ то время, когда въ клубѣ дается звонокъ къ закускѣ и когда приходитъ по росписанію поѣздъ. Появленіе на платформѣ начальника станціи, носильщиковъ и жандармовъ нѣсколько утѣшало его, и онъ мечталъ, если поѣздъ не запоздаетъ, сейчасъ же взять съ собою Култаева и, не заѣзжая домой, устремиться въ клубъ, хотя бы пришлось и не застать закуски. Гдѣ-то вдали послышались звуки рожка, потомъ среди вечерняго сумрака вспыхнули три огненныхъ глаза, которые росли и приближались, и вскорѣ полосы свѣта заблестѣли по рельсамъ, а затѣмъ съ шумомъ и стукомъ потянулись мимо Березина вагонъ за вагономъ; раздался свистокъ, поѣздъ остановился. Среди хлынувшей толпы Александръ Ильичъ напрасно искалъ знакомое лицо. Все перемѣшалось.

— Саша! голубчикъ! — послышался неожиданно голосъ за его спиной, и чья-то рука легла ему на плечо.

Александръ Ильичъ обернулся. Передъ нимъ стоялъ въ сѣромъ суконномъ полушубкѣ, отороченномъ сѣрымъ барашкомъ, въ сѣрой высокой шапкѣ человѣкъ среднихъ лѣтъ, блондинъ, съ радостнымъ выраженіемъ лица, улыбающійся,—это и былъ Култаевъ. Они взялись за руки, потомъ поцѣловались.

— Радъ, не радъ, а принимай гостей!—весело продолжалъ пріѣзжій.—Мы къ тебѣ на постой!

— Разумѣется, ко мнѣ. Я ужъ велѣлъ приготовить комнату.

— Только долженъ тебя предупредить...

— Э, полно!—перебилъ Березинъ.—Что за вздоръ, какія тамъ церемоніи! Ѣдемъ скорѣе въ клубъ, нынче такой, братъ, обѣдъ, что просто—вотъ что!

Въ знакъ удовольствія, Березинъ поцѣловалъ кончики своихъ пальцевъ, затѣмъ взялъ гостя за талію.

— Ну, ѣдемъ. Переодѣнься—и маршъ!

— А мы-то?—послышался растерянный голосъ, и изъ-за Култаева выступила старуха, державшая на рукахъ закутаннаго ребенка, а за ея шубу крѣпко цѣплялся мальчикъ, лѣтъ четырехъ, съ недовѣрчивыми сердитыми глазами. Березинъ удивленно взглянулъ на Култаева.

— Твои племянники,—отрекомендовалъ тотъ.—Мальчишка—Иванъ, дѣвчонка—Людмила. Ну, иди за мной,—прибавилъ онъ, обращаясь къ старухѣ, — надо вамъ извозчика взять.

На это Березинъ съ недоумѣніемъ и съ упрекомъ замѣтилъ.

— Какъ же это?.. Я думалъ, ты одинъ... Что жъ ты не написалъ мнѣ, я приготовилъ бы имъ номеръ; у меня неудобно, ты знаешь.

— Прости, голубчикъ. Засуетился немножко, ну, вотъ и вышелъ такой случай... Какъ-нибудь размѣстимся.

Александръ Ильичъ обидѣлся и молча пошелъ вслѣдъ за Култаевымъ, а за нимъ нянька съ дѣтьми и носильщики съ ихъ узлами и пожитками.

— У васъ что-нибудь случилось?—тревожно спросилъ Березинъ, какъ только они сѣли въ сани.—Отчего не пріѣхала Катя? Она жива? здорова?

— И жива и здорова, — безпечно отвѣчалъ Култаевъ.—Да я тебѣ дома все разскажу.

„На кой же чортъ ты притащилъ дѣтей!“ хотѣлось сказать Березину, но онъ сдержался и замолчалъ. Такъ всю дорогу они ѣхали молча, хотя Култаевъ вставлялъ иногда восторженныя замѣчанія по поводу попутныхъ домовъ, яснаго морознаго вечера и встрѣчныхъ дамъ.

По пріѣздѣ къ квартирѣ, Александръ Ильичъ, раздраженный появленіемъ зятя и неудавшимся клубскимъ

обѣдомъ, сердито дернулъ за колокольчикъ; черезъ минуту выбѣжалъ въ сюртукѣ и бѣломъ галстукѣ человѣкъ, бритый, съ сильною просѣдью на вискахъ, но увидавъ прежде всѣхъ няньку съ дѣтьми, недовѣрчиво загородилъ ей дорогу.

— Вамъ кого нужно?

— Отойди прочь!—раздался вслѣдъ за его вопросомъ сердитый голосъ Березина, и лакей почтительно отступилъ въ сторону.

Войдя всѣ стали раздѣваться,—Александръ Ильичъ небрежно сбрасывалъ съ себя пальто, Култаевъ разстегивалъ множество крючковъ на своемъ полушубкѣ, а нянька, посадивъ на деревянный диванъ ребенка, начала разматывать съ него пледъ; старшій мальчикъ стоялъ одиноко среди прихожей, закутанный въ башлыкъ и шубу, и было видно какъ отъ тепла зардѣлись его щеки. Когда къ нему подошелъ лакей и сказалъ съ улыбкой: „Шубочку вашу, баринъ, позвольте“, — онъ протянулъ ему обѣ руки, на которыхъ были надѣты вязаныя перчатки, и тихо проговорилъ:

— Мнѣ жарко.

Когда всѣ вошли въ залу, нянька научила мальчика поздороваться съ дядей; тотъ послушно, хотя и несмѣло, подошелъ къ Березину и проговорилъ, потянувшись къ нему для поцѣлуя:

— Здравствуйте, дядя Саша.

Александръ Ильичъ поцѣловалъ его въ влажныя губы и отвѣтилъ небрежно:

— Здравствуй, Ванюша.

Затѣмъ подошелъ къ дѣвочкѣ.

— Это Людмила?

Онъ хотѣлъ поцѣловать и ее, но та при видѣ незнакомца вдругъ сморщила свое личико и залилась звонкимъ плачемъ, замахавъ руками и ногами.

— Ну, Богъ съ тобой, Богъ съ тобой!—махнулъ рукой Александръ Ильичъ и обратился къ Култаеву. —

Пойдемъ въ кабинетъ, а Сидоръ имъ устроитъ что нужно.

— Сейчасъ, голубчикъ, — отвѣтилъ Култаевъ, — я только у Сидора полотенце спрошу; надо съ дороги хоть рожу-то вымыть!

Сидоръ стоялъ тоже въ большомъ недоумѣніи, не зная куда броситься, — всѣ торопились, всѣ его звали и онъ самъ, наконецъ, растерялся: не то бѣжать въ кабинетъ зажигать лампу для барина, не то подать гостю полотенце, а тутъ еще нянька, ухвативъ его за локоть, спрашивала шопотомъ:

— Гдѣ у васъ, батюшка, дѣвочку-то положить?

Въ смущеніи онъ взглянулъ на хозяина, какъ бы спрашивая его, какъ быть. Но Березина самого бѣсило все это, и онъ проворчалъ:

— Дѣлайте, господа, какъ знаете, только оставьте меня въ покоѣ!—и махнувши рукой, торопливо ушелъ въ кабинетъ, зажегъ тамъ свѣчу и въ раздраженіи почти повалился въ кресла.

„Это чортъ знаетъ, что такое! — думалъ онъ, сердясь на Култаева.—Натащилъ зачѣмъ-то ребятъ, точно домой пріѣхалъ! Отлично знаетъ, болванъ, что я терпѣть не могу этого!..“

Въ сосѣдней комнатѣ послышался, наконецъ, скрипъ умывальника, плесканье и фырканье Кирилла Ивановича, а черезъ четверть часа явился онъ и самъ причесанный, въ темномъ триковомъ пиджакѣ, съ папиросой въ зубахъ.

— Къ твоимъ услугамъ!—проговорилъ онъ, шутливо раскланиваясь. — Хочешь здѣсь побесѣдуемъ, хочешь въ клубъ поѣдемъ,—весь въ твоемъ распоряженіи.

— Разумѣется, въ клубъ! Я ничего не ѣлъ, а у меня дома не готовятъ. Я какъ волкъ...

Тонъ Александра Ильича былъ далеко не пріязненный, однако, онъ во-время спохватился и добавилъ любезнѣе:

— Поѣдемъ, голубчикъ. Ей Богу, ни крохи во рту не было.

— Съ восторгомъ и наслажденіемъ! Я даже радъ немножко кутнуть; вѣдь, всего день или два подышу столичнымъ воздухомъ, а тамъ опять провинція!

„День или два“ — это было самымъ пріятнымъ извѣстіемъ для Березина. Изъ-за двухъ дней не стоило очень огорчаться.

— Ну, ѣдемъ, ѣдемъ!—сказалъ онъ веселѣе и даже взялъ Култаева за плечо, словно боясь, чтобы тотъ опять не замѣшкался.

Едва они удалились, какъ Сидоръ, заперевъ за ними двери и самъ еще ничего не понимая въ происшедшей исторіи, потихоньку приблизился къ столовой, которая была наскоро обращена въ дѣтскую; тамъ стояли теперь два дивана, одинъ для мальчика, огороженный для безопасности стульями, другой для няньки и два мягкихъ кресла, составленныя вмѣстѣ, для дѣвочки.

— Нянюшка,—сказалъ онъ осторожно, заглядывая въ комнату,—не нужно ли чего принести?

Добродушно улыбаясь, Сидоръ глядѣлъ, какъ нянька поила съ блюдечка Людмилу молокомъ и торопила Ваню, который ѣлъ хлѣбъ, прихлебывая изъ чашки:

— Кушай, кушай скорѣй!

— Чайку бы попить,—не спѣша отвѣтила нянька.— Вотъ дѣтей уложу, а вы самоварчикъ бы приготовили. Васъ какъ по имени-то?

— Сидоръ.

— А по батюшкѣ?

— По батюшкѣ Михалычъ. А васъ какъ зовутъ?

Нянька назвалась Мариной Елпидифоровной.

— Приготовлю, нянюшка; самоваръ ужъ кипитъ... Ужъ я васъ такъ и буду величать „нянюшкой“, а то имя-то у васъ затруднительное,—добавилъ Сидоръ и, притворивъ двери, удалился, остерегаясь заскрипѣть сапогами.

Уже давно въ стѣнахъ этого дома не раздавалось ни плача, ни дѣтскаго лепета, ни старушечьихъ пѣсенъ. Мальчикъ, утомленный дорогой, быстро заснулъ, но надъ дѣвочкой нянька сидѣла долго, напѣвая ей вполголоса про Кота-мурлыку; наконецъ, убаюкавъ дѣтей, она вышла въ залу. Это была коренастая старуха лѣтъ 60, съ темными выцвѣтшими глазами, угловатыми манерами, крѣпкимъ голосомъ и энергичнымъ взглядомъ.

— Пожалуйте, нянюшка, ко мнѣ; самоваръ дожидается,—сказалъ ей при встрѣчѣ Сидоръ.

Когда они сѣли за столъ, разговоръ у нихъ не вязался. Сначала Сидоръ предложилъ водки, но оказалось, что няня водку не пьетъ, а любитъ мадеру.

— Этого добра у насъ сколько угодно! — небрежно отвѣтилъ Сидоръ.—Что нравится, того и подадимъ. Баринъ у насъ какой: одна заря его вгонитъ въ домъ, а другая выгонитъ; либо по театрамъ пошелъ, либо по клубамъ... Въ домѣ-то одинъ я почти и живу, а онъ только спать заѣзжаетъ... Человѣкъ независимый!—добавилъ онъ съ нѣкоторымъ одобреніемъ.

Сидоръ былъ уже очень немолодъ, уже давно серебрилась просѣдь на его вискахъ, а за послѣднее время начали сильно рѣдѣть волосы по всей головѣ. Невысокаго роста, съ бритымъ ветшающимъ лицомъ, онъ усвоилъ себѣ скромную и степенную походку, хотя при надобности могъ бѣгать очень проворно, особенно когда баринъ бывалъ не въ духѣ и сердился на всякіе пустяки; онъ очень дорожилъ Березинымъ и боялся потерять это мѣсто. Въ безотчетномъ распоряженіи Сидора было все хозяйство, а заключалось оно, во-первыхъ, въ чайницѣ и сахарницѣ, которыя никогда не должны изсякнуть до дна, затѣмъ въ нѣсколькихъ сортахъ холодной закуски, на случай, если Березинъ, вернувшись ночью, внезапно проголодается, или внезапно нагрянутъ гости, да еще, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы ни-

когда, ни подъ какимъ предлогомъ, ни въ какой часъ не отвѣчать „нѣту-съ“, — если бы Березинъ сказалъ: „лафиту!“ или „мадеры“, или „сельтерской воды!“ Обо всемъ этомъ обязанъ былъ заботиться Сидоръ и заблаговременно докладывать, что такой-то сортъ подходитъ къ концу.

— Мадера у насъ хорошая, нянюшка: три съ полтиной бутылка плачена!—сказалъ Сидоръ, удаляясь за угощеніемъ.

— А баринъ не станетъ браниться? — усомнилась нянька.—Скажетъ: вотъ, наѣхали!

— Баринъ?—останавливаясь произнесъ не безъ достоинства Сидоръ.—У насъ всего вволю! Человѣкъ онъ благородный, жадностью не страдаетъ.

Когда онъ вернулся съ кувшинчикомъ въ рукахъ, нянька опять спросила:

— Можетъ, у васъ замѣчаютъ, сколько отпито?

— Я замѣчаю, а больше здѣсь замѣчать некому. Кушайте, нянюшка, не стѣсняйтесь.

— А вы себѣ-то что-жъ не нальете?

— Пятый годъ—ни по чемъ-съ!..

За чаемъ они разговорились. Сидоръ подробно разсказалъ, каковъ у него хозяинъ и каковы бываютъ гости; оказалось, что Березинъ прекрасный человѣкъ и всѣ гости—очень хорошіе люди, а нянька передала про своихъ, при чемъ барыня, Екатерина Ильинична, была, по ея мнѣнію, ангеломъ во плоти, зато баринъ, Кириллъ Ивановичъ, нестоющимъ человѣкомъ, безобразникомъ и „мотыгой“.

— Глаза бы на него не глядѣли!—горячилась нянька, но по привычкѣ къ дѣтской, говорила шопотомъ.— Этакій человѣкъ! этакій человѣкъ! Просто ни дня ни ночи не знаетъ! И ушла-бъ отъ него, Ирода, безъ оглядки, да вотъ ребятокъ жалко... Кабы баринъ Александръ Ильичъ, насъ не прогналъ, такъ у васъ бы, кажется, навсегда и остались!

— У насъ-то?—усмѣхнулся Сидоръ.—Нѣтъ-съ, этому,

видно, не суждено. У насъ такихъ постояльцевъ не любятъ!

Онъ беззвучно и добродушно засмѣялся, какъ бы отвѣчая шуткой на шутку.

— У насъ даже и крика-то дѣтскаго, я вамъ скажу, никогда не бывало! — весело продолжалъ онъ, отмахиваясь рукой.—Да вы, нянюшка, и про Кирилла-то Иваныча совершенно напрасно... Человѣкъ онъ недурной, я его сколько лѣтъ знаю. Вотъ выпить—охотникъ, что говорить! а только баринъ онъ ничего... хорошій!

— Въ гостяхъ-то мы всѣ хороши, — не унималась старуха, — на людяхъ человѣка не разобрать, а ты полюбуйся на него дома... Нешто съ этакимъ жизнь? То туда, то сюда, весь замытарился, какъ бѣсъ какой, прости Господи!.. Бывало, звѣрь звѣремъ придетъ; то не такъ, другое не этакъ, и начнетъ перебирать! Ту-ту-ту! ту-ту-ту!—только и слышишь, а потомъ опять изъ дома вонъ, и опять до разсвѣта!.. Ужъ барыню, Катерину-то Ильиничну, сама почти вынянчила, знаю, какая душа!.. А этотъ Иродъ... вотъ хоть бы взять сейчасъ: куда его нелегкая понесла? Тутъ дѣти маленькія безъ крова, безъ...

Нянька не знала уже, какимъ бы словомъ позлѣе, поувѣсистѣе упрекнуть Кирилла Ивановича, и добавила:

— А онъ, небось, въ трактирѣ сидитъ, вино свое проклятое лопаетъ.

Она хотѣла что-то еще добавить, но въ это время закричала дѣвочка; голосъ ея раздался по всѣмъ комнатамъ, и нянька, наскоро сказавши спасибо, поспѣшила въ дѣтскую, а Сидоръ, поглядѣвъ ей въ слѣдъ, остановился въ раздумьи, покрутилъ головой, потомъ пожалъ плечами, опять немного подумалъ и заглушилъ самоваръ.

II.

Когда Березинъ съ Култаевымъ проѣзжали мимо ресторана и Култаевъ увидалъ громадныя освѣщенныя окна, то сейчасъ же предложилъ заѣхать сюда, вмѣсто клуба.

— У тебя въ клубѣ пріятелей много, будутъ мѣшать, а здѣсь мы отлично поѣдимъ и побесѣдуемъ по душамъ!

Александръ Ильичъ согласился.

Черезъ пять минутъ они сидѣли уже въ отдѣльномъ кабинетѣ съ высокимъ лѣпнымъ потолкомъ, съ массивными канделябрами на столѣ, и внимательно просматривали обѣденную карту.

— Дай-ка покуда водочки!—рѣшилъ Култаевъ, весело взглядывая на лакея.—Икорки подай съ лимономъ, ну еще тамъ... чего бы это?.. Ты вѣдь, Саша, рюмочку выпьешь?

Александръ Ильичъ утвердительно кивнулъ головой, потомъ сказалъ тономъ, не допускающимъ возраженія, какія слѣдуетъ подать кушанья, и, потирая отъ удовольствія руки, добавилъ, что угоститъ сегодня такимъ обѣдомъ, какого въ провинціи за сто рублей не получишь.

Когда столъ уставили водками и закусками, пріятели чокнулись и разговорились.

— Ты, пожалуйста, не сердись, Саша. Я знаю, ты не любишь дѣтей, но что-жъ подѣлаешь!

— Пустяки,—снисходительно возразилъ Березинъ,— день, два — что за бѣда!.. Ты обрати вниманіе на балыкъ.

— Великолѣпенъ!

Отвѣдавъ балыка и икры, Александръ Ильичъ опять заговорилъ:

— Если-бъ ты былъ одинъ, то гости хоть тысячу

лѣтъ, я очень радъ, а то вѣдь я дома не обѣдаю, у меня даже кухарки нѣтъ. Согласись, неудобно же дѣтямъ обѣдать съ лакеемъ, да и чортъ его знаетъ, гдѣ онъ самъ-то обѣдаетъ... въ какой-нибудь харчевнѣ. Ну, это въ сторону! Разсказывай новости: зачѣмъ пріѣхалъ, для чего дѣтей притащилъ, да кстати, ты не сказалъ, отчего не пріѣхала Катя? Она здорова?

Култаевъ горько вздохнулъ.

— Давай выпьемъ еще по единой,—сказалъ онъ вмѣсто отвѣта,—а затѣмъ я буду докладывать тебѣ обо всемъ подробно.

Они снова чокнулись.

— Видишь ли,—нерѣшительно началъ Култаевъ,— я боюсь тебя огорчить... Только ты не волнуйся, пожалуйста, ничего тутъ особеннаго нѣтъ,—просто этакое увлеченіе... Ерунда разная. Для Кати я былъ, оказывается, очень грубъ, потому что у нея душа возвышенная, а у меня, видишь ли, низменная. Отсюда пошли нелады и прочее... Словомъ, мы съ женой разъѣхались.

— Какъ?!—почти вскрикнулъ Березинъ, бросая ѣсть, и сорвавъ съ себя салфетку, которую заложилъ было за воротникъ, вытаращилъ на зятя глаза.

Тотъ продолжалъ:

— Люди мы совершенно различные. Я — посредственность, человѣкъ обыкновенный; какъ говорится, толченаго стекла не ѣмъ. Ну, а сестру свою ты знаешь, описывать тебѣ ее нечего. Всѣ мы, конечно, не боги, и я не прочь иногда выпить водки (при этомъ Култаевъ налилъ себѣ въ рюмку). А за моей за каждой рюмкой слѣдили, вели счетъ: это, молъ, первая, это вторая, да какъ тебѣ не стыдно, да какъ это нелѣпо, — и все это, знаешь, на философскій ладъ, съ разъясненіями, съ цитатами... Чортъ знаетъ!

Онъ выпилъ и досадливо поставилъ рюмку обратно на столъ.

— Я ничего не понимаю пока, — сердито замѣтилъ

Александръ Ильичъ. — Говори яснѣе: въ чемъ у васъ дѣло?

— Въ чемъ дѣло... Дѣло въ томъ, что я брошенный мужъ, и дѣти брошены, и семья развалилась. Ясно теперь?

— Я не вижу причинъ.

— Причина, братъ, тамъ: за границей! Причина— ея спутникъ теперешній.

— Любовникъ?—тихой скороговоркой перебилъ Березинъ.

— Идеалъ!! — горько засмѣялся Кириллъ Ивановичъ.—Идеалъ!.. Развѣ у моей жены могутъ быть простые любовники? Это истинное совершенство: умомъ— Сократъ, красотой—Аполлонъ, рѣчистъ, какъ Цицеронъ, а благороденъ, какъ Донъ-Кихотъ, что-ли, чортъ его побери!.. хотя, на мой взглядъ, это просто мерзавецъ, извини за выраженіе! Придетъ, бывало, ко мнѣ въ домъ и начнетъ меня же бранить: всѣ мужья это, молъ, люди безнравственные, люди дикіе, потому что такой-то философъ говоритъ то-то, а этакій—вотъ этакъ говоритъ; и чортъ его не знаетъ, обернетъ дѣло какъ-то такъ, что если тебѣ жена не измѣнила, то ты же, по его словамъ, выходишь подлецъ подлецомъ!.. Извини, голубчикъ, я еще выпью одну рюмочку: нервы, знаешь, расшатаны и очень усталъ съ дороги.

Склонивши голову на руку, Березинъ съ тоской и съ жалостью слушалъ его беззаботную повѣсть.

— Кто-жъ онъ такое?

— Такъ, — отвѣчалъ Култаевъ, — неопредѣленное нѣчто: рыцарь, и негодяй, и порядочный человѣкъ и жуликъ... Смѣсь какая-то. Просто, по-моему,—бабникъ.

— Что-жъ ты мнѣ не писалъ ничего? — обидѣлся Александръ Ильичъ.—У васъ тамъ цѣлая драма, а я ничего не знаю. Развѣ я Катѣ не братъ? Развѣ я тебѣ не товарищъ?

— Я, кажется, писалъ... Я думалъ, ты знаешь.

— Откуда-жъ мнѣ знать? Это странно!

— За этимъ я, впрочемъ, сейчасъ и пріѣхалъ... Дай, братъ, мнѣ руку... по-старому, по-дружески! я теперь одинокъ на свѣтѣ... Тяжело, Саша... Тяжело!

Голосъ его дрогнулъ.

— А дѣти?—сказалъ Березинъ, желая этимъ вопросомъ указать, что онъ вовсе не одинокъ.

Култаевъ, не отвѣчая, всталъ и прошелся по кабинету.

— Тяжело мнѣ это говорить,—началъ онъ послѣ небольшого молчанія, — но все равно когда-нибудь нужно. Ты, Саша, человѣкъ со средствами, ты дашь имъ отличное воспитаніе...

— При чемъ же я?—вступился за себя Александръ Ильичъ.

— А при томъ, что ребята будутъ отнынѣ принадлежать тебѣ, а не мнѣ, потому что они... не мои!

— Что!?—вскрикнулъ Березинъ и быстро поднялся изъ-за стола.

— Не мои!! — съ крикомъ повторилъ Култаевъ.— Вотъ! вотъ взгляни эту карточку!

Онъ вытащилъ изъ кармана портретъ мужчины съ рѣзкими энергичными чертами лица и швырнулъ его Березину на тарелку.

— Сравни съ ребятами!

— Ты очумѣлъ! — горячился Александръ Ильичъ, схватывая портретъ и, не глядя, бросая его въ негодованіи опять на тарелку.—Ты съ ума сошелъ!

— Нѣтъ, ты вглядись въ эту рожу! посмотри, каковы глаза!—настаивалъ Култаевъ.—Развѣ у меня такіе глаза? У жены такіе глаза?

Онъ стоялъ передъ Березинымъ и махалъ ему возлѣ самаго носа портретомъ.

— Ты взгляни! Ты вглядись! Ты сравни Людмилу съ этимъ канальей! Ну, что?.. Каково?.. А Иванъ—развѣ не одно лицо? Развѣ нѣтъ сходства?

Рѣзко измѣнившійся тонъ и даже голосъ Култаева, его сверкающіе глаза, его оскорбительное подозрѣніе сестры—все такъ поразило Александра Ильича, что онъ возмутился до глубины души и не зналъ, что дѣлать, не находилъ даже словъ, чтобы излить свое негодованіе.

— Чортъ знаетъ! чортъ знаетъ!—повторялъ онъ десятки разъ и взволнованно шагалъ по комнатѣ.

— Гдѣ-же сестра? Куда она скрылась?

— Говорю, за границей.

— Съ нимъ?

— Съ нимъ.

Березинъ пожималъ плечами, дергалъ усы и не переставалъ ходить изъ угла въ уголъ.

— Ну, а дѣти?—спросилъ онъ тревожно.

— Дѣти—къ тебѣ.

— Куда-жъ я съ ними дѣнусь?

— Дѣвай, куда знаешь.

— Это смѣшно, мой милый! У меня не воспитательный домъ!

— У меня тоже не воспитательный домъ!—рѣзко отвѣтилъ Култаевъ. — Я ихъ привезъ, а ты получи, какъ дядюшка, и дѣлай съ ними все, что угодно. А мнѣ содержать ихъ не на что, у меня за душой рубля не осталось!

Александръ Ильичъ, несмотря на свое раздраженіе, вдругъ почувствовалъ, что ему не отдѣлаться благополучно отъ этой исторіи и что Култаевъ сейчасъ взвалитъ на него всѣ обязанности.

— Да не могу я дѣтей воспитывать!—жалобно вступился онъ за себя.

— И я не могу, потому что уѣду.

— Ну, и я не могу! Я человѣкъ холостой... У меня своя жизнь!

— А у меня нѣтъ своей жизни?

— Ты—отецъ!

— Это еще вопросъ!—съ раздраженіемъ воскликнулъ Култаевъ.—А вотъ ты—родной дядя. Это вѣрно, это безспорно!

Березинъ хотѣлъ возражать, но не зналъ, какъ и противъ чего, и ясно увидѣлъ, что не было больше выхода, что онъ обезоруженъ и окончательно попался.

— Ну, чего ты кричишь?—смущенно остановилъ онъ зятя.—Дай мнѣ обдумать. Не могу я думать, когда ты меня чуть не за горло схватилъ!

Держать дѣтей въ своемъ домѣ ему казалось настолько невѣроятнымъ и стѣснительнымъ, что не могъ допустить объ этомъ даже мысли, и не согласился бы ни за что на свѣтѣ, а потому замолчалъ, надѣясь что-нибудь выдумать. Онъ сидѣлъ въ креслѣ, крутя усы и качая ногою, свистѣлъ, курилъ и сердился, но, какъ ни придумывалъ, ничего придумать не могъ.

— Куда же ты ѣдешь, однако? — сказалъ онъ Кириллу Ивановичу, немного отдохнувъ отъ волненія. — Надѣюсь, не на вѣкъ? Вѣдь ты вернешься когда-нибудь?

— Не знаю,—отвѣчалъ тотъ, тоже спокойнѣе.—Ѣду я на работу... въ Сибирь, потому что прожился до копейки съ этой неурядицей, а тамъ мнѣ готово хорошее мѣсто. Ты войди въ мое положеніе: не могу я безъ всякихъ средствъ воспитывать дѣтей... не моихъ къ тому же! Разсуди самъ.

Желая разсудить, Березинъ могъ только развести руками.

— Безъ денегъ, конечно, трудно,—согласился онъ, все еще надѣясь освободиться.—Безъ денегъ... да. Это другое дѣло.

— А ты богатъ! ты не жаденъ, ты вообще порядочный человѣкъ, — быстро добавилъ Култаевъ. — Пускай дѣти поживутъ у тебя хоть немного... Жалко все-таки: мелюзга, неповинныя... А тамъ ты спишешься съ сестрой... Вотъ возьми ея адресъ... Она не смѣетъ отка-

заться отъ нихъ. Ну, потерпи полгода,—авось не развалишься.

— Это дѣло другое, — повторилъ Березинъ уже съ видимымъ облегченіемъ.

Онъ спряталъ записку съ адресомъ въ карманъ и опять проговорилъ:

— Это дѣло другое.

Намекнувъ на сестру, Култаевъ сразу облегчилъ ему задачу: стоило, въ самомъ дѣлѣ, написать ей, чтобъ увозила дѣтей,—и развязка! Онъ даже обрадовался такому исходу, такъ какъ на мѣстѣ Култаева онъ и самъ уѣхалъ бы отъ ребятъ, потому что это дѣло совсѣмъ не мужское.

— Хорошо, я ей напишу, — сказалъ онъ вполнѣ успокоиваясь.—Въ самомъ дѣлѣ, ужъ если матери будутъ бѣгать отъ своихъ дѣтей, такъ это Богъ знаетъ что такое.

Черезъ часъ Березинъ и Култаевъ снова сидѣли рядомъ и дружно бесѣдовали. Кириллъ Ивановичъ поднимая за тоненькую ножку широкій, плоскій фужеръ, гдѣ пѣнился мозельвейнъ, неспѣша подносилъ его къ губамъ и, отхлебнувъ ароматной влаги, говорилъ о современномъ обществѣ, которое идетъ къ разрушенію, вспоминалъ счастливую холостую жизнь, разсуждалъ о женщинахъ, восхищался какой-то пѣвицей, а Березинъ сидѣлъ задумчивый и молчаливый не прикасая-сь къ вину.

III.

Сейчасъ же послѣ отъѣзда Култаева, Александръ Ильичъ отправилъ за границу къ сестрѣ письмо, полное упрековъ, въ которомъ просилъ и даже требовалъ, чтобъ она увозила дѣтей, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ отвѣта. Но прошелъ почти мѣсяцъ, отвѣта не было.

Онъ страшно хандрилъ и тяготился своими невольными жильцами, хотя квартира его была слишкомъ просторна и даже велика для одинокаго человѣка; у него была зала, ни на что ему ненужная, была столовая, въ которой онъ, бывало, по утрамъ пилъ чай, былъ кабинетъ, гдѣ иногда съ пріятелемъ распивалась бутылка лафита, и была еще спальня, единственная необходимая комната; но во всей этой обстановкѣ Александръ Ильичъ жилъ бобылемъ: кухню не держалъ, цѣлыми днями не бывалъ дома, а когда наступала очередь приглашать товарищей играть въ карты, то ужинъ приносили изъ ресторана. Знакомыхъ у него было почти полгорода, но ближайшими пріятелями считались Мюллеръ, Керчинъ и Тузовъ,—его постоянные карточные партнеры.

Тузовъ былъ старшиной въ клубѣ по кулинарной спеціальности, сорокалѣтній толстякъ и великанъ, безпечальный и добродушный человѣкъ, говорившій всѣмъ „ты“ и величавшій всѣхъ, по старинной привычкѣ „голубушкой“, при чемъ онъ умышленно картавилъ и говорилъ „голюбушка“. Впослѣдствіи его самого такъ прозвали, и прозвище это стало такъ популярно, что даже у клубскихъ швейцаровъ не спрашивали, здѣсь ли Тузовъ, а говорили, не здѣсь ли Голюбушка, и тѣ отвѣчали, что здѣсь, или—„не пріѣзжали“. Василій Васильевичъ Керчинъ былъ того же поля ягода, только худой, близорукій и страшный привередникъ относительно винъ и ѣды; прежде чѣмъ съѣсть кусокъ поданный ему въ клубѣ или въ ресторанѣ, онъ потычетъ его вилкой, поглядитъ, наклонясь почти носомъ въ тарелку, понюхаетъ, поморщится и велитъ подать свѣжій, находя этотъ негоднымъ и вреднымъ; водку, которой онъ пилъ не болѣе одной рюмки, всегда находилъ слишкомъ теплой и, прежде чѣмъ выпить, щупалъ рукой бутылку и отсылалъ обратно; поданный хлѣбъ онъ находилъ или толсто отрѣзаннымъ или слишкомъ

мягкимъ и вообще, былъ для прислуги обременительнымъ гостемъ, за что и получилъ отъ нея прозваніе „Казни Египетской“. Мюллеръ былъ членомъ всѣхъ клубовъ, игралъ во всѣ игры, пилъ безъ разбора любое вино, ѣлъ все, что попадется, и ухаживалъ за всѣми женщинами, при этомъ всѣхъ любилъ, и всѣ его любили.

Таковы были ближайшіе пріятели Александра Ильича, завзятые холостяки и жуиры, какъ онъ самъ, и жизнь ихъ шла уже нѣсколько лѣтъ ровно и одинаково, по разъ сложившемуся образцу.

Теперь образъ жизни Березина началъ волей-неволей мѣняться. Во-первыхъ, ему не хотѣлось объяснять исторію съ сестрой и показывать дѣтей, а поэтому, когда наступала очередь приглашать на винтъ, приходилось лгать и выдумывать разныя причины; кромѣ того, въ его повседневную жизнь начало вкрадываться множество мелочей, и онѣ раздражали его иногда до того, что онъ готовъ былъ бѣжать изъ своего дома. О прежнемъ строѣ не было и помина. Въ залѣ его валялся рыжій конь, съ обломанной мордой, котораго Александръ Ильичъ всегда приказывалъ убирать, и его убирали, но онъ все-таки постоянно валялся, то подъ столомъ, то подъ роялемъ; двери въ столовую были всегда закрыты и самая комната, обращенная въ дѣтскую, пріобрѣла какой-то кисло-молочный запахъ, котораго терпѣть не могъ Березинъ; по ночамъ, когда онъ обыкновенно возвращался домой, нерѣдко слышался дѣтскій плачъ, и хозяину, точно вору, приходилось итти мимо столовой „на цыпочкахъ“, остерегаясь болѣе крупнаго переполоха; наконецъ, Сидоръ ежедневно сталъ надоѣдать съ разными мелочами и докладывать обо всемъ, что требовалось нянькѣ: то ему пожалуйте на молоко, то прачка требуетъ денегъ, или нужно матрасикъ купить, или такихъ предметовъ, о которыхъ Александръ Ильичъ утратилъ уже всякое представленіе.

— Убирайся ты къ чорту! Надоѣлъ!—крикнулъ онъ однажды на Сидора, однако, прогоняя его, онъ понималъ, что безъ молока дѣтямъ не обойтись, безъ матрасика тоже, безъ прачки—то же самое, и приходилось звать Сидора обратно и исполнять всѣ его требованія. Березинъ не былъ скупъ и готовъ былъ сдѣлать все, но только не при такихъ условіяхъ, налагавшихъ на него какую-то обязанность, точно онъ въ самомъ дѣлѣ долженъ былъ помнить и заботиться о всякой тряпкѣ. Ему было досадно.

— Развѣ не можешь говорить толкомъ?—упрекнулъ онъ Сидора.—Лѣзешь каждый день со всякой ерундой! Говори сразу, что нужно; терпѣть не могу этой мелочности.

Вынувъ изъ кармана деньги, Березинъ добавилъ:

— Вотъ тебѣ на дѣтей, на мѣсяцъ, и не приставай, пожалуйста.

Къ крайнему огорченію Сидора, черезъ нѣсколько дней пришлось опять безпокоить барина.

— Что-жъ теперь станешь дѣлать! — сказалъ онъ Березину, разводя руками. — Безъ кухарки въ домѣ никакъ нельзя. Приказали бы, Александръ Ильичъ, кухарку нанять, расходъ нивѣсть какой, а удобства куда много! Кухня у насъ все равно гуляетъ — одни тараканы живутъ. А дѣтямъ, сами знаете, то молоко вскипятить, то супцу... Кухарка все бы это отлично сдѣлала; рублей семь-восемь за мѣсяцъ, только и разговора, а удобства куда-жъ больше теперешняго!

Александръ Ильичъ, выслушавъ его, молча стукнулъ ладонью по столу, однако, отсчиталъ семь рублей.

— Ну васъ! Нанимай, кого знаешь, только чтобъ я не слыхалъ больше ни слова объ этомъ!

Ежедневно поутру, когда Березинъ пилъ у себя кофе, къ нему являлся племянникъ, въ барежевой курточкѣ табачнаго цвѣта, въ высокихъ лиловыхъ чулкахъ и черныхъ кожаныхъ туфляхъ—здороваться; онъ

подходилъ къ нему молча, тянулся къ губамъ для поцѣлуя и, пролепетавъ: „Съ добрымъ утромъ“, уходилъ обратно, всегда замедляя шагъ, а иногда останавливаясь въ дверяхъ и оглядываясь.

— Ванюша!—остановилъ его однажды Березинъ. — Отчего ты всегда на меня смотришь, когда уходишь?

— Няня не велитъ съ вами разговаривать,—просто отвѣтилъ мальчикъ, держась въ нерѣшительности за скобку двери.

— Почему не велитъ?

— Она говоритъ, вы насъ не любите.

Не то досаду, не то упрекъ себѣ почувствовалъ Александръ Ильичъ, но ему не понравился прямой и простодушный отвѣтъ ребенка.

— А ты меня развѣ любишь?—спросилъ онъ, подзывая его къ себѣ.

— Люблю.

— За что же?

Ваня задумался.

— Я не знаю...

Онъ не совсѣмъ правильно выговаривалъ слова и раздѣлялъ ихъ невѣрно. Въ его отвѣтѣ какъ бы слышалось: „Я несъ... наю“.

Березинъ вздохнулъ и, какъ человѣкъ непривыкшій обращаться съ дѣтьми, вмѣсто сочувствія поерошилъ ему стриженые волосы.

— Хочешь кофе? — спросилъ онъ потомъ, вглядываясь въ нѣжныя черты его личика, напоминавшія лицо матери, когда та была еще дѣвушкой.

— Хочу... И хлѣба мнѣ можно?

— И хлѣба хочешь?

— Да. Съ хлѣбомъ мы всегда пьемъ... потому что...

Березина это заинтересовало. Онъ веселѣе взглянулъ на мальчика, и, когда тотъ не докончилъ рѣчи, Александръ Ильичъ спросилъ съ улыбкой:

— Ну, ну, говори—почему?

— Потому что... хлѣбъ... Потому что мы всегда кушаемъ хлѣбъ. Безъ хлѣба вѣдь нельзя ничего кушать; супъ нужно кушать непремѣнно съ хлѣбомъ, котлетку нужно съ хлѣбомъ... Всѣ дѣти съ хлѣбомъ кушаютъ, а безъ хлѣба кушаютъ только нехорошіе мальчики, которые на улицѣ.

Березинъ весело усмѣхнулся, впервые въ жизни услыхавши дѣтскую логику. Голосъ и тонъ, которымъ разсуждалъ Ваня, были серьезны, и въ нихъ такъ и сквозила тенденція няньки. „Хитра же ты, старая! — подумалъ Александръ Ильичъ. — Поди, чего натолковала!...“ И передъ нимъ выступила ясно картина нянькиныхъ уроковъ. Вотъ она сердито предостерегаетъ дѣтей не безпокоить дядю и не разговаривать съ нимъ... Почему?.. Да потому, что онъ „не любитъ ихъ“, потому что онъ самъ съ ними неласковъ, сердитъ, несправедливъ.

— Дядя Саша! — перебилъ Ваня теченіе его мыслей.—Вы знаете, гдѣ мама?

— Мама?

Березинъ нахмурился, не зная, что отвѣчать.

— За границей,—сказалъ онъ нехотя.

— А это гдѣ заграница?

— Это, братъ, далеко. Въ другомъ государствѣ.

— Въ нѣкоторомъ?

— Я не понимаю, что ты спрашиваешь.

— Какъ же не понимаете! — продолжалъ мальчикъ совершенно серьезно.—Мама, значитъ, живетъ въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, гдѣ царь Додонъ?

— Въ этомъ самомъ!—засмѣялся Березинъ.

— А что она тамъ дѣлаетъ?

— Ну, это тебѣ не для чего разсказывать.

— А няня говоритъ, что мама тамъ страдаетъ... А что это значитъ—страдаетъ? Это ее наказываютъ?

— Да, да... именно! — разсѣянно подтвердилъ Александръ Ильичъ, которому вдругъ надоѣли разспросы

ребенка.—Ступай къ себѣ, Ванюша, мнѣ некогда, да скажи нянькѣ, чтобъ глупостей не болтала.

Не прошло и пяти минутъ, какъ по всему дому поднялся крикъ и плачъ. Громче всѣхъ кричала дѣвочка звонкимъ раздирающимъ голосомъ, точно захлебываясь въ слезахъ; болѣе грубо и болѣе протяжно вторилъ ей Ваня, приговаривая при этомъ какія-то слова.

— Я тебя нахлопаю! Я тебя нахлопаю!—раздавался среди плача сердитый голосъ няньки.—Будешь ты впередъ слушаться!..

Но отъ угрозы Ваня кричалъ еще сильнѣе, и казалось, будто онъ тянетъ на безконечной нотѣ букву „ы", а дѣвочка взвизгивала чаще и продолжительнѣе и разражалась чуть не истерическими рыданіями.

Зажавши уши, Александръ Ильичъ метался по кабинету, проклиная Култаева и дѣтей и себя и, наконецъ не выдержавъ, началъ звонить въ колокольчикъ.

— Уйми ты этотъ скандалъ! — крикнулъ онъ вбѣжавшему Сидору.—Чортъ знаетъ, что дѣлается.

Тотъ побѣжалъ въ дѣтскую.

— Шш!..—прошипѣлъ онъ, рѣзко махнувъ руками.— Тише! Баринъ сердится.

Нянька съ сердитымъ лицомъ сидѣла на стулѣ, у ногъ ея каталась по ковру Людмила, вздрагивая отъ рыданій всѣмъ тѣломъ; Ваня стоялъ среди комнаты съ разинутымъ ртомъ и по щекамъ у него катились слезы. Отъ общаго гама сморщился даже Сидоръ.

— Тише!.. Шш!..—махнулъ онъ опять на дѣтей. — Уймите, нянюшка! Развѣ можно этакъ орать!

Не двигаясь съ мѣста, нянька отвѣтила:

— Кто ихъ уйметъ! Ишь, какъ телята кричатъ. Кричи, кричи! — сердито обратилась она къ Ванѣ. — Авось, тебя дядюшка выстегаетъ розгой. Кричи, кричи, дождешься ты этого.

— Уймите вы ихъ! — настаивалъ Сидоръ, начиная

самъ раздражаться. — Дѣточки!.. дѣти!.. Перестаньте Ай-ай-ай, какой стыдъ!.. — качалъ онъ головою, глядя на Ваню. — Да возьмите вы, нянюшка, ребенка-то на руки.

— Пусть валяются. Никого не возьму. Чистое наказанье Господне, а не дѣти.

— Нельзя этого!—горячился Сидоръ.

— Мало чего нельзя! Помирать мнѣ теперь, чтоль, изъ-за нихъ!—отвѣчала нянька.

Слыша ихъ перебранку, дѣти голосили еще громче. Разстроившись, Ваня началъ быстро топать ногами отъ безсильной досады, и было похоже, что онъ пляшетъ, еслибъ не его крикъ и не слезы. Сидоръ хлопалъ себя по бедрамъ руками, громко сѣтовалъ на нянькино бездѣйствіе и несправедливость; но та сидѣла, не желая двинуться съ мѣста, и только взглядъ ея становился все мрачнѣй и мрачнѣй.

Березинъ не выдержалъ.

— Чортъ знаетъ, что такое!—сердился онъ.—Сумасшедшій домъ какой-то устроили! — и схвативъ съ письменнаго стола колокольчикъ, началъ быстро и нервно трясти его.

— Подай пальто, — сухо и гнѣвно приказалъ онъ вбѣжавшему Сидору, направляясь въ переднюю. — Скажи имъ, чтобъ этого больше не было!

Сидоръ сочувствовалъ барину и понималъ его настроеніе; отворяя на улицу дверь, онъ былъ почти увѣренъ, что Александръ Ильичъ ночевать теперь не пріѣдетъ.

— Вотъ Господь оказію послалъ! Этакъ подвернутся они подъ горячую руку — всѣхъ изъ дому сію минуту прогонитъ!

Онъ вздыхалъ, волновался, и то жалѣлъ дѣтей, то досадовалъ на нихъ, и, покрутивъ головой, пошелъ развѣдывать о причинѣ такого переполоха, который онъ мысленно называлъ „Содомъ и Гоморра...“

Присутствіе дѣтей въ домѣ Александра Ильича клало на все свой отпечатокъ; маленькіе деспоты не признавали ни власти, ни времени и, не опасаясь за свою дальнѣйшую судьбу, устраивали хозяину такіе сюрпризы, что жизнь для него въ собственномъ углу становилась подчасъ невыносимой. Особенно его обижала Людмила. Для Березина это былъ не человѣкъ, а нѣчто оживленное, такое изнѣженное и хрупкое, что онъ боялся всякаго прикосновенія къ ней, опасаясь сломать ей руку, ногу или даже голову. Но это хрупкое *нѣчто* такъ привязалось къ Александру Ильичу, такъ любило, несмотря на бдительность няньки и Сидора, вбѣгать къ нему въ кабинетъ и бросаться на низкій турецкій диванъ, что держало Березина всегда въ страхѣ за судьбу ея рукъ и ногъ. Иногда ему хотѣлось обругать ее, вышвырнуть вонъ, какъ надоѣдливаго котенка, но Людмила, свернувшись клубкомъ на диванѣ, глядѣла на него такъ невинно и весело, такъ искренно смѣялась, воображая, что дядя съ ней собрался играть, что у того опускались руки.

Людмила относилась къ Березину и Сидору съ одинаковымъ довѣріемъ и любовью; ей было все равно, кто изъ нихъ слуга, кто хозяинъ; ей было важно лишь то, что одинъ позволялъ кататься по дивану, а другой разсказывалъ ей сказку, постоянно одну и ту же — про Бабу-Ягу, — и дѣвочка всегда ликовала; она крѣпко обвивала ручонками шею Сидора и, цѣлуя его, восклицала, заливаясь беззаботнымъ смѣхомъ: „Сиденька! ми-енькій!“ — что должно было означать „миленькій Сидоръ“.

Вообще Сидоръ проявилъ необыкновенную нѣжность въ обхожденіи съ дѣтьми и такую ловкость, что удивлялась даже старая нянька. Случалось, что дѣти расшалятся до того, что нѣтъ съ ними сладу; тогда Сидоръ важно и медленно входилъ въ комнату, сложивъ назади руки, и, выдержавъ паузу, важно заявлялъ:

— Ну, дѣти, давайте думать.

— Какъ думать?—интересовался Ваня.

— А вотъ какъ... Смотри.

Сидоръ медленно опускался на стулъ и хмурилъ брови.

— Вотъ я сяду и буду думать, а ты на меня гляди. Потомъ ты сядешь и будешь думать, а я буду глядѣть.

Это было такъ ново, что крики смолкали, бѣготня затихала, и Сидоръ съ минуту сидѣлъ молча и неподвижно, строго нахмурясь, а Ваня молча глядѣлъ на него, ожидая, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ сдѣлаетъ что-нибудь интересное.

— Теперь ты садись и думай,—обращался къ нему Сидоръ немного спустя,—а я вотъ только въ чуланъ схожу, вино принесу.

Затѣмъ онъ уходилъ и не возвращался, а дѣти, въ ожиданіи его, занимались чѣмъ-нибудь другимъ, и капризы ихъ или шалости прекращались.

IV.

Въ клубѣ, между тѣмъ, разнеслась уже вѣсть, что у Березина объявились дѣти; втихомолку пріятели пересмѣивались, ожидая случая потрунить надъ нимъ, и случай такой представился вскорѣ, когда въ клубѣ былъ маскарадъ.

Александръ Ильичъ, занявъ по обыкновенію, столикъ, сидѣлъ за бутылкой лафита въ ожиданіи знакомыхъ и съ спокойнымъ любопытствомъ оглядывалъ туалеты проходившихъ мимо него дамъ.

— Вотъ онъ, герой-то нашъ, а мы его ищемъ! Здравствуй, Сашенька! поздравляемъ, голубчикъ! — весело говорилъ ему Мюллеръ, подойдя вмѣстѣ съ Керчинымъ.

Оба они подсѣли къ столу и, продолжая смѣяться и шутливо раскланиваться, требовали угостить шампанскимъ.

— Съ какой стати? Я не именинникъ.

— Именины не штука, именины каждый годъ бываютъ! — говорилъ Мюллеръ, похлопывая Александра Ильича по спинѣ.—А ты, Сашенька, не лукавь. Слышали, братецъ, слышали! Ставь-ка флакончикъ холоднаго,—шила въ мѣшкѣ, братъ, не утаишь!

Въ это время подошелъ третій пріятель.

— Александръ Ильичъ! Батюшка ты мой! — воскликнулъ онъ еще издали, протягивая къ Березину руки. — Поздравляю, поздравляю!.. Вотъ ужъ именно по пословицѣ вышло: не было ни гроша, да вдругъ алтынъ!

— Да съ чѣмъ вы меня поздравляете?

— Дѣтей полны комнаты, а ты спрашиваешь, съ чѣмъ!

Всѣ трое громко и дружно расхохотались, такъ что смѣхъ ихъ привлекъ къ столу еще нѣсколькихъ знакомыхъ.

— Въ чемъ дѣло? Съ чѣмъ вы его поздравляете? — спрашивали они весело.

— Ребятишекъ Господь послалъ, а онъ и шампанскаго поставить не хочетъ на радостяхъ!

— Сынъ или дочь?—спросилъ кто-то шутливо, трогая Березина за плечо.

— Двойня!—отвѣтилъ за него кто-то другой, и опять всѣ дружно захохотали.

На этотъ разъ Березинъ обидѣлся. Онъ всталъ и, шутливо махнувъ рукою, молча ушелъ побродить по заламъ.

Публики было всюду много. Вездѣ мелькали фраки и домино, голыя женскія плечи. Березинъ съ улыбкой отвѣчалъ направо и налѣво на поклоны знакомыхъ, но ему было не по себѣ. Смутное чувство какой-то неуря-

дицы и тоски постепенно овладѣвало его душой. Ему было жалко сестру и досадно на нее, было жалко Культаева, жалко самого себя, потому что приходилось возиться съ дѣтьми,—и—неизвѣстно ради чего—стѣснять и уродовать свою жизнь. Неумѣстныя шутки пріятелей, глупые намеки и глупый смѣхъ показались ему въ эту минуту еще болѣе глупыми, чѣмъ вначалѣ, а сами пріятели — безсодержательными, пошлыми людьми, и было стыдно, что въ сущности онъ и самъ нисколько не лучше, что онъ такой же пошлякъ, такой же развратникъ, погубившій за картами и виномъ свою молодость. На мгновеніе онъ взглянулъ иными глазами на клубскую маскарадную обстановку, на окружающія лица, на мелькавшихъ мимо женщинъ, и что-то неясное и незнакомое защемило вдругъ ему сердце. Но это было только на одно мгновеніе. Подошла маска, называвшая его то Александромъ Ильичомъ, то Шурочкой, то говорила на *ты*, то на *вы*; онъ тоже называлъ ее Ольгой Николаевной, а иногда Лелей. Шутя и смѣясь, они возвратились къ столу и принялись за ужинъ. Ольга Николаевна сняла перчатки и маску, которая мѣшала ей ѣсть и смѣяться, и почти безъ-умолка разсказывала объ общихъ знакомыхъ, о сегодняшнемъ маскарадѣ, о туалетахъ. Это была женщина невысокаго роста, съ тонкой красивой таліей и сѣрыми красивыми глазами.

— Въ самомъ дѣлѣ, отчего вы меня не угостите шампанскимъ? — вдругъ мѣняя разговоръ, обратилась она къ Березину.—У васъ, говорятъ, есть какая-то причина. Смотрите, скрытный человѣкъ, я доберусь!

— Никакой причины нѣтъ,—шутливо отвѣчалъ тотъ, но зато нѣтъ причины и не выпить.

— Лжешь! Я знаю, что лжешь!—настаивала Ольга Николаевна, кокетливо грозя ему пальцемъ.—Мнѣ сейчасъ Василій Васильевичъ сказалъ, что у тебя что-то случилось, но ты скрываешь.

— Болванъ твой Василій Васильевичъ!

— И Мюллеръ говорилъ, что есть причина.

— Ну, и Мюллеръ болванъ!

Оба они, наконецъ, разсмѣялись и, когда подали шампанское, дружно чокнулись.

— За твою тайну. Хочешь?

— Пей,—равнодушно отвѣтилъ Березинъ.—Только никакой тайны нѣтъ.

Ольга Николаевна прищурила глаза и спросила серьезно:

— Дашь честное слово не лгать?

— Съ удовольствіемъ.

— Ты женишься? Да?

Березинъ всплеснулъ руками.

— Ты съ ума сошла!—засмѣялся онъ и, повторивъ ту же фразу, опять расхохотался. Это я то женюсь?.. Мало же ты меня знаешь!

Въ теченіе вечера съ Ольгой Николаевной здоровалось много незнакомыхъ Березину мужчинъ; съ какимъ-то генераломъ она даже уходила гулять по заламъ, и когда вернулась, старикъ улыбаясь цѣловалъ у нея руки. Многіе предлагали свои услуги проводить Ольгу Николаевну домой, но провожать ее поѣхалъ все-таки Березинъ, когда было уже подъ утро.

Скрывать отъ пріятелей присутствіе дѣтей становилось болѣе невозможнымъ: всѣ это знали, и всякія отговорки были бы смѣшны. Исторія Култаевыхъ перестала быть тайной, но Александръ Ильичъ не могъ примириться съ мыслью, что его родная сестра сдѣлалась чьей-то любовницей, и исковеркала весь строй его жизни.

„Увези ты ребятъ, ради Бога,—писалъ онъ Култаеву:—надоѣли до смерти!“

„Развяжи ты мнѣ руки,—писалъ онъ сестрѣ,—увези дѣтей!“

Но время проходило, а ни сестра, ни Култаевъ, точно

сговорившись, не присылали отвѣта. Это бѣсило Александра Ильича, и онъ старался проводить время въ клубѣ, либо у пріятелей, либо у Ольги Николаевны, у которой квартира была маленькая, обстановка небогатая, но все было такъ просто, уютно и хорошо, что Березину его большой домъ казался сараемъ.

Однажды, потягиваясь въ креслѣ у нея въ будуарѣ и прихлебывая кофе съ коньякомъ, Александръ Ильичъ жаловался ей на сестру.

— Я не знаю ее,—сказала Ольга Николаевна,—но знаю одно, что бросивъ мужа, она стала счастливѣе.

— Это почему? Онъ добрый малый, только нужно его держать въ рукахъ.

— Онъ—мужъ...

— Такъ что же?

— Э, всѣ мы таковы!—махнула рукой Ольга Николаевна.—Пока мы чувствуемъ подъ ногами твердую почву, пока мужчина относится къ намъ хорошо и по совѣсти,—мы несчастны, неудовлетворены и знать ничего не хотимъ, потому что мы привыкли мучиться и мученіями покупать себѣ счастье.

— Развѣ это такъ умно?

— Я и не говорю, что умно. Мы глупы, мы мелочны, мы фантазерки, отъ этого и не цѣнимъ спокойствія, не цѣнимъ того, что даетъ намъ семейная жизнь. Я про себя скажу...

Она на секунду задумалась, какъ бы рѣшая—говорить или промолчать, и сейчасъ же повторила:

— Я про себя скажу... Когда я была замужемъ, я менѣе всего интересовалась своимъ мужемъ, хотя любила его. Да,—развела она руками,—это удивительно!.. Я одобряю мужчинъ, которые не женятся.

— И меня?—улыбнулся Березинъ.

— И тебя. Да для чего жениться? Чтобъ надъ тобой былъ постоянный гнетъ и контроль! чтобы для всѣхъ, кромѣ тебя одного, жена старалась быть инте-

ресной, а тебѣ не позволяла бы никѣмъ интересоваться. Для этого нужно жениться? Я знаю примѣръ: дѣвушка-институтка живетъ съ однимъ господиномъ, они не вѣнчаны, у нихъ даже дѣти есть, но посмотри, какъ они счастливы! А вотъ еслибъ она же вышла замужъ за того же, то получилось бы Богъ знаетъ что!.. Мы не терпимъ почвы подъ собою. Пока мы на шаткой почвѣ, пока мы не увѣрены за завтрашній день, мы сумѣемъ быть и интересными, и живыми, и даже сами довольны и счастливы, а чуть только почувствуемъ, что стали твердо, сейчасъ и лѣнь у насъ явится, и распущенность, и корсетъ начнетъ тяготить, и ворчливость поднимется... Передъ мужемъ да причесаться какъ слѣдуетъ? Передъ мужемъ да щеголять въ настоящемъ платьѣ? Нѣтъ, лучше я рваный капотъ надѣну, чтобы болтался на тѣлѣ, лучше волосы гривой распущу да буду стонать, что голова болитъ, что нездоровится, а ужъ для мужа ничего не сдѣлаю: онъ и безъ того — мой! Вотъ каковы мы, женщины.

— Оттого васъ такъ часто и обманываютъ, — замѣтилъ Александръ Ильичъ.

— Мы сами любимъ обманываться. Это наша жизнь.

Она хотѣла что-то еще добавить, но передумала и быстро встала. Съ улыбкой, въ которой чувствовался вопросъ, не то лукавый, не то сердечный, она, красиво изгибаясь, приблизилась къ Березину и положила ему руки на плечи, потомъ стала гладить его волосы.

— Еслибъ я была твоей женой, развѣ я сидѣла бы съ тобой цѣлый вечеръ? стала бы ласкать тебя?

На свои слова она сама же отрицательно покачала головой, а Березинъ, не вставая и не мѣняя позы, поймалъ ея руку и началъ гладить ее и цѣловать. Потомъ онъ обнялъ Ольгу Николаевну за талію и посадилъ къ себѣ на колѣна; потомъ поцѣловалъ ее въ високъ, въ руку, опять въ високъ и въ губы. Та не противилась, и даже прилегла головой къ нему на плечо.

Въ прихожей раздался звонокъ.

— Кто еще тамъ? — съ неудовольствіемъ проговорилъ Березинъ, выпуская изъ своихъ рукъ Ольгу Николаевну.

— Вѣрно, кто-нибудь изъ заблудшихъ мужей, — усмѣхнулась та. — Ахъ, какъ я люблю дурачить этихъ благонамѣренныхъ дамъ! Недаромъ онѣ меня такъ ненавидятъ.

Но въ прихожей послышались знакомые голоса. Это были Керчинъ и Мюллеръ.

— А мы за вами! — сказали они вмѣстѣ, когда къ нимъ вышла хозяйка.—У крыльца дожидается тройка... Собирайтесь, прелестная, поскорѣе.

— Ба! да здѣсь Александръ Ильичъ! — обрадовался Керчинъ, увидѣвъ знакомую шапку. — А мы въ клубѣ винтили... Думаемъ, куда нашъ пріятель дѣвался... Да съ горя и собрались за городъ.

— Это мило! — весело воскликнула Ольга Николаевна. — Ночь морозная, лунная... Ахъ, какъ вы умно сдѣлали, что заѣхали! Я сейчасъ одѣнусь.

Она торопливо ушла, почти убѣжала, а Мюллеръ сталъ звать Березина.

— Сашенька! Гдѣ ты тамъ? Выползай на свѣтъ Божій, въ Стрѣльну сейчасъ поѣдемъ...

Александръ Ильичъ вышелъ, и они условились ѣхать вмѣстѣ, а пока переодѣвалась хозяйка, успѣли сообщить другъ другу о сегодняшнемъ винтѣ и обѣдѣ.

— Ну, я готова!

Въ дверяхъ появилась Ольга Николаевна, застегивая на ходу перчатки. Она была очень эффектна и ея стройная фигура, затянутая въ черное платье, вызвала общій восторгъ.

— Чортъ возьми! съ такой женщиной не за городъ, а на всемірную выставку надо ѣхать! — воскликнулъ Мюллеръ.

Ольга Николаевна молча погрозила ему пальцемъ и обратилась ко всѣмъ.

— Ну, ѣдемъ, ѣдемъ! Я такъ давно не каталась. Ахъ, какіе вы умные, господа, что заѣхали!

Шутя и смѣясь, всѣ стали одѣваться и весело вышли на улицу, гдѣ дожидалась ихъ тройка.

Стояла ясная морозная ночь... Прогулка за городъ въ такой близкой компаніи была для всѣхъ пріятной. Въ Стрѣльнѣ они ужинали, у Яра пили шампанское и слушали цыганъ; Ольга Николаевна все время была весела, хохотала и пѣла, даже выпила со всѣми на брудершафтъ и говорила всѣмъ „ты“.

— Друзья мои!—воскликнула она, наконецъ, смѣясь и опуская поднятый бокалъ.—У меня голова кружится... Я сегодня слишкомъ много пила.

— Позвольте! Загадка, загадка! — перебивая ее, закричалъ Мюллеръ.—Угадайте загадку: когда женщина бываетъ зубаста?

— Знаю, голубчикъ: когда она „пила“.

— Знаемъ, знаемъ! — замахали ему руками. — Сто разъ слыхали.

Мюллеръ любилъ каламбурить, и надъ нимъ справедливо шутили, говоря, что у него въ запасѣ четыре каламбура, старыхъ какъ міръ и извѣстныхъ любому мальчишкѣ, но Мюллеръ все-таки каждый разъ пускалъ ихъ въ дѣло, и выходило смѣшно только то, что онъ не замѣчаетъ, какъ это скучно.

— У меня голова кружится, — повторила Ольга Николаевна. — Я не могу больше пить... Голова въ туманѣ...

— Позвольте!—закричалъ Мюллеръ.—Голова въ туманѣ, или туманъ въ головѣ?

— И то и другое,—засмѣялась Ольга Николаевна.— Вѣдь бываетъ такъ, что и то и другое случается?

— Бываетъ, бываетъ! — подтвердилъ Мюллеръ и всталъ, чтобы сказать каламбуръ, который опять былъ

всѣмъ извѣстенъ.—Все бываетъ! Было разъ даже такъ, что ничего не было!..

— Скажи, нѣмецъ, что-нибудь поновѣе! — упрекнулъ Березинъ, и Мюллеръ не возражая сейчасъ же вышелъ на средину комнаты, держа въ рукахъ бокалъ.

— Господа!—заявилъ онъ громко.—Рѣчь!

— Браво, браво! — захлопала въ ладоши Ольга Николаевна.—Голубчикъ! Ѳеденька! скажи что-нибудь веселое, хорошее!

— Вотъ тебѣ тема, — предложилъ Александръ Ильичъ: — Скажи такъ, чтобы наша Олечка выпила свой бокалъ.

— И выпьетъ!—успокоилъ Мюллеръ, а потомъ, грозя пальцемъ, обратился строго ко всѣмъ: — только, чуръ, не перебивать!

Всѣ согласились и замолчали.

— Милостивая государыня и милостивые государи,— началъ онъ, улыбаясь и поглядывая на улыбающіяся лица пріятелей. — Все имѣетъ свое начало и свой конецъ, но никто не можетъ сказать, гдѣ начало того конца, которымъ оканчивается начало...

„Ну, пошелъ городить!“ вслухъ подумалъ Керчинъ, но Мюллеръ не слушая продолжалъ:

— Веселье наше еще вначалѣ, а ужъ вину конецъ, и вообще наша жизнь полна неожиданныхъ противоположностей: иныхъ горячитъ холодное шампанское, у иныхъ отъ бѣлаго вина носъ дѣлается краснымъ... Итакъ я началъ о концѣ: повторяю, вино наше кончилось, и слѣдуетъ, когда я кончу, начать съ новой бутылки отъ имени нашего драгоцѣннаго и почтеннѣйшаго Александра Ильича въ честь совершившагося событія. Пью за его здоровье и терпѣніе и за его дѣтей!

— Въ самомъ дѣлѣ!—воскликнула Ольга Николаевна. — Это хорошо! Мерси, Ѳеденька! За это даже и я выпью!.. Пусть голова кружится!.. Александръ Ильичъ,

за вашихъ дѣтокъ!.. Мерси, Ѳеденька; браво! это очень кстати!

Съ Березинымъ полѣзли всѣ чокаться, и онъ, пожимая плечами, шутя принималъ поздравленія.

— А дѣтскую-то, дѣтскую-то!—требовалъ Мюллеръ.— Дѣтскую бутылку пожалуйте!

Подали еще бутылку, и когда ее кончили, то поѣхали по домамъ.

Березинъ вернулся нѣсколько возбужденнымъ, съ тяжелою головой, и былъ удивленъ, когда дверь отперла ему нянька.

— А Сидоръ?—спросилъ онъ.

— У Сидора, батюшка, зубы болятъ; весь день маялся, я ужъ и говорю: ложись, безъ тебя барину отопру. Измучился, сердешный.

— Дай-ка мнѣ сельтерской.

Пока нянька шарила въ буфетѣ, пока искала стаканъ и штопоръ, Березинъ, проходя мимо дѣтской, сначала остановился, а потомъ заглянулъ въ полуотворенную дверь. Тамъ было тихо, безмолвно, и мягкій свѣтъ лампады придавалъ всей комнатѣ какой-то особенный видъ.

У стѣны стояли одна возлѣ другой двѣ кроватки съ высокими бортами, и маленькіе золоченые образочки свѣтились въ изголовьяхъ... Старая, мирная, позабытая картина!.. Невинностью и счастьемъ вѣяло отъ всего, и хотѣлось вѣрить, что именно здѣсь присутствуетъ тихій ангелъ-хранитель, благословляя покой младенцевъ, тотъ невидимый ангелъ-хранитель, который давно отлетѣлъ отъ взрослаго человѣка, и ничѣмъ, никогда не вернешь его!.. Отлетѣлъ и унесъ съ собою невинный покой, тихія радости, лучезарные сны... Незамѣтно проходитъ дѣтство, и вотъ она, смутная, быстрая молодость, возникаетъ, и бьетъ ключомъ горячая кровь, но не поспѣлъ оглянуться, а уже сердце изныло, силы потрачены, на душѣ тяжело... Гдѣ-жъ жизнь? Въ чемъ жизнь?

вопрошаешь себя, и въ отвѣтъ выступаютъ, когда уже поздно вернуться, вереницы вздорныхъ, глупыхъ, неправыхъ дѣлъ, и видишь, что въ нихъ заключалась та самая жизнь, которая дается тебѣ одинъ разъ на вѣчныя времена. И ужасъ и холодъ обвѣваютъ душу, но чувствуешь и знаешь, что ты безсиленъ, что твоя пѣсенка спѣта, и нѣтъ тебѣ иного выхода, кромѣ смерти...

Боясь заскрипѣть сапогами, Александръ Ильичъ осторожно подошелъ къ кроваткѣ. Тамъ лежалъ Ваня съ зажмуренными глазами и съ чуть пріоткрытымъ ртомъ; онъ дышалъ легко и ровно, и, глядя на него, Березинъ не зналъ, что дѣлать, но ему хотѣлось что-то сдѣлать, или что-то сказать, и онъ невольно и смущенно перекрестилъ ребенка, потомъ подошелъ къ другой кроваткѣ. Дѣвочка спала, подложивъ подъ правую щеку ладонь, а другую руку отбросивъ небрежно въ сторону; вязанное одѣяло немного сползло, и изъ-подъ него виднѣлась крошечная голая пятка, которую Березинъ сейчасъ же прикрылъ, и опять не зналъ, что дѣлать далѣе, но попрежнему хотѣлось что-то сдѣлать, или что-то сказать...

Вошла нянька.

Березину стало досадно, что его застали здѣсь, и онъ спросилъ дѣловымъ тономъ:

— Дѣти здоровы? — и сейчасъ же ушелъ къ себѣ.

Ложась спать онъ вспоминалъ сестру и Култаева, который ведетъ пьяную, безпутную, почти безумную жизнь, но сейчасъ же припомнилась ему и своя жизнь— точно такая же безумная и безпутная.

V.

Была суббота, и нянька объявила дѣтямъ, что ихъ сейчасъ будутъ купать. На полу стоялъ уже для тепла большой самоваръ и наполнялъ комнату паромъ. Пер-

вая очередь была за Людмилой, и ее раздѣли; на двухъ стульяхъ укрѣпили ванну, Сидоръ изъ усердія самъ натаскалъ воды, холодной и горячей, и вливалъ въ ванну ровно столько изъ обоихъ ведеръ, сколько требовала нянька, стоявшая въ ночной кофтѣ, съ засучеными рукавами, и мѣшавшая рукой воду.

— Хорошо, Сидоръ Михалычъ, благодарствуйте!.. Садись, Лиленька, садись миленькая; завтра тебѣ дядя какую конфетку привезетъ! Садись, моя умница, садись, красавица!

Маленькое блѣдное тѣльце Людмилы погрузилось въ ванну. Дѣвочка захлопала по водѣ руками, отчего на умилившагося Сидора полетѣли теплыя брызги, но, утираясь, онъ улыбался и приговаривалъ:

— Ишь, ты разбойница! Ничего, ничего... Вотъ тебѣ сейчасъ нянюшка головку намылитъ, а ты глазки зажмурь... Будешь чистенькая... бѣленькая...

Не успѣлъ онъ еще и договорить, какъ лицо его приняло вдругъ серьезное тревожное выраженіе и, приложивъ къ уху ладонь, онъ прошепталъ:

— Батюшки! Никакъ баринъ? Затолковался я съ вами, а онъ, глядишь, и пріѣхалъ! — и Сидоръ побѣжалъ въ переднюю отпирать двери.

Черезъ минуту въ дѣтскую донесся звукъ веселаго женскаго голоса.

— Гдѣ они? Въ какой комнатѣ? Я хочу поглядѣть!

Дверь отворилась, и нянька съ удивленіемъ увидѣла Ольгу Николаевну, которая вошла въ шапкѣ и перчаткахъ. При видѣ незнакомой барыни, старуха смутилась, а Ваня потупился и глядѣлъ сурово, исподлобья, ухватившись для безопасности за нянькино платье.

— Вотъ они, дѣтки! — воскликнула Ольга Николаевна, почти подбѣжавши къ ваннѣ. — Здравствуйте, няня. Дайте мнѣ поглядѣть дѣтишекъ... О, да какія славныя! — восторгалась она, глядя то на Ваню, то на Людмилу.—Прелесть моя! дѣвочка!..

Она торопливо сняла, почти сорвала съ себя перчатки и, забравши въ обѣ руки Людмилино личико, начала цѣловать, потомъ подхватила Ваню и прижала его къ груди такъ быстро и неожиданно, что тотъ не поспѣлъ опомниться.

— Какія славныя! какія милыя дѣтки! Какъ ихъ зовутъ?.. Тебя, кажется, Ваней зовутъ? А ее какъ? Какія хорошенькія, красивыя! — безъ-умолка тараторила Ольга Николаевна, и видно было, что она говорила искренно. — Голубушка! няня! — обратилась она сейчасъ же къ старухѣ. — Дайте мнѣ, я вымою дѣвочку!

И, не дожидаясь согласія, Ольга Николаевна быстро начала разстегивать лифъ, быстро сбросила его, сбросила шапку, сняла съ пальцевъ кольца и, оставшись въ корсетѣ съ голыми по плечи руками, выхватила у няньки мыло и начала намыливать Людмилѣ голову, болтая ей о разныхъ пустякахъ—о конфетахъ, игрушкахъ и кошкахъ. Когда мыльная вода потекла съ головы по лицу и губамъ, дѣвочка, крѣпко зажмуривъ глаза и сжавши ротъ, начала вертѣться, хлопать по водѣ руками и кричать, но Ольга Николаевна проворно окатила ее чистой водой и протерла ладонью глаза.

— Вотъ и все, моя крошка! Вотъ и будетъ!—весело говорила она, обѣщаясь достать ей сейчасъ же изъ кармана куклу въ золотомъ платьѣ съ красной шапочкой.

Но пока она говорила и обѣщала, въ это время уже намылила губку и стала тереть Людмилѣ грудь, спину, шею, и та, растерявшись, сидѣла смирно, и взглядъ ея выражалъ полное недоумѣніе. Затѣмъ ее окатили еще разъ чистой водой, подняли изъ ванны и, закутавъ съ головой въ простыню, перенесли на постель, потомъ надѣли сорочку и уложили спать.

— Няня, положите ей куклу въ кроватку. Она была умницей, и ей надо за это игрушку дать.

— Какую игрушку? — возразила нянька. — У насъ только лошадь безъ головы да мячикъ резиновый.

— У васъ игрушекъ нѣтъ?

— То-то, что нѣтъ. Откуда имъ быть?

— Да что же вы не скажете! Развѣ можно безъ игрушекъ?.. Чѣмъ же дѣти занимаются?

— Чѣмъ занимаются... Бѣгаютъ изъ угла въ уголъ, только и дѣла. Здѣсь, небось, не своя воля, а барину про башмаки-то сказать страшно, не то что глупости просить. Вона въ чемъ ходимъ!

Нянька показала дѣтскій башмакъ со стоптанной подошвой и добавила:

— Не своя воля. Что-жъ теперь будешь дѣлать!

Ольга Николаевна удивлялась, качала головой въ знакъ неодобренія и обѣщала завтра же всего накупить и все исправить.

Когда она уѣхала, нянька прежде всего обратилась къ Сидору за разъясненіемъ:

— Это кто-жъ такая?—спросила она тихо и съ любопытствомъ, но Сидоръ въ отвѣтъ только улыбнулся и подмигнулъ глазомъ.

— „Сударыня“, значитъ?—догадалась старуха.

— Сударыня, — весело, но секретно подтвердилъ Сидоръ.

— Какая шустрая!..

На другой день поутру, когда дѣти только что встали, Сидоръ принесъ огромный картонъ и поставилъ его на полъ.

— Это что? — началъ допытываться Ваня. — Это кому?

Онъ съ любопытствомъ и нетерпѣніемъ глядѣлъ, какъ Сидоръ началъ разматывать веревку, потомъ снимать крышку и выбрасывать оберточную бумагу.

— Конь! конь! конь!—закричалъ въ восторгѣ Ваня, увидавъ въ картонѣ лошадиную голову.

Онъ даже вспыхнулъ отъ радости, захлопалъ въ ла-

доши и заплясалъ возлѣ Сидора, а Сидоръ и нянька, наклонившись надъ ящикомъ, таинственно и серьезно, точно два волшебника, шарили въ бумагѣ руками, вынимали не спѣша подарки и ставили ихъ на полъ. Подбѣжала Людмила и вмѣстѣ съ братомъ визжала и ликовала.

— Конь! Конь!—кричалъ Ваня, а Людмила, увидавъ куклу въ красной шапочкѣ, восторженно взвизгивала:

— Кукля! Кукля!

— Видишь, какая тетя добрая!—наставительно говорила нянька.—Вчера Лилечка вымылась хорошо, не плакала, вотъ ей тетя и подарки прислала.

И дѣти, и нянька, и Сидоръ настолько увлеклись общей радостью, что совсѣмъ забыли про Александра Ильича, который еще спалъ, и разбудили его своими криками. Въ халатѣ, съ заспаннымъ лицомъ, еще не умывшись, онъ вошелъ въ дѣтскую, но его не видѣли и не слышали. Сидоръ сидѣлъ на полу возлѣ пустого картона и выстраивалъ въ линію деревянныхъ солдатиковъ, нянька, тоже не вставая съ пола, охорашивала на куклѣ платье, а Ваня и Людмила сидѣли, обложенные игрушками, и кричали на разные голоса. Ваня погонялъ вожжами коня, а Людмила катала разноцвѣтные шарики и жевала конфету.

— Откуда это?—спросилъ Березинъ.

Всѣ обернулись. Сидоръ вскочилъ какъ ужаленный, а нянька поднялась грузно и не спѣша. Дѣти замолкли.

VI.

Время летѣло быстро, и зима была на исходѣ. За дѣтьми, однако, не пріѣзжали ни мать ни отецъ, и они продолжали жить у Александра Ильича попреж-

нему. Переломъ въ жизни, помѣха и неудобство, которыхъ онъ ожидалъ отъ нихъ, болѣе не смущали Березина; онъ свыкся съ ними и примирился, сознавъ свою обязанность и покорившись ей.

„Въ самомъ дѣлѣ, кому же было заботиться, пріютить и воспитать малютокъ, ничуть неповинныхъ въ томъ, что родители ихъ дурятъ и ссорятся?“ думалъ иногда Березинъ. Хоть и досадно было урѣзывать свою независимость и привычки, но не помочь дѣтямъ, къ тому же роднымъ племянникамъ, было совѣстно и безпорядочно. На первое время, правда, было трудно переносить всю эту дѣтскую суматоху, этотъ безсмысленный лепетъ, безсмысленные восторги и огорченія, надоѣдливые вздохи и жалобы няньки, глупую сантиментальность Сидора, но что-жъ подѣлаешь, если такова сама жизнь?.. День за днемъ и шагъ за шагомъ сближали Березина съ племянниками, противъ воли, противъ желанія. Однажды, увидѣвъ мимоходомъ Людмилу, онъ погладилъ ее по головѣ и что-то сказалъ ей.

— Дяденька! миленькій! — вдругъ обратилась дѣвочка, весело и ласково взглядывая ему въ глаза; потомъ она разсмѣялась и съ чисто дѣтскою искренностью потянулась къ нему ручонками. — Дяденька! миленькій!—восклицала она, немного картавя и заливаясь смѣхомъ.

Нѣжное личико ея было такъ радостно, такъ весело, что Березинъ невольно остановился и снова протянулъ руку, чтобы поерошить ея мягкіе шелковистые волосы. Движеніе это дѣвочка приняла за шутку, засмѣялась еще веселѣе, обхватила протянутую руку своими крошечными руками и, боясь, что дядя будетъ ее щекотать, прильнула къ его рукѣ щекой.

Александръ Ильичъ въ первый разъ въ жизни ощутилъ на своей огрубѣвшей рукѣ прикосновеніе нѣжнаго атласистаго тѣла ребенка, въ первый разъ въ жизни увидѣлъ такое наивное довѣріе къ себѣ, искрен-

нее, безпричинное, и противъ желанія не осмѣлился выдернуть руку изъ объятій Людмилы, боясь ее уронить со стула. Онъ видѣлъ передъ собой необыкновенно слабое существо съ необычно-искренней душой, искренними восторгами, беззавѣтной довѣрчивостью, которые свѣтились въ этихъ дѣтскихъ глазахъ, слышались въ этомъ необдуманномъ лепетѣ, въ беззаботномъ смѣхѣ, и Березинъ почувствовалъ въ душѣ своей какой-то упрекъ и тихую радость. Ему захотѣлось даже сдѣлать ребенку что-нибудь пріятное, и онъ спросилъ няньку, не придумавъ ничего лучшаго:

— Дѣтямъ даютъ пирожное?

Оказалось, даютъ,—и онъ былъ безсиленъ выдумать что-нибудь иное для удовольствія дѣвочки.

Ваня тоже былъ ласковъ, но часто надоѣдалъ ему своими вѣчными вопросами.

— Дядя Саша,—обращался иногда Ваня къ Александру Ильичу, когда приходилъ будить его по утрамъ.— Отчего всѣ мы спимъ, и няня спитъ, и я, и Лиля, и ты спишь, а Сидоръ не спитъ?

— И Сидоръ спитъ.

— Нѣтъ, не спитъ. Онъ говоритъ, ему некогда спать.

Или спрашивалъ такъ:

— Дядя Саша! Для чего у насъ волосы растутъ?

Березинъ улыбался на такой пустой вопросъ, однако не зналъ, что на него отвѣтить, и отдѣлывался тѣмъ, что говорилъ:

— Будешь учиться, тогда узнаешь.

— А Сидоръ говоритъ, для того, чтобъ ихъ стричь,— отвѣчалъ самъ себѣ Ваня. — Который мальчикъ даетъ стричь, тотъ умный, а который плачетъ и не даетъ, тотъ нехорошій...

Какъ бы то ни было, но Березину дѣлалось очевидно, что Ваня всегда бесѣдуетъ съ Сидоромъ. Это ему не нравилось, во-первыхъ, потому, что Сидоръ какъ ни какъ, а лакей, а во-вторыхъ, было стыдно, что

этотъ лакей понимаетъ дѣтское сердце лучше, чѣмъ онъ; было стыдно и передъ Ваней: благодаря глупому образу жизни, онъ предоставилъ его всецѣло прислугѣ и, несмотря на бездѣлье, не имѣетъ времени съ нимъ серьезно заняться. Было стыдно и за то, что лакейское воспитаніе портило рѣчь ребенка, и Александра Ильича всегда коробило, когда Ваня произносилъ невѣрно слова, напримѣръ: „у мужчиновъ", или „безъ шалостевъ"... Но особенно онъ смущался, когда разспросы касались религіи или семьи.

— Насъ сегодня водили къ обѣднѣ, причащаться,— заявлялъ Ваня. — А для чего это причащаются, дядя Саша?

Къ стыду своему, Березинъ такъ одичалъ въ клубной и ресторанной обстановкѣ, что буквально не находилъ никакого отвѣта. Онъ могъ бы говорить объ этомъ съ человѣкомъ взрослымъ, но что сказать ребенку?

Въ кабинетѣ Александра Ильича стояла яшмовая пепельница, которую мальчикъ однажды уронилъ и разбилъ. Сидоръ такъ и ахнулъ, когда увидалъ осколки.

— Что ты надѣлалъ! — ужасался онъ, зная, что это любимая пепельница барина.—Что ты надѣлалъ! Какъ теперь сознаваться?

И Сидоръ, и нянька охали и вздыхали, и оба чувствовали себя виноватыми: няня не доглядѣла за мальчикомъ, а Сидоръ—за кабинетомъ.

— Что-жъ теперь съ тобой дѣлать? — спрашивали они оба у Вани.

Ваня стоялъ передъ судомъ молча, опустивъ голову и покраснѣвъ до ушей.

— Дядя теперь и меня прогонитъ, и няню будетъ бранить, и тебя выпоретъ, — вотъ что ты надѣлалъ!— говорилъ Сидоръ искренно безпокоясь.

— У, безстыдникъ!—ворчала и нянька. — Только бы тебѣ все ломать да крушить!

Весь день и весь вечеръ прошли въ томительномъ

ожиданіи. Ваня присмирѣлъ; его смущало не самое преступленіе, но смущалъ Сидоръ, который, качая головой и вздыхая, безцѣльно бродилъ по комнатамъ и всякій разъ останавливался передъ Ваней и говорилъ съ укоромъ:

— Что намъ теперь будетъ?

Березинъ вернулся ночью, когда дѣти спали, и Ваня къ утру совершенно забылъ о разбитой пепельницѣ, и съ покойною совѣстью вбѣжалъ къ дядѣ — будить.

— Дядя Саша! Пора вставать! — весело закричалъ онъ по обыкновенію, но Березинъ уже проснулся ранѣе и глядѣлъ на него холодно и строго.

— Поди-ка сюда, — сказалъ онъ. И Ваня вдругъ вспомнилъ свое преступленіе; страхъ пробѣжалъ морозомъ по его тѣлу.

— Кто разбилъ пепельницу?

Мальчикъ потупился и молчалъ.

— Я спрашиваю: кто разбилъ пепельницу? — строже повторилъ Александръ Ильичъ.

Отвѣта не было.

— Ты не знаешь?... Ну, говори: ты не знаешь, кто разбилъ?

— Знаю,—чуть слышно проговорилъ Ваня.

— Кто?

Опять молчаніе.

— Кто разбилъ пепельницу?

Ваня стоялъ смущенный, совсѣмъ низко опустивъ голову, и вертѣлъ пальцами поясъ; лицо его надулось, губы распухли. Но легче было простоять до ночи на одномъ мѣстѣ съ опущенной головой и замиравшимъ сердцемъ, легче было стерпѣть всякое наказаніе, чѣмъ вымолвить въ отвѣтъ роковое слово, и Ваня молчалъ.

Березинъ, наконецъ, разсердился. Сбросивъ съ себя одѣяло, онъ быстро поднялся и сѣлъ на кровати.

— Будешь ты мнѣ отвѣчать? — почти закричалъ онъ. — Кто разбилъ пепельницу?

Губы мальчика дрогнули. Послышалось какое-то тихое, короткое, неясное слово.

— Говори громче!

— Я...—разслышалъ, наконецъ Березинъ смущенный шопотъ.

— Кто же тебѣ позволилъ входить въ кабинетъ?

Ваня продолжалъ вертѣть одной рукой поясъ, а другая рука была опущена, какъ плеть.

— Кто тебѣ позволилъ входить ко мнѣ?

Не поднимая головы, Ваня отвѣтилъ смущенно и тихо:

— Никто...

— Такъ какъ же ты смѣлъ?

— Никакъ...

Отвѣты были настолько прямы и наивны, что Александру Ильичу стало смѣшно, но мальчикъ стоялъ передъ нимъ въ прежней позѣ, попрежнему смущенный, въ ожиданіи строгаго наказанія.

— Ну, такъ ступай въ уголъ!

Ваня повернулся и покорно пошелъ, все еще не поднимая головы и попрежнему надувши губы. Онъ самъ выбралъ мѣсто между двухъ стѣнъ и въ уголъ уткнулся носомъ, не произнеся ни одного слова.

Прошла минута. Березинъ наблюдалъ за нимъ съ веселымъ любопытствомъ и вспоминалъ, какъ, бывало, такъ же наказывали его самого и какъ въ то время это казалось ему обиднымъ и горькимъ.

— Ваня!—окликнулъ онъ, наконецъ. —Поди сюда.

Тотъ подошелъ не спѣша, съ сердитымъ и виноватымъ лицомъ, и остановился, на шагъ не дойдя до Березина.

— Я тебѣ говорилъ, чтобъ безъ меня сюда не ходить...—началъ было онъ, но вдругъ вспомнилъ отвѣты ребенка, которые его насмѣшили, и ему снова захотѣлось повторить ихъ.

— Какъ же ты смѣлъ входить?

— Никакъ...

— То-то!.. Въ другой разъ буду наказывать.

— Милый дядя, прости, больше никогда не буду,— тихо, все еще надувшись, точно сердясь на Березина, проговорилъ Ваня, очевидно, затверженную фразу, безъ всякаго сокрушенія, безъ всякаго смысла.

— Ну, Богъ съ тобой. Только чтобъ впередъ этого больше не было.

Ваня потянулся къ нему для поцѣлуя, все еще хмурясь; но какъ только они поцѣловались и, стало-быть, разочлись, лицо Вани мгновенно оживилось, точно ничего между ними и не было, ни ссоры, ни счетовъ, и онъ, засмѣявшись, проговорилъ сейчасъ же обычнымъ веселымъ голосомъ:

— Проспалъ, дядя Саша! Давно пора вставать, а то Сидоръ тебѣ кофею не дастъ. Вставай!

Березинъ потянулся, зѣвнулъ и началъ одѣваться.

— Ты помнишь маму?—обратился онъ къ мальчику.—Какая она?

— Высокая!—отвѣчалъ Ваня, стараясь поднять какъ можно выше руки.—А на пальцѣ кольцо, которымъ она мнѣ вотъ здѣсь оцарапала,—и Ваня показалъ себѣ на щеку.

— А папу помнишь?

— Папу? Помню. Онъ съ бородой и все смѣется. А когда я шалилъ за обѣдомъ, онъ стучалъ по столу ножомъ, а мама его бранила.

Подойдя къ зеркалу, Березинъ началъ повязывать галстукъ.

— Ты ихъ любишь, Ванюша?—спросилъ онъ.

— Маму люблю, а папу нѣтъ.

— Почему?.. Надо любить одинаково. Можетъ быть, ты и меня не любишь?

— Нѣтъ, тебя я люблю, дядя Саша. Ты вѣдь мнѣ родной, и мама мнѣ тоже родная, а папа...

Березинъ быстро оглянулся и сердито посмотрѣлъ на ребенка, какъ бы собираясь сказать:

„Это еще, что за новости! Какъ ты смѣешь!“ Но Ваня продолжалъ:

— Мама намъ всегда была родная, а папа былъ чужой, а когда онъ женился на мамѣ, то сталъ и онъ родной.

Александръ Ильичъ только пожалъ плечами.

— Откуда ты берешь такой вздоръ?—ужаснулся онъ.—Кто это тебѣ наговорилъ?

— Няня такъ говоритъ.

Березинъ зналъ, что нянька не любила Култаева, зналъ, что она была противъ него, но для чего же посвящать дѣтей во всякія дрязги?.. Ему было непонятно, и онъ проворчалъ:

— Вотъ я ее, старую дуру!

Неосторожное слово, сорвавшееся съ языка, Ваня замѣтилъ, и оно показалось ему настолько забавнымъ, что, убѣжавъ въ дѣтскую, онъ прежде всего разсмѣялся и, дергая няньку за платье, плясалъ возлѣ нея и громко повторялъ:

— Старая дура! Старая дура!

— Я тебѣ дамъ, озорникъ!—разсердилась нянька.— Я тебѣ дамъ старую дуру!

И, ухвативъ его лѣвой рукой за спину рубашки, правой отхлопала такъ, что Ваня заплакалъ.

— Безстыдникъ этакій! Весь въ отца!

И мальчикъ плакалъ, не понимая, за что его били: за то ли, что онъ громко смѣялся и кричалъ „старая дура“, или за то, что плясалъ и ухватился за платье.

VII.

„Любезный братъ!“ такъ начиналось письмо, которое Березинъ получилъ изъ-за границы какъ разъ въ первый день Великаго поста.—„Я тебѣ очень благодарна, хотя ты и сомнѣваешься, что во мнѣ осталась

хоть капля человѣческаго чувства. Я благодарна тебѣ за дѣтей и хвалю тебя, потому что при твоемъ образѣ жизни это подвигъ; но мнѣ досадно, что Кириллъ Ивановичъ, этотъ жалкій и мелкій человѣкъ, увѣрилъ тебя, будто Иванъ и Людмила не его дѣти. Я такъ презираю этого лгунишку и лицемѣра, что была бы рада, если бы онъ былъ правъ, а теперь меня возмущаетъ, что отецъ ихъ—Кириллъ Ивановичъ! Я такъ его ненавижу и такъ презираю, и такъ онъ мнѣ противенъ и гадокъ, что даже наши дѣти стали мнѣ чужими, только потому, что они—его. Въ этомъ не я виновата. До сихъ поръ меня всетаки тревожила совѣсть, я боялась, что дѣти попадутъ въ дурныя руки, а за тебя я спокойна, и совѣсть моя чиста".

„Дѣйствительно... чиста!" съ досадой подумалъ Березинъ и продолжалъ читать.

„Что касается меня, я вполнѣ счастлива. Со всѣмъ прежнимъ я порвала всякую связь и теперь точно переродилась. Содрагаюсь отъ омерзѣнія, когда вспоминаю Кирилла Ивановича, который, кромѣ бильярда, вина и самообожанія ничего не зналъ! Я начала теперь совсѣмъ новую жизнь, отдѣлила себя отъ всѣхъ людей (кромѣ одного), и мои будущія дѣти, изъ которыхъ первый скоро увидитъ свѣтъ"...

Березинъ остановился и, еще не вѣря глазамъ, перечиталъ: „мои будущія дѣти, изъ которыхъ первый скоро увидитъ свѣтъ"...

— Да что-жъ это такое!—воскликнулъ онъ и взволнованно зашагалъ по кабинету, не дочитавъ письма. Онъ вдругъ почувствовалъ себя чужимъ для всѣхъ и безнадежно одинокимъ. Тузовъ, Керчинъ, Мюллеръ, его ближайшіе друзья и собутыльники, хороши и милы, когда хорошо на душѣ, но чуть стрясется бѣда, и не къ кому изъ нихъ пойти за добрымъ словомъ, а если пойти, такъ что они скажутъ? Выслушаютъ и, изъ сочувствія, обругаютъ сестру, а ему дадутъ коньяку, и

увезутъ за городъ. Не этого хотѣлось теперь Александру Ильичу, и онъ даже самъ не зналъ, чего ему хотѣлось.

Подъ тѣмъ же настроеніемъ обиды и одиночества, съ тою же горечью, онъ подъѣзжалъ вскорѣ къ квартирѣ Ольги Николаевны. Все ему казалось непріятнымъ и ненормальнымъ; даже въ воздухѣ было что-то особенное, что-то грустное и печальное; звонили къ великопостной вечернѣ, и колоколъ звучалъ жидко, вяло, тоскливо...

Увидѣвъ его, Ольга Николаевна удивилась.

— Что съ вами? — сказала она. — И поста на васъ нѣтъ!

Она была въ темной юбкѣ и темной домашней кофточкѣ, съ пуховымъ бѣлымъ платкомъ на плечахъ; волосы, только что вымытые и влажные, были распущены, какъ у русалки, на ногахъ были мягкія туфли и шаги ея дѣлались отъ этого неслышными.

— Я на десять минутъ—сказалъ Березинъ, чувствуя, что, несмотря ни на какія отношенія, было не время гостямъ.

— Ты разстроенъ?.. Что-нибудь случилось?—слегка встревожилась Ольга Николаевна, трогая его за плечо и стараясь заглянуть въ глаза, но Березинъ отвернулся и грубо проговорилъ:

— Ничего.

Тогда она насильно взяла его подъ руку и повела въ будуаръ. Они молча сѣли на мягкій низенькій диванчикъ, который сдѣлался подъ ними еще ниже, и поглядѣли другъ другу въ глаза.

— Что съ тобой?—снова спросила хозяйка.

Онъ опять отвернулся и забарабанилъ пальцами по дивану.

Ольга Николаевна пожала плечами.

— Не понимаю,—сказала она.

Тогда онъ сообщилъ ей новость. Онъ началъ мѣр-

нымъ внятнымъ голосомъ; но по мѣрѣ того, какъ разсказывалъ, все болѣе и болѣе горячился и, наконецъ, ударивъ себя ладонью по колѣнамъ, почти крикнулъ:

— Чортъ знаетъ, на что похоже! Убѣжать... Все бросить... Новыя дѣти... новый мужчина... И все это исподтишка!

Онъ ожидалъ совѣта или сочувствія, но Ольга Николаевна сидѣла нѣсколько времени молча, закрывшись рукой и гладя лобъ, точно обдумывала что-то. Потомъ она быстро взяла его за руку и спросила:

— А я? Развѣ не такая же? Значитъ, ты и меня презираешь?

— Ты не такая, — смущенно отвѣтилъ Александръ Ильичъ.

И онъ и Ольга Николаевна сидѣли молча нѣсколько минутъ; всякій думалъ о себѣ.

— Хочешь обѣдать? — вдругъ спросила хозяйка, словно нарочно отгоняя отъ себя прежнія мысли.

Березинъ нехотя всталъ и равнодушно проговорилъ:

— Пожалуй...

Подойдя къ столу, Александръ Ильичъ выпилъ водки и закусилъ рѣдькой, намоченной въ уксусѣ. Затѣмъ подали гороховый супъ, жареный картофель съ грибами и гречневую кашу съ вишневымъ разсоломъ; все было невкусно и постно. Разговоръ не вязался.

Послѣ обѣда Ольга Николаевна подошла къ піанино и, глядя на Березина, взяла нѣсколько аккордовъ, потомъ тихонько запѣла:

„Помощникъ и Покровитель
Бысть мнѣ во спасеніе.
Се мой Богъ и прославлю его“...

— Какъ хорошо! — добавила она сейчасъ же. — Я люблю меѳимоны!

И она повторила тотъ же мотивъ, только не пѣла. Грустные, полные, тягучіе звуки раздавались и зати-

хали; отъ нихъ вѣяло скорбью и покаяніемъ, точно чья-то живая душа изнывала и томилась,—и Березинъ заслушался. На минуту ему вспомнилась его юность и вмѣстѣ сестра, въ то время еще подростокъ, хорошенькая бѣлокурая дѣвочка, — и подъ звуки этихъ грустныхъ аккордовъ казалось возможнымъ воротить хорошее старое время... О, если-бъ оно вернулось! И Березинъ думалъ, что если бъ оно вернулось, то онъ переиначилъ бы всю свою жизнь, потому что такъ жить, какъ онъ живетъ, глупо, тяжело и безсовѣстно!

Ольга Николаевна встала, закрыла піанино и начала поправлять свои распущенные волосы; при этомъ она трясла головой, запрокинувъ ее немного назадъ. Березинъ внимательно и спокойно глядѣлъ на нее, потомъ сказалъ:

— Знаешь, что, Леля! Я съ тобой три года знакомъ, а право относился къ тебѣ, какъ свинья... А вѣдь ты хорошій человѣкъ!

— Нѣтъ, Саша,—вздохнула она.—Если-бъ ты зналъ, какой я дурной человѣкъ!..

Она снова вздохнула, потомъ засмѣялась, потомъ задумалась.

Вечеромъ, когда Березинъ уѣхалъ, и Ольга Николаевна осталась одна, сама съ собой, ей захотѣлось чѣмъ-нибудь заняться, но мысли ея разстроились, и всякое дѣло валилось изъ рукъ. Она велѣла зажечь въ будуарѣ фонарь, а сама сѣла на кушетку и среди голубого полусвѣта, среди тишины и одиночества, отдалась томившимъ ее думамъ.

Ей вспомнилось время, когда она была замужемъ,— смутное, странное и безрадостное время. Прямо изъ института, гдѣ строго и тщательно скрывалось отъ нея все, что готовила ей сама жизнь, она пошла подъ вѣнецъ, и теперь, когда жизнь во всей своей наготѣ стояла передъ ней лицомъ къ лицу, Ольга Николаевна понимала, что мужу ея предстояла печальная задача:

развратить неопытную дѣвочку. И на законномъ основаніи онъ развратилъ ее и былъ правъ! Все это было такъ ново и такъ смѣшно, и такъ стыдно, что она сбилась съ толку и черезъ годъ влюбилась уже въ другого, а еще черезъ годъ ей захотѣлось свободы, страсти, счастья, и она уже измѣняла мужу... Какія это были мучительныя, но счастливыя мгновенія!.. Потомъ пошли ссоры, нелады, возникло къ мужу гадливое чувство, а у него закипѣла ревность и тоже, мало-по-малу, перешла въ гадливое чувство. Изо дня въ день, изъ года въ годъ это обоюдное чувство росло и разрѣшилось, наконецъ, семейной грозою—разводомъ.

Теперь мужъ ея умеръ, и она давно не питаетъ къ нему ни злобы ни отвращенія, даже жалѣетъ его и считаетъ во всемъ виноватой себя.

Ольга Николаевна вздохнула и, закрывъ рукою глаза, вспоминала, какъ вслѣдъ за разводомъ появились у нея ловкіе красивые мужчины; начались балы, маскарады, поѣздки за городъ, гдѣ пѣли цыгане свои раздражающіе томительные романсы, и тутъ же рѣкой лилось вино; было шумно, весело, и точно сонъ, точно волшебный калейдоскопъ, все кружилось, пылало пестрыми огнями, пьянило и восхищало, и некогда было отдохнуть отъ восторговъ и прелести жизни.

Но и это прошло.

Появились новые герои: старый генералъ, Березинъ, Мюллеръ, и мало ли было этихъ новыхъ знакомыхъ, которые кормили ужинами, возили въ маскарады и провожали подъ утро домой. Было ли съ ними весело, или гнала ее въ ихъ общество старая привычка, Ольга Николаевна не умѣла рѣшить; знала она только одно, что безъ нихъ она умерла бы со скуки. И она ѣздила въ клубъ и за городъ и въ театры, то съ тѣмъ, то съ другимъ, то со всѣми вмѣстѣ, и никто изъ нихъ не претендовалъ на нее всецѣло.

И вотъ сидитъ теперь она дома одна, не смѣя по-

казаться ни въ одномъ семействѣ. Ея чуждаются, ее презираютъ, о ней даже не говорятъ. Что же изъ нея стало?.. Что она такое? Куда привела ее веселая жизнь? Что у нея впереди?

Ольга Николаевна представляла себѣ, какъ она состарится и умретъ, и ей было больно и жутко чувствовать себя одинокой.

А генералъ? а Мюллеръ? а всѣ другіе? Развѣ они не такъ же весело и постыдно провели свою жизнь, развѣ они не такъ же, какъ она, одиноки?.. И Ольга Николаевна знала, что они вовсе не одиноки: для нихъ открытъ любой домъ, ихъ познакомятъ съ любой дѣвушкой, позволятъ приласкать любого ребенка, между тѣмъ какъ ей ничто изъ этого недоступно. И ей было не совѣстно, не жалко, но—страшно. Она съежилась на своей кушеткѣ, точно отъ холода, и глядѣла на голубой фонарь, который освѣщалъ комнату блѣднымъ мягкимъ свѣтомъ, похожимъ на лунный свѣтъ; только не было въ немъ той жизни и прелести, какъ въ лунѣ, и было обидно, что нѣтъ настоящей луны, нѣтъ настоящаго зеленаго сада, нѣтъ прежней молодости, чистыхъ дѣвичьихъ думъ, и теперешняя жизнь казалась Ольгѣ Николаевнѣ такой же тусклой и мертвой, какимъ ей казался ея фонарь.

— Э, какой вздоръ! — разсердилась она вдругъ на самое себя и быстро поднялась съ кушетки.

Потомъ она подошла къ піанино, зажгла свѣчи и начала играть сонаты подъ-рядъ одну за другою.

VIII.

Въ именины у Александра Ильича всегда бывалъ „званый вечеръ“, и Сидору захотѣлось непремѣнно въ этотъ день отличиться. Ему было извѣстно, что въ хорошихъ домахъ къ именинамъ старшихъ дѣти учатъ стихи, и онъ затаилъ въ себѣ эту мысль—угодить ба-

рину, только не зналъ, откуда достать такіе стихи. Однажды, ночью, когда ему не спалось, онъ вспомнилъ, что въ сосѣднемъ трактирѣ на прошлой масляницѣ половые подавали картинки со стихами. Приказчикъ былъ ему знакомъ, и онъ отправился къ нему за совѣтомъ. Дѣло рѣшили въ два слова. Гдѣ-то имѣлся такой человѣкъ, который за полтинникъ напишетъ что угодно, и, дѣйствительно, черезъ два дня стихи были готовы—маленькіе, глупые, но какъ разъ приноровленные къ Березину, гдѣ восхвалялся дядя, пріютившій сиротъ, которыя поздравляютъ его съ днемъ ангела.

— Ну, Ваня, теперь учи!—таинственно сказалъ Сидоръ, чрезвычайно довольный своей выдумкой.—Только ни-ни! до именинъ, смотри, не проболтайся!

Нянька тоже была въ восторгѣ, и Сидоръ приступилъ къ дѣлу. Ваня быстро выучилъ то, что ему читали по запискѣ, и даже Людмила запомнила двѣ послѣднія строчки и, картавя, распѣвала ихъ на всѣ комнаты:

„Честь имѣемъ васъ поздравить
Со днемъ вашихъ именинъ!..“

Кромѣ того, Сидоръ, зная, что баринъ любитъ зернистую икру съ зеленымъ лукомъ, объявилъ Ванѣ:

— Давай-ка лукъ сажать!

Онъ принесъ ящикъ изъ-подъ сигаръ, насыпалъ въ него земли и посадилъ туда четыре луковицы.

— Видишь,—говорилъ онъ Ванѣ,—будемъ мы съ тобой теперь этотъ лукъ поливать изъ лейки, а къ именинамъ выростетъ вотъ какая зелень! Пріѣдутъ гости, съѣдятъ и намъ спасибо скажутъ.

Мальчикъ заинтересовался и весь день поминутно бѣгалъ къ ящику, смотрѣть, какъ выростетъ лукъ. Когда же черезъ нѣсколько дней появилась первая зелень, Ваня закричалъ, захлопалъ въ ладоши и почти не отходилъ отъ окна.

— А цвѣты на немъ будутъ?—спрашивалъ онъ Си-

дора, видя, какъ съ каждымъ днемъ густѣетъ и поднимается зелень.

Сидоръ утвердительно кивалъ головой и успокоивалъ:

— Будутъ; только руками не тронь.

Наконецъ, наступилъ торжественный день. Поутру Александръ Ильичъ ходилъ къ обѣднѣ, а когда вернулся, его встрѣтили дѣти въ парадныхъ костюмахъ. Людмила, протянувъ ручонки, бросилась къ нему въ объятія, бормоча на ходу:

— Съ ангеломъ, милый дядя Саша! Честь имѣемъ васъ поздравить со днемъ вашихъ именинъ!

Если бы не ея поспѣшность и не картавый лепетъ, изъ котораго ничего нельзя было разобрать, то она испортила бы весь эффектъ, высказавъ преждевременно заключительныя строчки имениннаго стихотворенія.

Предвкушая удовольствіе, Сидоръ и нянька стояли поодаль въ ожиданіи и блаженно улыбались, когда къ Березину подошелъ Ваня, нѣсколько смущенный своей неестественной ролью; онъ остановился за шагъ до Березина и, глядя ему въ глаза, началъ произносить стихотвореніе, видимо волнуясь. Какъ оно ни было глупо, но Березинъ слѣдилъ за нимъ улыбаясь, а когда Ваня произнесъ:

„Честь имѣемъ васъ поздравить
Со днемъ вашихъ именинъ“,—

Александръ Ильичъ засмѣялся и поцѣловалъ его.

— Откуда это ты взялъ?—сказалъ онъ, гладя мальчика по головѣ. — Ну, спасибо, Ванюша, молодецъ, братъ!..

Къ четыремъ часамъ стали съѣзжаться гости. Клубскій поваръ пожелалъ отличиться и, имѣя въ виду свое главное начальство — Тузова, состряпалъ обѣдъ точно на экзаменъ. Сидоръ, во фракѣ и бѣлыхъ пер-

чаткахъ, наблюдалъ за столомъ, накрытымъ въ залѣ, и соображалъ, кого куда посадить и съ кого начинать подавать.

Гости были исключительно свои люди, и никакихъ церемоній не было. Когда начали пить водку и закусывать у отдѣльнаго столика, пріѣхала Ольга Николаевна съ Мюллеромъ; увидѣвъ ее, дѣти бросились навстрѣчу, и она насилу отдѣлалась отъ нихъ, чтобы поздороваться съ именинникомъ. Наконецъ, всѣ сѣли за столъ; дѣтей посадили тоже, и они были страшно довольны, что обѣдаютъ съ большими. Къ кушаньямъ подавали мадеру, хересъ и рейнвейнъ, но когда стали пить лафитъ, Ваня, увлеченный общимъ шумомъ и весельемъ, видя, какъ другіе наливаютъ, чокаются и пьютъ, вдругъ закричалъ во весь голосъ:

— Дядя Саша, дай мнѣ, пожалуйста, чернаго вина!

Ольга Николаевна захохотала, за нею засмѣялись и гости.

— Какого тебѣ чернаго?—спросилъ Мюллеръ.

— А вотъ, которое вы пьете.

— Это красное.

— Нѣтъ, черное!—настаивалъ Ваня.

Опять всѣ засмѣялись и стали глядѣть на лафитъ, какъ бы провѣряя, черный онъ или красный, а затѣмъ начали предлагать другъ другу, въ шутку, ужъ не лафитъ, а „черное вино“, пока не подали шампанское. Для именинного тоста налили въ бокалы и дѣтямъ лимонной воды и заставили кричать ура. Ваня кричалъ и пилъ, видимо увлеченный, а нянька стоявшая позади Людмилы, косилась на него неодобрительно и, вздыхая, думала: „Ишь, пострѣлъ, весь въ отца!..“ Затѣмъ подали кофе съ ликерами и сигары. Отхлебывая и похваливая кофе, Керчинъ говорилъ, что приготовлено мастерски, такъ какъ кофе долженъ быть горячъ, какъ адъ, и черенъ, какъ дьяволъ. Замѣчаніе понравилось всѣмъ, особенно Ванѣ, и онъ, не понимая

смысла, громко повторилъ, что кофе горячъ какъ адъ, и черенъ, какъ дьяволъ.

— Безстыдникъ!—тихо огрызнулась на него нянька.—За столомъ чернымъ словомъ бранишься!..

Вечеромъ гости сѣли за карты; Ольга Николаевна тоже сначала играла, но потомъ вышла и занялась дѣтьми, которымъ пѣла подъ рояль пѣсни, учила Ваню играть однимъ пальцемъ „чижика", а потомъ уѣхала домой, захвативъ съ собой для образчика старые дѣтскіе башмаки, чтобы завтра прислать новые и крѣпкіе.

Сидоръ былъ такъ доволенъ всѣмъ: и стихами, и дѣтьми, и Ольгой Николаевной, и всѣми гостями, что разрѣшилъ себѣ выпить. Уже нѣсколько лѣтъ онъ отказывалъ себѣ въ этомъ удовольствіи, а тутъ не утерпѣлъ и въ компаніи съ нянькой осушилъ остатки рябиновой и полную бутылку мадеры. Въ головѣ у него сильно зашумѣло. Къ несчастью, это случилось раньше, чѣмъ слѣдовало, и онъ пожелалъ уложить дѣтей спать; самъ раздѣвалъ Ваню и при этомъ болталъ ему разныя глупости про себя, про барина и про Ольгу Николаевну.

— Она намъ тетя? — спрашивалъ Ваня, ложась въ кроватку.

— Тетя-то тетя,—насилу выговорилъ Сидоръ, такъ какъ языкъ его и безъ того уже заплетался,—только тетя съ другой стороны... да! Какая она вамъ тетя? Просто такъ... барыня! Ну, спи, спи, Господь съ тобой... А то — тетя!.. Этакихъ тетей-то мы съ Александромъ Ильичемъ человѣкъ сто видали, а то и больше... И всѣ онѣ вамъ тети!.. Ну, спи, спи скорѣй... Господь съ тобой, спи.

Въ концѣ вечера Сидоръ поспорилъ съ кухаркой, потомъ поссорился и чуть было не подрался. Самый разгаръ этой сцены, засталъ Березинъ, проходившій въ кабинетъ за сигарами. Взглянувъ на Сидора, онъ понялъ сразу, въ чемъ дѣло, и строго сказалъ:

— Я тебѣ говорилъ: если ты еще разъ напьешься— вонъ отъ меня сію же минуту! Пошелъ спать, болванъ!

Сидоръ, не обращая вниманія на угрозу, прежде всего обидѣлся. Какъ,—думалъ онъ, — въ присутствіи кухарки его называютъ болваномъ?! И кухарка-то нивѣсть какая, и цѣна-то ей грошъ, а баринъ осрамилъ его передъ ней.—Что же это такое?.. Гдѣ же справедливость?.. Самъ же онъ выхлопоталъ эту кухарку у барина, самъ же ее нанималъ, и вдругъ, когда они поссорились, баринъ при всѣхъ называетъ его болваномъ и гонитъ со двора.

Сидоръ даже заплакалъ отъ обиды и пошелъ снимать съ себя фракъ и бѣлыя перчатки, въ доказательство того, что онъ уже болѣе не служитъ у Березина. Потомъ онъ нарядился въ сѣрую куртку, снялъ со стѣны образъ и, завернувъ его въ бумагу, пошелъ къ барину и къ гостямъ прощаться.

— Вонъ отсюда!—топнулъ на него Березинъ, едва увидалъ въ дверяхъ.

И Сидоръ скрылся, не поспѣвъ даже выговорить слова. Послѣ такой обиды онъ рѣшилъ, что не можетъ оставаться здѣсь болѣе ни минуты, и, захвативъ картузъ, пальто да икону, ушелъ по черной лѣстницѣ ночевать къ пріятелю, чтобы поутру перевезти все имущество и навсегда разстаться съ домомъ, гдѣ его не цѣнятъ и обижаютъ.

Когда же на другой день хмель прошелъ и Сидоръ опомнился, то онъ ужаснулся и побѣжалъ домой. Но было поздно: Березинъ шутить не любилъ и всѣ угрозы приводилъ въ исполненіе, поэтому Сидору выданъ былъ паспортъ, расчетъ и строгій приказъ убираться вонъ.

Старикъ повѣсилъ голову, опустилъ руки и побрелъ въ свою бывшую комнату. Тамъ онъ оглядѣлся; всякая мелочь, всякій гвоздикъ были ему знакомы и сдѣлались точно родные. Онъ вздохнулъ и нахмурился. По-

томъ онъ легъ ничкомъ на свою кровать и началъ плакать, утирая слезы подушкой.

— Сидоръ!—закричалъ Ваня, вбѣгая къ нему въ комнату.—Сидоръ!

Тотъ, не отвѣчая и не поднимаясь, продолжалъ всхлипывать.

— Сидоръ! — повторилъ Ваня въ недоумѣніи, но, видя, что онъ не встаетъ, подошелъ ближе и положилъ ему на ноги руку, потомъ взобрался къ нему на спину и легъ сзади него къ стѣнѣ.

— О чемъ ты плачешь?—спрашивалъ онъ, стараясь улечься удобнѣе.—Тебя наказали?

— Наказали... Самъ Господь меня наказалъ,—отвѣтилъ старикъ, смахивая слезы и поворачиваясь на бокъ, лицомъ къ Ванѣ.—Клятву давалъ не пить, анъ лукавый попуталъ,—вотъ и бѣда.

— Какой лукавый?

— А такой, который людей губитъ.

Трясущеюся рукой Сидоръ погладилъ Ваню по стриженой головѣ и сказалъ:

— Жалко мнѣ тебя, голубчика... Ужъ очень ты мальчикъ-то...

Онъ не договорилъ и заплакалъ, снова уткнувшись въ подушку, потомъ сталъ разсказывать, какъ дядя его прогналъ и какъ онъ сейчасъ уйдетъ отсюда въ деревню и тамъ съ горя умретъ.

— Будешь большой, Ванечка, вспоминай про меня... Я тебя любилъ, голубчикъ. А теперь умирать пойду... А къ вамъ придетъ новый человѣкъ, будетъ также съ мебели пыль стирать, дверь отпирать барину, одежду чистить... Вы про Сидора-то всѣ и забудете...

— А ты не ходи,—сказалъ Ваня.

— Радъ бы не ходить, да велятъ уйти—значитъ уйдешь. И некому будетъ тебѣ конфетку купить, некому будетъ сказку сказать...

Сидоръ опять растрогался и опять заплакалъ; сле-

зы струились у него по щекамъ и тонули въ подушкѣ. Онъ обнялъ Ваню одной рукой и, снова перевернувшись ничкомъ, всхлипывалъ и тихонько нылъ, точно ребенокъ.

— Сидоръ... не плачь! — говорилъ Ваня, трогая его волосы.—Сидоръ!.. не плачь!..

— Голубчикъ ты мой!.. Ангельчикъ!.. Родимый мой!.. — причитывалъ Сидоръ, не находя словъ, чтобъ выразить то, что хотѣлось и чѣмъ болѣло теперь его старое сердце.—Прощай Ванечка... Больше никогда не увидимся...

— Сидоръ!.. не ходи!..—сказалъ Ваня, начиная, его жалѣть.

— Былъ Сидоръ, а ушелъ—и нѣтъ Сидора.

— Не ходи!

— Баринъ велѣлъ.

— Не ходи!—капризно настаивалъ мальчикъ и даже толкнулъ Сидора въ бокъ.

— Ничего не подѣлаешь... Въ деревню уйду.

— Не ходи!—разсердился Ваня.

— Дядя метлой прогонитъ... Человѣкъ строгій.

И Сидоръ началъ говорить, какъ Александръ Ильичъ вернется домой, увидитъ, что онъ еще не ушелъ, и разсердится, и велитъ прогнать его палкой, какъ старую собаку... И опять ему стало обидно, опять хлынули слезы, и даже Ваня не удержался: ему тоже было обидно и жалко Сидора.—„Не ходи! Не ходи!“ настаивалъ онъ все усерднѣе, все капризнѣй и плаксивѣй и, наконецъ, бросился также лицомъ въ подушку и заревѣлъ громко, протяжно и горько. И оба они, лежа ничкомъ на одной постели, уткнувшись въ одну подушку, проливали горькія слезы объ одномъ и томъ же, и скорбь ихъ слилась воедино. Они оплакивали свою дружбу, свои интересы, свой маленькій мірокъ, недоступный и непонятный никому другому; обоимъ имъ вспоминался зеленый лукъ въ сигарочномъ ящикѣ и

деревянные солдаты, и было во всемъ этомъ что-то такое, что одинаково трогало старика и младенца, и никакими словами не выразишь, что это была за связь.

Березинъ вернулся рано, вмѣстѣ съ Тузовымъ; отпирала имъ нянька и не умѣла снять ни пальто, какъ слѣдуетъ, ни прибрать калоши. Когда они проходили по коридору, навстрѣчу имъ вышли Сидоръ и Ваня, оба съ красными, заплаканными глазами, оба встревоженные, а Ваня даже всхлипывалъ и все еще держалъ Сидора за фалду.

— Прощайте, Александръ Ильичъ,—поклонился Сидоръ хозяину, а потомъ и Тузову:—прощайте, Дмитрій Павловичъ!

— Не ходи!—закричалъ опять Ваня.—Дядя Саша, не вели ходить! Онъ въ деревню хочетъ уйти, онъ тамъ умретъ!

Но Березинъ, не останавливаясь, прошелъ въ кабинетъ и ничего не отвѣтилъ. Тогда Тузовъ, любившій всѣхъ мирить и все улаживать, обратился къ Сидору:

— Ты что, голюбушка?

Сидоръ покаялся и заплакалъ.

— Ну, вотъ пустяки!—успокоилъ онъ старика.—Это мы сейчасъ сдѣлаемъ.

Дѣйствительно, черезъ пять минутъ изъ кабинета раздался звонокъ и позвали Сидора, а еще черезъ минуту онъ уже вышелъ оттуда радостный и счастливый, смахивая на ходу послѣднія слезы.

— Вотъ, нянюшка,—говорилъ онъ послѣ, указывая въ дѣтской на образъ,—разрази меня Богъ, если хоть каплю вина когда-нибудь выпью!

И Сидоръ призывалъ няньку въ свидѣтели своей клятвы, а Ванѣ онъ купилъ на другой день шоколадный пряникъ.

IX.

Прошелъ уже годъ, какъ дѣти поселились у Александра Ильича. Наступили опять холода и сырость; цѣлыми днями не переставалъ дождь, и въ дѣтской вставили зимнія рамы, за которыя положили вату, мохъ, и поставили гипсовыхъ раскрашенныхъ генераловъ. О такомъ украшеніи годъ тому назадъ Сидоръ не смѣлъ бы и думать, а теперь онъ, улыбаясь, подходилъ къ окнамъ и, указывая на куколъ, говорилъ Ванѣ:—Не замерзъ бы у насъ генералъ-то?

— А мы его назадъ возьмемъ, когда снѣгъ пойдетъ.

— Нѣтъ, ужъ видно, не возьмемъ. Кончено дѣло! Пускай промерзаетъ. Видишь, окно замазано: какъ же его теперь взять оттуда?

Пріятели — Керчинъ, Тузовъ и Мюллеръ, чуждавшіеся вначалѣ дѣтей, мало-по-малу свыклись съ ними и собирались на винтъ по очереди другъ у друга, не минуя Березина. Они являлись обыкновенно въ недѣлю разъ къ Александру Ильичу, садились за чай, а потомъ весь вечеръ играли въ карты, ужинали и расходились. Они уже настолько примирились съ присутствіемъ дѣтей, что даже здороваясь, цѣловали Людмилу, и такъ какъ она была дѣвочка ласковая и всѣхъ называла съ искреннимъ удовольствіемъ „дяденька миленькій“, то и ее стали величать при встрѣчѣ „Лиленька миленькая“; и она и гости были этимъ прозвищемъ очень довольны. Людмила ко всѣмъ ласкалась, ко всѣмъ охотно забиралась на колѣни и всѣхъ знала по именамъ.

— Это кто? — спрашивали иногда ее, указывая на Тузова.

— Дядя Тюсёвъ.

Прислушиваясь къ ея картавому лепету, Тузовъ,

самъ охотникъ картавить, всегда съ радостью подражалъ ей и говорилъ, какъ она: „сябака“, „лосядка“, а Березина не называлъ иначе, какъ „дядя Сяся“.

Иногда, проснувшись по утру, но лѣнясь вставать, Александръ Ильичъ долго лежалъ въ постели и думалъ о томъ странномъ положеніи, въ какое поставила его жизнь. Судьбу человѣка онъ почему-то представлялъ себѣ въ видѣ огромнаго шара, который катится по опредѣленному направленію, и, докатившись благополучно до предѣла, сваливается въ неизвѣстную пропасть и исчезаетъ... Его же судьба была иная и катилась она кое-какъ, какимъ-то надтреснувшимъ и иззубреннымъ шаромъ, безъ всякаго направленія, ковыляя то вправо, то влѣво... Въ сущности, что онъ за человѣкъ? Зла онъ, кажется, никому не сдѣлалъ, но и похвалить себя было не за что. Всѣ эти рестораны, театры и клубы, конечно, нивѣсть какіе подвиги, чтобъ отдавать имъ всю жизнь, но съ другой стороны — кому отъ этого плохо?.. Онъ любитъ вкусно поѣсть, любитъ полную независимость и не сидитъ дома только потому, что скучно; ранѣе онъ думалъ, что ненавидитъ всякую семейную обстановку, особенно дѣтей, но оказалось, что нѣтъ и этого; напротивъ, Людмила и Ваня были ему даже пріятны. Только Ваня все чаще и чаще начиналъ осаждать его своими вопросами, и вопросы эти были уже не такъ наивны, какъ раньше. Очевидно въ мальчикѣ забродило сознаніе и нерѣдко Березинъ смущался, не зная, что отвѣчать. Иногда онъ замѣчалъ, что Ваня стоитъ у окошка, стиснувъ зубами палецъ, и думаетъ о чемъ-то такъ усиленно, что даже не слышитъ чужихъ шаговъ.

— О чемъ задумался?—спрашивалъ онъ его.

— Мнѣ скучно,—отвѣчалъ мальчикъ.

— Чего-жъ тебѣ нужно?

Ваня надувалъ губы, точно обиженный, и разводилъ руками.

— Мамы нѣтъ... папы нѣтъ... Что же они не ѣдутъ?

Березинъ тоже разводилъ руками и сердито вспоминалъ сестру, у которой теперь, можетъ-быть, родился уже новый ребенокъ, и было обидно за себя и за Ваню. Ранѣе мальчикъ никогда не говорилъ о разладѣ между отцомъ и матерью; думали даже, что онъ не понималъ ничего и не замѣчалъ, но теперь онъ каждый день справлялся объ этомъ у дяди, у Сидора, у няньки, и Березинъ видѣлъ, что обманъ и ссоры не прошли безслѣдно для Вани и были замѣчены имъ и глубоко затаились до времени въ его чуткой душѣ.

— А почему папа не любитъ Бориса Матвѣича? — спрашивалъ онъ Березина.

— Какого Бориса Матвѣевича?

— А вотъ который все съ мамой затворялся. Для чего онъ съ ней затворялся?

— Почемъ я знаю! Я тамъ не былъ.

— А для чего папа лампу разбилъ, а Борисъ Матвѣичъ убѣжалъ, а мама плакала? Папа былъ пьянъ? Поэтому?

Слушая его, Березинъ чувствовалъ, что краснѣетъ и сердится.

— Не болтай, чего не понимаешь!—остановилъ онъ Ваню.—Никто лампу не разбивалъ, и пьянъ никто не былъ. Не твое это дѣло, и такихъ глупостей не смѣй говорить.

— Это мама такъ говорила,—возразилъ мальчикъ.— Она все кричала на папу: „вы пьяны, милостивый государь, вы пьяны!“

Эта фраза запомнилась ему, какъ очень смѣшная, и теперь, повторяя ее, онъ улыбался, а Березинъ глядѣлъ на него почти со страхомъ. Онъ уже видѣлъ теперь, что разладъ и семейныя дрязги остались въ памяти ребенка на всю жизнь, что ихъ ничѣмъ не уничтожишь, ничѣмъ не отвратишь; не понималъ онъ только одного—о чемъ Ваня такъ скучаетъ и о чемъ

такъ сильно задумывается; онъ пробовалъ его спрашивать, но отвѣты не объясняли причинъ. Было ясно, что въ Ванѣ начинаетъ складываться начало тѣхъ чувствъ и мыслей, которыя будутъ руководить имъ всю жизнь, и было печально, что это начало основывалось на впечатлѣніяхъ ссоры, обмана и невольнаго сиротства. И за себя ему становилось тоже стыдно. Вообще, Березинъ сталъ чувствовать себя не такимъ, какъ раньше. Въ клубѣ по цѣлымъ ночамъ уже не сидѣлось, но не сидѣлось и дома. Ни тутъ ни тамъ нечего было дѣлать. Пріѣхавъ однажды къ Ольгѣ Николаевнѣ и выпивъ съ нею вина, Александръ Ильичъ взялъ шутя ее за талію и посадилъ къ себѣ на колѣна, чтобы поцѣловать, но ему вдругъ подумалось, что это сидитъ не Ольга Николаевна, а сестра Катя, и что цѣлуетъ ее не онъ, Березинъ, а тотъ, ненавистный ему любовникъ, Борисъ Матвѣевичъ, — и ему сдѣлалось жутко, и непріятно. Онъ самъ не понималъ, что съ нимъ дѣлается. Подходила ли это старость съ ея немощной раздражительностью, или пробуждалась совѣсть, столько лѣтъ дремавшая, или наконецъ, заговорила простая порядочность и призывала къ какому-то общему человѣческому долгу...

X.

Ноябрьскій вечеръ былъ ненастный и холодный, съ рѣзкимъ сѣвернымъ вѣтромъ, который налеталъ порывами на окна, хлесталъ по нимъ дождемъ и опять затихалъ на минуту, потомъ шумѣлъ гдѣ-то подъ крышей и жалобно завывалъ въ отдушникѣ. Нянька кормила дѣтей ужиномъ, а Сидоръ разсказывалъ имъ про бабу-ягу, которая ѣдетъ въ ступѣ и такъ же вотъ, какъ сейчасъ вѣтеръ, шумитъ помеломъ, заметая свой слѣдъ. Ванѣ дѣлалось страшно, а Людмила слушала невнимательно, капризничала и почти ничего не ѣла.

— Что это у тебя глазки словно нехороши?—спросила нянька, трогая рукой ея голову.—И личико раскраснѣлось... Головка не болитъ?

— Нѣтъ,—сказала Людмила, но глаза ея были, дѣйствительно „нехороши“.

— Эна,—погода-то,—замѣтилъ Сидоръ, тоже всматриваясь въ лицо дѣвочки. — Долго ли простудиться? Вы бы ее, нянюшка, чѣмъ-нибудь попоили на ночь тепленькимъ.

Людмилу стали разспрашивать; оказалось, ей холодно и хочется спать.

— Пойдемъ, моя милая, — уговаривала ее нянька, беря со стула къ себѣ на руки.—Пойдемъ, моя радость. Помолимся Боженькѣ, да малинки попьемъ, вотъ и будемъ опять здоровы. Пойдемъ, красавица.

Дѣвочка склонила нянькѣ на грудь свою утомленную головку и, глядя отяжелѣвшими глазами на Сидора и на Ваню, сказала имъ „покойной ночи“.

— Спи, голубушка,—отвѣтилъ Сидоръ,—Господь съ тобой.

Въ дѣтской ее напоили сушеной малиной и вытерли уксусомъ съ водкой.

— Горлышко больно, — жаловалась Людмила, лежа уже въ постели.

Нянька обвязала ей шею платкомъ, дала попить крещенской воды и укутала въ теплое одѣяло. Вскорѣ Людмила забылась. Но среди ночи, когда всѣ уже спали, няньку разбудилъ крикъ. Она встала и подошла къ кроваткѣ. Дѣвочка плакала и металась, сбрасывая съ себя платки и одѣяло; потъ градомъ струился у нея по лицу, бѣлье прилипло къ тѣлу, и Людмила сквозь слезы повторяла только одно:

— Жарко!.. жарко!..

— Нельзя, Лиленька,—уговаривала нянька, стараясь ее снова укрыть. — Ты вотъ такъ положи головку, а ручки спрячь, а я тебѣ буду пѣсенку пѣть...

И старуха запѣла тихимъ, безстрастнымъ, почти соннымъ голосомъ, наклонясь надъ постелью, но Людмила чрезъ минуту опять раскидывалась и опять плакала, тихо и жалобно, точно ныла.

— Горлышко больно...

— Гдѣ больно? Покажи, моя радость, покажи ручкой.

— Больно слюнку глотать...

Проходила минута раздумья, потомъ начиналась опять тихая, скучная пѣсенка, и дѣвочка забывалась. Но не успѣвала нянька отойти отъ постели, какъ Людмила опять раскрывала глаза, ныла и плакала.

— Ишь, неугомонная! Спи, я тебѣ говорю! — шепотомъ приказывала старуха, надѣясь успокоить ребенка не лаской, такъ страхомъ.—Спи, а то Ваню разбудишь!

Когда дѣвочка снова забылась, она пошла пошептаться съ Сидоромъ, который дремалъ въ ожиданіи барина. Вмѣстѣ они обсудили дѣло и рѣшили, что завтра нужно сказать Александру Ильичу, а пока привязать къ горлу суконку съ горчицей и саломъ. Пока они хлопотали и готовили эту суконку, пока посыпали ее горчицей, капали на нее съ сальной свѣчи,—вернулся Березинъ. Они доложили ему о болѣзни, и онъ сильно встревожился, потому что въ клубѣ только сейчасъ бесѣдовалъ о дифтеритѣ съ знакомымъ докторомъ. „Ужъ не дифтеритъ ли?“ ужаснулся онъ, и вмѣстѣ съ Сидоромъ и нянькой направился въ дѣтскую.

При ихъ появленіи Людмила проснулась.

Березинъ наклонился надъ нею, пощупалъ ей лобъ, поглядѣлъ въ лицо и спросилъ, гдѣ ей больно.

— Горлышко больно,—твердила та.

— За докторомъ!—взволнованно и строго обратился Александръ Ильичъ къ Сидору. — Попроси Шпура... Знаешь, гдѣ живетъ? Привези съ собой, а нѣтъ его, такъ привези Максина. Живо!

Былъ уже третій часъ ночи, а Сидоръ не возвращался. Александръ Ильичъ, смущенный болѣзнью,

легъ у себя на диванѣ, чтобъ подождать доктора, но вскорѣ уснулъ съ газетой въ рукахъ, гдѣ онъ вычиталъ свѣдѣніе о свирѣпствовавшемъ въ этомъ мѣсяцѣ дифтеритѣ.

Сидоръ ѣздилъ къ Шпуру, но не засталъ, ѣздилъ къ Максину, тоже не засталъ, и, наконецъ, привезъ перваго попавшагося врача. Это былъ высокій старикъ съ сѣдымъ ободкомъ вокругъ плѣши, въ толстыхъ золотыхъ очкахъ и въ длинномъ черномъ сюртукѣ. Видно было, что онъ не выспался и не очень доволенъ визитомъ.

— Будьте любезны, докторъ,—указалъ Березинъ на дѣтскую.—Прошу васъ.

Александра Ильича самого только что разбудили; глаза его слипались и было больно глядѣть на свѣчку. Когда вошли въ дѣтскую, Ваня проснулся и, привставши въ кровати, испуганно, украдкой глядѣлъ на доктора, который неспѣша снялъ очки, протеръ ихъ платкомъ и опять надѣлъ, потомъ подошелъ къ Людмилѣ.

— Гмъ... гмъ... — мычалъ онъ, слушая докладъ няньки.—Какъ было дѣло, скажите.

— Напоила я ее малиной,—отвѣчала старуха, а къ горлышку сукно привязала, потомъ святой водички дала попить...

— Гмъ... Да какъ началось-то? Когда? Вечеромъ или днемъ?

— Вечеромъ, батюшка. Кормила я ихъ ужиномъ...

— Гмъ...—сказалъ докторъ и махнулъ нянькѣ рукой, чтобъ замолчала.

Людмилу вынули изъ кроватки; она плакала и не давалась. Березинъ съ трепетомъ и съ страхомъ ожидалъ приговора, а Ваня съ интересомъ подсматривалъ, но боялся, чтобы его не замѣтили.

— Гмъ...—таинственно мычалъ докторъ, прикладывая руку къ головѣ дѣвочки.—Есть жарокъ...—Потомъ онъ

прислушался къ ея дыханію и кратко объявилъ:—Хрипитъ!

Затѣмъ, взявши ложку и свѣчку, началъ осматривать горло, щуря одинъ глазъ и стараясь проникнуть взглядомъ поглубже.

Людмила билась въ рукахъ у няньки, вертѣла головой и кричала.

— Краснота, — заявилъ докторъ, передавая Березину свѣчку и ложку и вытирая пальцы о конецъ простыни, свѣсившейся съ кроватки.

Всѣ стояли и глядѣли на него, ожидая рѣшенія, а онъ, нахмурясь, заложивъ руки въ карманы брюкъ и растопыривъ ноги, стоялъ молча, лишь нѣсколько разъ повторилъ: „гмъ!.. гмъ"!..

— Серьезнаго ничего нѣтъ, — наконецъ вымолвилъ докторъ и точно свалилъ у Березина съ плечъ цѣлую гору.

— Все-таки, что съ ней? Не дифтеритъ?

— Нѣтъ. Признаковъ никакихъ. Гмъ... у нея жаба.

— Это опасно?

— Нѣтъ, нужно только беречь. А это у васъ что тамъ такое? Еще ребенокъ?

Ваня скорѣе нырнулъ подъ одѣяло и накрылся съ головой.

— Нужно его выселить, — продолжалъ докторъ. — Перенесите сейчасъ же въ другую комнату, и пусть не сообщаются.

Рецептъ онъ писалъ въ кабинетѣ, а Ваню тѣмъ временемъ вмѣстѣ съ кроватью перенесли въ залу.

— Вотъ вамъ кисленькая микстурка, — говорилъ докторъ, махая передъ нянькой рецептомъ. — Давайте черезъ часъ чайную ложку... Гмъ... На горло согрѣвающій компрессъ и полоскать бертолетовой солью. Знаете, какъ дѣлать?

— Слава Богу, не въ первый разъ въ жизни!—проворчала нянька.

— Гмъ...—больше ничего.

Доктора пригласили еще разъ на завтра, поблагодарили за вниманіе и, наконецъ, въ четыре часа утра всѣ успокоились.

На другой день Березинъ проснулся поздно и, не вставая съ постели, позвонилъ Сидору.

— Что тамъ дѣлается?—спросилъ онъ, намекая на дѣтскую.

— Шейка опухла, — отвѣчалъ Сидоръ,—а жару поменьше.

Березинъ всталъ, одѣлся и, не пивши кофе, пошелъ провѣдать. Въ дѣтской онъ засталъ безпорядокъ; комодъ стоялъ съ выдвинутымъ ящикомъ, на столѣ виднѣлись аптекарскіе пузырьки рядомъ съ грудой тряпокъ, и среди этого безпорядка зловѣщимъ пятномъ глядѣло пустое мѣсто, оставшееся отъ Ваниной кровати; нянька сидя дремала, сложивъ на колѣнахъ руки; волосы ея были растрепаны, платокъ съ головы свалился. При входѣ Березина она медленно открыла глаза и, не вставая, начала оправлять голову.

— Ну что? Получше? — тихо спросилъ Александръ Ильичъ.

— Всю ночь горѣла,—отвѣтила нянька, говоря про жаръ.—Теперь легче, только шейка распухла.

Оба они подошли осторожно къ кроваткѣ. Людмила лежала на спинѣ съ завязаннымъ горломъ и трудно дышала, разинувъ ротъ; лицо ея было красно, глаза утомлены и мутны.

— Здравствуй, Лиленька! — сказалъ Александръ Ильичъ, наклоняясь къ дѣвочкѣ.

Она не спала; но либо она не узнала дядю, либо не могла улыбнуться, и глядѣла на него съ такимъ усталымъ и безразличнымъ выраженіемъ, что Березинъ смутился.

— Она въ памяти?

— Кто жъ ее знаетъ.

Еще нѣсколько секундъ Березинъ глядѣлъ, какъ она поднимала и опускала отяжелѣвшія вѣки, и слушалъ, какъ она дышитъ. Потомъ онъ вышелъ изъ дѣтской съ горькимъ чувствомъ, даже страхомъ, и сейчасъ же велѣлъ Сидору ѣхать къ Шпуру, который былъ опытный врачъ и, кромѣ того, пріятель.

Часа черезъ два пріѣхалъ Шпуръ.

— Что у васъ тутъ? — обратился онъ прямо къ Березину.—Ребенокъ больной? Давайте-ка мы его сейчасъ починимъ.

Онъ весело потеръ руки, какъ бы согрѣвая ихъ послѣ холода, и весело направился въ дѣтскую, приговаривая:

— Чего онъ васъ всѣхъ тревожитъ? Мы его сейчасъ за это послушаемъ да постукаемъ! Это твой братишка, что ли, хвораетъ? — спросилъ докторъ, трогая на ходу Ваню за голову и проведя ему пальцемъ противъ волосъ.

— Это Лиля,—сказалъ тотъ.

— Лиля? Ну, Лилю будемъ чинить!

За цѣлыя сутки это былъ первый человѣкъ, который говорилъ весело, и шутливый тонъ его сразу оживилъ общее настроеніе. Подойдя къ Людмилѣ, Шпуръ внимательно поглядѣлъ въ ея лицо, пощупалъ голову, потрогалъ опухоль и, надавивъ ложкой языкъ, заглянулъ въ горло. Потомъ онъ выслушалъ ея дыханіе, спросилъ, много ли и какъ она кашляетъ, и велѣлъ положить обратно въ постель. Березинъ все время слѣдилъ за Шпуромъ, и тревожное чувство не покидало его.

— Ну, что?—спросилъ онъ, когда докторъ вымылъ руки и вышелъ съ нимъ вмѣстѣ въ залу.

— Скверно, голубчикъ, — отвѣчалъ Шпуръ: — никакого сомнѣнія: дифтеритъ.

Послѣднее слово точно ножомъ рѣзнуло Березина по сердцу. Онъ вздрогнулъ.

— Надо взглянуть мальчугана,—продолжалъ докторъ.—Поди-ка сюда, молодой человѣкъ!

У Вани онъ тоже ощупывалъ шею и голову, поглядѣлъ въ горло и заявилъ:

— Ничего. Этотъ здоровъ, только нужно его немедленно вонъ отсюда; если можно, совсѣмъ вонъ, на другую квартиру, а то этотъ мелкій народъ любопытенъ, сквозь щелку пролѣзетъ, и не замѣтишь. Сейчасъ же вонъ! Сію же минуту!

Березинъ встревожился и велѣлъ Сидору отвезти мальчика къ Ольгѣ Николаевнѣ.

— Сначала только надушить его надо,—замѣтилъ Шпуръ и приказалъ Ваню и всю одежду его опрыскать карболкой.

Пока писались рецепты, Ваню одѣли и увезли. Все это случилось такъ быстро и как-какъ, вперемежку со страхомъ, что Березинъ совсѣмъ потерялся. Въ поспѣшности все было раскидано: одежда, игрушки, которыя Ваня хотѣлъ было взять съ собой, но у него ихъ отняли, Ванина кровать, стоявшая въ залѣ, Ванинъ башлыкъ, позабытый Сидоромъ, и на столѣ у Березина лоскуты бумаги, нарѣзанной Шпуромъ,—все составляло одну общую картину разгрома и налетѣвшей бѣды.

Подробно разсказавъ нянькѣ, какъ должно употреблять лѣкарства, какъ производить дезинфекцію и какъ прижигать горло, Шпуръ для примѣра надѣлъ на спичку кусокъ ваты и показалъ нянькѣ.

— Вотъ какъ нужно. Понимаете?

Потомъ онъ уѣхалъ, обѣщавъ навѣстить завтра.

— Все-таки это очень опасно? — допытывался Александръ Ильичъ.

— Конечно, опасно. Но будемъ стараться, — отвѣчалъ Шпуръ.—Главное съ мальчикомъ никакихъ сообщеній, и сами туда не ѣздите.

По отъѣздѣ Шпура, Березинъ остался въ полномъ

недоумѣніи. Угрюмый вернулся онъ къ себѣ въ кабинетъ, прибралъ бумагу, закрылъ чернильницу и началъ шагать изъ угла въ уголъ. О чемъ онъ думалъ, о чемъ безпокоился и что чувствовалъ, онъ не сумѣлъ бы дать отчета, но ему было тяжело и больно. Едва до слуха его доносился дѣтскій плачъ или хриплый кашель, какъ онъ останавливался и старался прислушаться; сердце его сжималось отъ опасенія и тоски; ему дѣлалось жутко.

Послѣ обѣда пріѣхалъ старый докторъ.

— Гмъ...—сказалъ онъ, поглядѣвъ на дѣвочку.— Болѣзнь осложняется...

— Да у нея дифтеритъ!—съ досадой проговорилъ Березинъ.—Вчера вы не разобрали.

— Вчера было неясно, болѣзнь не опредѣлилась. Сейчасъ—да, дифтеритъ. Желтый налетъ и... гмъ!.. Дѣло серьезное.

Это серьезное дѣло начинало Александра Ильича мучить. Дѣвочка, лежа въ полузабытьи, не пила, не ѣла, только гнусаво плакала. Безпомощенъ и жалокъ былъ этотъ слабый стонъ. Вокругъ пахло уксусомъ и карболкой, стояла вездѣ зловѣщая тишина, всѣ ходили на цыпочкахъ, разговаривали шепотомъ,—и вдругъ среди этого тягостнаго затишья раздавались хриплые, слабые звуки и слышался затѣмъ мучительный кашель.

Никогда Березинъ не думалъ, что можетъ бояться, даже дрожать за дѣтей, а теперь онъ именно дрожалъ. Его пугалъ всякій звукъ, и всякую минуту онъ ожидалъ, что дверь отворится и придутъ сказать, что Людмила умерла. Онъ нигдѣ не находилъ себѣ мѣста. Иногда онъ подходилъ къ кроваткѣ, прислушивался къ тяжелому трудному дыханію, которое точно выдавливалось изъ дѣтской груди и вылетало свистя. Онъ видѣлъ, какъ ребенокъ страдаетъ, какъ страшно мучится. Но чѣмъ ему помочь? Что сдѣлать, какъ его спасти? Онъ не зналъ этого и готовъ былъ бы самъ

заболѣть и мучиться, чтобы только облегчить Людмилу.

Въ продолженіе всего вечера можно было видѣть Александра Ильича стоявшимъ у окошка и глядѣвшимъ на уличные фонари, или бродившимъ по залѣ, или склонившимся въ кабинетѣ надъ пустымъ столомъ. Его грызла тоска, обуревалъ страхъ, и онъ никогда не чувствовалъ себя такимъ несчастнымъ и ничтожнымъ, какъ въ эти минуты.

XI.

Ваня расположился на новой квартирѣ очень удобно. Ольга Николаевна была ему безконечно рада, но боялась за дѣвочку, и радость ея мѣшалась съ тревогой.

Купили новыхъ игрушекъ, книжекъ съ картинками, и весь день прошелъ въ забавахъ и разговорахъ, а на ночь Ольга Николаевна положила Ваню у себя въ спальной. Ей казалось, что вернулось къ ней прежнее счастливое время, что она такая же женщина, такая же мать, какъ другія, что никто не смѣетъ отрицать въ ней это право на чувство и никто не смѣетъ сказать, что она развратна и нетерпима. Въ эти минуты она любила Ваню, какъ родного сына, называла его мысленно нѣжными именами, и ей хотѣлось встать, разбудить и приласкать его. И при мягкомъ свѣтѣ лампады, не зажигая свѣчи, она вставала босыми ногами на коверъ, подходила къ Ванѣ и наклонялась надъ нимъ; сорочка сползала съ ея нагого плеча, по тѣлу пробѣгала дрожь, но Ольга Николаевна глядѣла на дѣтское личико, чуть озаренное мерцающимъ свѣтомъ, улыбалась и не чувствовала ничего кромѣ радости, такой же тихой и теплой, какимъ казался ей свѣтъ лампады...

Чего-чего не отдала бы она за такую радость, чтобъ

эта радость была *своя!* Сейчасъ она пользовалась чьимъ-то чужимъ, потеряннымъ или брошеннымъ счастьемъ; какъ бродяга грѣется въ холодную ночь у чужого костра, такъ и она согрѣвала свою сиротливую душу возлѣ чужого счастья. Этотъ рядъ годовъ, проведенныхъ среди веселящихся мужчинъ подъ косыми и презрительными взглядами женщинъ, эта постепенная и безнадежная оторванность отъ семьи и общества казались ей временемъ, промелькнувшимъ внѣ жизни. Не она ли сама за бокаломъ вина хохотала надъ вѣрными и строгими женами, которыя боятся за своихъ веселыхъ мужей и вѣчно стѣсняютъ ихъ свободу? Не она ли, цѣлуясь съ такими мужьями, смѣялась надъ женщинами, которыхъ зовутъ „порядочными", смѣялась надъ этой порядочностью, надъ семьей, надъ чадолюбивыми матерями? А теперь? Чего не заплатила бы она, чтобы сдѣлаться точно такой же, какъ всѣ эти осмѣянныя, чтобы стать именно такою, надъ которой смѣялись бы такъ же и такія же женщины, какъ она сама!

Она понимала, что для нея все было потеряно: на совѣсти лежали разладъ и разводъ, на имени лежало пятно, а впереди стояли старость и одиночество. И ей хотѣлось сказать ребенку: твоя мама такая же несчастная; не суди ее, когда выростешь; ей предстоитъ и безъ тебя тяжелая расплата.

Ольга Николаевна опустилась на колѣна передъ Ваней; совѣсть угнетала ее; счеты съ веселою жизнью сводились мучительно.

— Милый мой!—шептала она, и ей хотѣлось научить Ваню, какъ жить, какъ избѣгать соблазновъ, какъ относиться къ потеряннымъ людямъ, особенно къ женщинамъ, которыя страдаютъ больше другихъ. Она понимала, что все это вздоръ, что она смѣшна въ эту минуту, что ей будетъ стыдно, когда завтра она вспомнитъ про теперешнюю сцену, и все-таки она стояла на колѣнахъ, и было ей легко и радостно, и хотѣлось плакать.

Ваня зашевелился...

Ольга Николаевна испугалась, что разбудила его, но онъ не проснулся. Тогда она вернулась подъ свое одѣяло, пригрѣлась и сладко заснула.

XII.

— Докторъ, ей хуже! — тревожно сказалъ Александръ Ильичъ, встрѣчая Шпура, который пріѣхалъ на слѣдующій день.

— Посмотримъ,—серьезно и быстро отвѣтилъ тотъ, направляясь въ дѣтскую.

Людмила совсѣмъ перемѣнилась за ночь: шея отекла, лицо было потно и красно, губы посинѣли, а глаза точно въ ужасѣ были широко раскрыты. Она хваталась своими ослабѣвшими ручонками за высокія стѣнки кровати и старалась упереться въ нихъ, чтобы вздохнуть, но болѣзнь душила ее; дыханіе было трудное, почти насильственное и вылетало оно какъ свистъ, иногда вмѣстѣ съ слабымъ, безпомощнымъ стономъ... Нянька стояла мрачная и молчаливая, а Сидоръ не могъ взглянуть на дѣвочку безъ слезъ, онъ отворачивался, жмурилъ глаза и уходилъ сгорбившись, точно бѣда садилась ему на плечи. Страданія Людмилы были такъ очевидны и такъ непосильны, что даже Шпуръ ощутилъ въ себѣ безпокойство. Онъ молча осмотрѣлъ больную и долго сидѣлъ возлѣ нея, ухватившись за голову, точно силился изобрѣсти невѣроятное средство; онъ морщилъ лобъ, ерошилъ волосы и думалъ такъ усиленно, что самъ не замѣчалъ, какъ иногда вздергиваетъ плечи, словно въ удивленіи, и разводитъ руками; наконецъ, онъ вздохнулъ и досадливо щелкнулъ по колѣнкѣ ладонью.

— Нужна операція,—сухо проговорилъ онъ, вставая.—Положеніе трудное; болѣзнь прогрессируетъ.

Вмѣстѣ съ Березинымъ, который молчалъ и внутренно трепеталъ, они вышли въ залу.

— Положеніе трудное,—повторилъ Шпуръ,—медлить невозможно.

— Она умретъ?—со страхомъ, но не безъ надежды спросилъ Березинъ, и когда Шпуръ вмѣсто отвѣта пожалъ плечами, онъ умоляюще проговорилъ:—Спасите ее!

Голосъ Александра Ильича дрогнулъ. Возможность смерти и страхъ за ея близость словно бичемъ ударили его по нервамъ; онъ похолодѣлъ.

— Ради Бога!.. Консиліумъ, что ли... можетъ-быть спеціалистовъ нужно... Ради Бога, только спасите!

— Операція,—мрачно настаивалъ Шпуръ,—другого не знаю исхода. Поѣзжайте скорѣе къ Бабину или къ Мелькману, они спеціалисты, а я не берусь, я не хирургъ.

Опять полетѣли гонцы во всѣ стороны: кухарка въ аптеку, Сидоръ къ доктору, а Березинъ затворился въ своемъ кабинетѣ и сидѣлъ съ поблѣднѣвшимъ нахмуреннымъ лицомъ и глядѣлъ на икону. Онъ не молился, но думалъ, и даже не думалъ, а только чувствовалъ, что вокругъ него совершается нѣчто ужасное, несправедливое, грозное, но что есть еще какая-то сила, которая можетъ отразить эту бѣду, и ему ждалось этой силы въ защиту, какъ справедливости.

Когда пріѣхалъ Бабинъ и заявилъ, что нужно разрѣзать горло и вставить трубку, Александръ Ильичъ не могъ перенести этого. Онъ почувствовалъ слабость; холодный потъ выступилъ у него на лбу, задрожали колѣна и помутилось въ глазахъ. Отъ него требовали рѣшенія; медлить было нельзя. Онъ понималъ это, но ничего не могъ говорить.

— Простите, я сяду,—промолвилъ онъ, наконецъ; ему казалось, что у него кружится голова.

Онъ сѣлъ, но голова не кружилась.

Бабинъ стоялъ передъ нимъ строгій, нахмуренный,

и терпѣливо ожидалъ, глядя на него черезъ очки, опустивъ на грудь свою лохматую голову. Видъ его казался Березину страшнымъ—до такой степени лицо доктора было безстрастно и угрюмо, и вѣрилось, что у такого человѣка ни при какихъ ужасахъ не дрогнетъ рука.

— Болѣзнь слишкомъ овладѣла ребенкомъ,—послышался голосъ, безстрастный и холодный.—Операція неизбѣжна. Рѣшаетесь или нѣтъ?

Въ его рѣчи не слышалось даже вопроса, она звучала опредѣленно, неотразимо, какъ приговоръ.

Смущенный и измученный, Березинъ поднялся со стула. Языкъ не хотѣлъ повиноваться, ноги дрожали.

— Дѣлайте... что хотите...

Вымолвивъ это черезъ силу, Александръ Ильичъ приложилъ къ виску руку, словно у него заболѣли зубы, и крупными, но медленными шагами пошелъ черезъ всю комнату къ себѣ въ кабинетъ, сильно сгорбившись и ничего не слыша.

Что было далѣе, онъ не зналъ. Онъ отгонялъ отъ себя всѣ мысли, старался не думать, забыться, но впечатлѣніе страха не покидало его. Ему мерещилось разрѣзанное горло ребенка съ торчащею оттуда трубкой, и цѣлый часъ, пока не уѣхалъ докторъ, онъ сидѣлъ, облокотясь на столъ и зажавши уши, чтобы случайно не услыхать стона.

Какъ кончилась операція, какъ его вызвали въ залу, чтобы проститься съ докторомъ и отдать ему деньги, онъ ничего ясно не сознавалъ и дѣлалъ все, какъ въ туманѣ. Проходили часъ за часомъ, наступилъ уже вечеръ, а Березинъ не зналъ и не хотѣлъ знать, что теперь въ дѣтской. Онъ не могъ входить туда, не могъ рѣшиться даже спросить, что тамъ дѣлается; онъ чувствовалъ только ужасъ. Это былъ сплошной, безпощадный ужасъ и не предвидѣлось ему конца. Все было тихо, все точно замерло, и тишина эта еще болѣе угнетала душу.

Точно сквозь сонъ увидѣлъ Березинъ, какъ безъ шума отворилась дверь и въ кабинетъ вошелъ Сидоръ, а затѣмъ послышался его голосъ, тоже тихій и смущенный.

— Александръ Ильичъ... Барышнѣ очень плохо...

Березинъ даже выпрямился, какъ выпрямляются люди въ первый момент, когда ихъ неожиданно ранятъ. Потомъ онъ опять согнулся и ничего не отвѣтилъ, продолжая сидѣть.

Сидоръ помялся въ нерѣшительности и повернулся, чтобъ уйти, но вдругъ онъ всхлипнулъ и, стоя задомъ къ Александру Ильичу, добавилъ:

— Барышня-то наша... скончалась...

Березинъ вздрогнулъ и захлебнулся. Все въ немъ задрожало; и Сидоръ, и комната запылали радугой; голова его поникла сначала на грудь, потомъ на столъ и самъ онъ, наконецъ, перегнулся и легъ ничкомъ до полгруди, распластавши по столу руки; слезы ручьемъ брызнули изъ глазъ, свалилось и застучало пенснэ, и два-три нечаянныхъ стона, сорвавшихся точно украдкой, огласили зловѣщую тишину комнаты.

XIII.

Часовъ въ одиннадцать вечера Ольга Николаевна, какъ пріѣхала въ шубѣ и шапкѣ, такъ, не раздѣваясь и не снимая даже калошъ, торопливо прошла къ Березину въ кабинетъ. Она была очень взволнована и ничего не замѣчала кругомъ себя.

— Съ Ваней очень нехорошо,—сказала она не здороваясь.—Началось днемъ, я послала за докторомъ, а теперь онъ лежитъ и хрипитъ. Боже мой, какъ это ужасно!

Она всплеснула руками и почти крикнула на Александра Ильича.

— Да что-жъ вы сидите! Я просто съ ума схожу. Я голову потеряла!

— И я голову потерялъ,—отвѣтилъ Березинъ, медленно махнувши рукой:—Людмила умерла...

На лицѣ Ольги Николаевны отразился испугъ. Она прижала руку къ груди и, молча, словно не вѣря, глядѣла на Березина растерянными глазами. Тотъ тихо добавилъ:

— Пойдемъ. Взгляни.

Они молча вышли и направились въ дѣтскую. Александръ Ильичъ шелъ впереди; отворивъ двери, онъ указалъ въ уголъ и пропустилъ впередъ себя Ольгу Николаевну.

Быстрыми шумящими шагами приблизилась она къ столу, на которомъ лежала дѣвочка, одѣтая въ то самое платье, что было на ней въ именины; глаза ея были закрыты и лицо казалось вылѣпленнымъ изъ воска. Нянька, вся въ черномъ, словно монахиня, съ чернымъ платкомъ на головѣ, стояла возлѣ и, не отводя глазъ, съ улыбкой глядѣла на Людмилу, а по старымъ щекамъ ея струились слезы.

Ольга Николаевна перекрестилась и, опустясь на колѣна, поникла головой и заплакала, а Березинъ въ это время думалъ о Ванѣ. Ему хотѣлось спасти хоть его, если не удалось спасти Людмилу, но онъ такъ усталъ и ослабъ, такъ утомился горемъ, что ничего не могъ ни предпринять ни обдумать, и въ голову лѣзло что-то не то, чего онъ хотѣлъ. Ему думалось о Ванѣ, думалось о Людмилѣ, объ ея дѣтской душѣ: что будетъ съ нею? что ее можетъ ожидать?—и въ отвѣтъ вспоминались золотыя яблоки и садъ—дѣтское представленіе о будущей жизни, и смутно возникало сравненіе съ своей душой, на которой было столько тягости и грязи, что становилось противно.

Ольга Николаевна уѣхала, а Березинъ все думалъ о Ванѣ. Онъ зналъ, что на помощь будутъ призваны

сейчасъ же доктора и что ему нужно съѣздить туда, посмотрѣть и провѣдать, но вмѣсто того, чтобы ѣхать, онъ легъ на диванъ и все думалъ, какъ лучше поступить. Мысли его мѣшались.

Было уже за полночь, когда онъ явился къ Ольгѣ Николаевнѣ. Ваня въ забытьи лежалъ въ спальной поперекъ постели и трудно дышалъ.

— Что сказалъ докторъ?

Ольга Николаевна повела плечомъ.

— Заразился, когда ночевалъ съ Людмилой. Поздно разъединили.

— То же самое, значитъ?—спросилъ Березинъ упавшимъ голосомъ.—Тоже, значитъ, умретъ.

Онъ сморщился словно отъ внутренней спазмы и, сѣвши въ кресло, началъ медленно тереть себѣ лобъ рукой. Въ комнатѣ такъ же пахло карболкой и скипидаромъ, такъ же слышалось хриплое, трудное дыханіе мальчика и, казалось, между тою, недавнею ночью, и этою не было никакой разницы, только измѣнился одинъ Березинъ. Тогда онъ боялся и дрожалъ, а теперь покорно дожидался несчастія, которое ему казалось неотвратимымъ.

Онъ совершенно ослабъ. Разсѣянно вынулъ онъ пачку денегъ, передалъ Ольгѣ Николаевнѣ для докторовъ и, прося ее ничего не жалѣть, лишь бы спасти мальчика, уѣхалъ домой, почти не сознавая, что дѣлаетъ. Опомнился онъ только на другой день, когда похоронили Людмилу.

Опомнился, но не на долго. Онъ то и дѣло разъѣзжалъ отъ Ольги Николаевны домой и изъ дома къ Ольгѣ Николаевнѣ. Ему нигдѣ не сидѣлось. Встрѣчаясь съ докторами, онъ умолялъ ихъ спасти ребенка, ѣздилъ самъ въ аптеку, ѣздилъ къ новымъ докторамъ, отыскивалъ знаменитостей и всѣхъ умолялъ торопиться и спасти ради Бога. Ему обѣщали, и онъ успокаивался.

Разбитымъ и осиротѣлымъ вернулся онъ опять поздно ночью въ свой въ кабинетъ. Въ домѣ было пусто, уныло и тяжело. Тѣ лишенія, тѣ мелкія предосторожности, которыя смущали его въ прошломъ году, казались теперь настолько дорогими и милыми, что вызывали слезы, но уже не для кого было пробираться на цыпочкахъ, нечего было остерегаться шума...

Александръ Ильичъ сѣлъ за письменный столъ, досталъ бумагу и началъ писать къ сестрѣ. Онъ подробно разсказывалъ о болѣзни Людмилы, объ ея смерти и похоронахъ, писалъ о своихъ опасеніяхъ за Ваню, и ни одного упрека, ни одного слова о ней самой не написалъ онъ сестрѣ; онъ вспоминалъ лишь время, проведенное съ дѣтьми, вспоминалъ ихъ шалости, шумъ и капризы, и какъ только отрывался отъ письма и сознавалъ, что Людмила уже въ могилѣ, а Ваня хрипитъ и задыхается, схватывалъ себя обѣими руками за голову и трясся отъ неудержимыхъ рыданій. Ему казалось, что для него все на свѣтѣ было теперь потеряно; единственный свѣтлый лучъ въ его жизни блеснулъ и угасъ, и больше ничего уже не будетъ хорошаго. Вмѣстѣ съ горемъ возникало въ немъ и другое чувство—чувство стыда, укора, и совѣсть его была неспокойна. Онъ зналъ, что у него гдѣ-то есть свои собственныя дѣти; онъ навѣрно зналъ, что они есть, но гдѣ они, каковы они, что съ ними и живы ли,—онъ не зналъ. Проклятая холостая жизнь дѣлала его нечестнымъ даже въ его собственныхъ глазахъ... И опять вспоминалась Людмила съ ея довѣрчивой искренностью, смѣхомъ и лаской, и опять Березинъ чувствовалъ, что потерялъ съ нею все, все на свѣтѣ, а болѣзнь Вани его угнетала вконецъ. Онъ считалъ себя пошлымъ и несчастнымъ человѣкомъ, онъ презиралъ себя за то, что не внесъ въ жизнь ничего, кромѣ зла и пошлостей. Ему было больно и мерзко и онъ, не зная самъ, почему и зачѣмъ, опустился передъ образомъ на колѣна, по-

томъ, приникнувъ головой къ полу, не молясь и не думая ничего, залился снова горькими, искренними слезами.

XIV.

Черезъ два дня поутру, когда зимній разсвѣтъ едва-едва забрезжилъ, Ольгу Николаевну разбудили, и она, не одѣваясь, бросилась въ спальную.

На постели билось передъ ней маленькое существо, боролось за глото къ воздуха, закаждое дыханіе, и коречилось въ невѣроятныхъ мукахъ. Она видѣла, что Ваня задыхается, и въ испугѣ кричала только одно:

— Доктора! Боже мой! Доктора!

Пока побѣжали за докторомъ и къ Березину, пока Ольга Николаевна металась по комнатѣ, хватая пузырьки и прыская скипидаромъ, Ваня высоко приподнялъ грудь, стараясь черезъ силу вздохнуть хоть одинъ лишній разъ; ему не хватало воздуха, онъ умиралъ. Глаза его широко раскрылись и выражали ужасъ; взглядъ молилъ о пощадѣ, о помощи, но нечѣмъ было ему помочь, и Ольга Николаевна, въ отчаяніи, сдавивъ руками виски, глядѣла на него съ такимъ же ужасомъ, какъ и онъ. Блѣдное сѣрое утро заставало ее въ бездѣйствіи; докторъ не пріѣзжалъ. Она ничего не знала, ничего не могла сдѣлать.

Дыханіе мальчика становилось съ каждой секундой труднѣе, тяжелѣе, и, наконецъ, напрягши всѣ силы, Ваня потянулъ въ себя воздухъ, но подавился, издалъ глухой неопредѣленный звукъ и сразу вытянулся, замолчавши навѣки.

На другой день его хоронили.

Тузовъ рано поутру привезъ цѣлый картонъ цвѣтовъ; Ваню всего обложили розами и бѣлыми лиліями, а на крышку гроба прикрѣпили маленькій вѣнокъ изъ лавровъ и гіацинтовъ. Березинъ и Мюллеръ взялись за

ручки у изголовья гроба, а Ольга Николаевна и нянька за другія скобки, ближе къ ногамъ, и всѣ вчетверомъ они вынесли Ваню на улицу.

Головы мужчинъ были непокрыты; Сидоръ шелъ впереди всѣхъ, надѣвши на плѣшивую голову вмѣсто шляпы крышку съ вѣнкомъ, которая закрывала до половины его лицо, и никто не могъ видѣть подъ нею, какъ всю дорогу струились изъ его глазъ тихія слезы; будничный колоколъ уныло звучалъ, пронизывая пасмурный воздухъ рѣдкими, жидкими звуками; позади всѣхъ шелъ одиноко Керчинъ, держа въ одной рукѣ цилиндръ, въ другой тоненькую свѣчку, которая погасла отъ вѣтра.

Такъ провожали они своего общаго пріятеля. Отстояли обѣдню, прослушали отпѣваніе, и наступило время прощаться. Первымъ подошелъ Березинъ. Онъ нагнулся къ Ванѣ, желая поцѣловать, но приникнувъ губами къ холодному личику, затрясся и заплакалъ. Онъ не могъ оторваться отъ этого маленькаго ящика, который завладѣлъ дорогимъ ему существомъ. Онъ обливалъ обильными слезами Ваню, мялъ нѣжныя бѣлыя лиліи, ломавшіяся подъ его грудью и локтями, и, наконецъ, отошелъ въ сторону, перекрестивъ мальчика и все еще глядя на него издали. Потомъ приблизилась Ольга Николаевна, потомъ обступили Ваню съ обѣихъ сторонъ нянька и Сидоръ. Оба они плакали и цѣловали его, а Сидоръ сморщившись, широко открывалъ ротъ и хлебалъ воздухъ, точно задыхался, какъ подстрѣленная птица. Потомъ, когда подняли уже крышку, чтобы навѣки закрыть милое, блѣдное, бездыханное существо, Ольга Николаевна неожиданно бросилась къ нему, отвела рукой крышку и зарыдала на всю церковь, повалившись Ванѣ на грудь. Березинъ отвернулся и закрылся платкомъ, но по его вздрагивающей спинѣ было понятно, что онъ чувствовалъ въ это время.

Потомъ всѣ сѣли въ коляски и поѣхали въ монастырь. Александръ Ильичъ сидѣлъ визави съ Ольгой Николаевной, а на колѣнахъ у нихъ лежалъ Ваня, уже невидимый, заколоченный въ голубой атласный ящикъ; только лавры и гіацинты, сплетенные вѣнкомъ, лежали открытыми наверху, да колыхались золоченыя кисточки; больше ничего не было видно: больше ничего не оставалось отъ Вани.

Ольга Николаевна и Березинъ оба были сосредоточены, оба сидѣли безнадежно печальные, не проронивъ во всю дорогу ни единаго слова.

XV.

Осиротѣлъ и затихъ березинскій домъ. Замолкли въ немъ рѣзвые, веселые голоса, капризные крики, лепетъ, шумная бѣготня; все затихло, все кончилось. Остался просторъ и свобода для прежней холостой жизни.

„Ну, живи! — съ горечью думалъ про себя Березинъ,—ну, веселись! Никто тебя теперь не стѣсняетъ, никто не тревожитъ!“ Онъ нарочно смѣялся надъ собой и бичевалъ себя такими думами, чтобы стало еще больнѣе. Холостая свободная жизнь была уже для него противна, она казалась ему пустыней и грязной трясиной, гдѣ самъ онъ убилъ всѣ зачатки радостей, и часто, въ минуты такого раздумья, хватаясь за голову, онъ съ омерзѣніемъ и съ злой насмѣшкой говорилъ самъ себѣ: „Подлецъ ты, старый подлецъ!..“

Иногда снились ему Людмила и Ваня, и онъ просыпался съ улыбкой, пока дѣйствительность не заставляла его вздрогнуть. Одиноко блуждалъ онъ по своему дому, останавливаясь то въ бывшей дѣтской, гдѣ между двойныхъ рамъ все еще стояли раскрашенные генералы, глядѣвшіе на улицу, то въ залѣ, куда выдви-

нули въ ту страшную ночь Ванину кроватку, то задумывался надъ портретомъ Ольги Николаевны и чувствовалъ, что несчастіе связало ихъ души чѣмъ-то добрымъ и честнымъ, совсѣмъ не такимъ, чѣмъ были они связаны раньше. Часто, лежа на диванѣ, онъ подробно вспоминалъ слова, разговоры, шалости и все, что теперь казалось ему мило и дорого; иногда онъ снова переживалъ весь ужасъ послѣднихъ дней болѣзни и смерти; тогда душа его возмущалась, онъ роптал, не понимая, для чего возникли эти двѣ жизни, зачѣмъ погасли такъ рано, зачѣмъ страдали... Все казалось ему ненужнымъ, безцѣльнымъ, несправедливымъ.

Однажды, подойдя къ шкапу, который безъ надобности стоялъ въ дѣтской, Александръ Ильичъ отворилъ дверь; тамъ, на пустыхъ полкахъ лежали разсыпанныя старыя карты, отданныя когда-то Ванѣ, а внизу валялся на боку пушистый козелъ, съ бѣлой шерстью, безъ ноги, съ кривой головой. Держась за отворенную дверь и глядя въ шкапъ, Березинъ залюбовался обломками, какъ драгоцѣнной картиной; свѣтлыя, чистыя воспоминанія волновали и сладко мучили его душу. Ему чувствовалось, что-то нѣжное, ласкающее, думалось что-то хорошее, и онъ съ улыбкою взялъ за сломанную ногу козла, поглядѣлъ на него, погладилъ, и была минута, когда ему хотѣлось поцѣловать его.

Послѣ заразы было необходимо провѣтрить домъ, было нужно и самому провѣтриться, и Березинъ рѣшилъ уѣхать до лѣта во Францію, поселиться тамъ гдѣ-нибудь на берегу моря и отдохнуть, а хозяйство оставить на Сидора и на няньку.

— Мы вмѣстѣ поѣдемъ,—сказалъ онъ Ольгѣ Николаевнѣ.—Безъ тебя мнѣ тяжело теперь...

На вокзалъ собрались проводить ихъ старые прія-

тели. Всѣ они понимали настроеніе Березина, и никто не позволялъ себѣ съ Ольгой Николаевной, какъ прежде, ни двусмысленнаго взгляда, ни шутки, ни игриваго словечка. Прощаясь съ нею, они поцѣловали у нея руку, и Ольга Николаевна чувствовала, что эти поцѣлуи— простая вѣжливость, что такъ же цѣловали бы они, если-бъ она была не прежняя Ольга Николаевна, позволявшая имъ цѣловать себя въ губы, обнимать за талію и безнаказанно сажать къ себѣ на колѣна, а просто знакомая дама, принадлежащая семьѣ и своему мужу,—обыкновенная „порядочная“ женщина, съ которой необходима вѣжливость и невозможна никакая вольность. Она съ гордостью сознавала за собой эту утраченную защиту и чувствовала облегченіе, обновленіе, почти счастье.

— Пойдемъ, Леля!—сказалъ Березинъ, никогда не называвшій ее такъ при другихъ.—До свиданія, господа! До весны! Весной вернемся!

Поѣздъ тронулся, пріятели замахали шляпами, и всякій изъ нихъ сознавалъ, что Березинъ погибъ для нихъ навсегда.

ДУЭЛЬ.

Было раннее утро... Владиміръ Борисовичъ Кладуновъ, стройный молодой человѣкъ, лѣтъ 22, по виду почти мальчикъ, съ красивымъ лицомъ и бѣлокурыми курчавыми волосами, одѣтый въ офицерскій сюртукъ и высокіе сапоги, безъ шинели и безъ фуражки, стоялъ на полянѣ, запушенной свѣжимъ снѣгомъ, и глядѣлъ на другого офицера, усатаго и краснолицаго, который шагахъ въ тридцати находился передъ нимъ и медленно наводилъ пистолетъ, направляя дуло въ Владиміра Борисовича.

Съ скрещенными на груди руками, держа въ одной пистолетъ, Кладуновъ дожидался выстрѣла почти равнодушно; красивая пренебрежительная улыбка озаряла смѣлостью его лицо, которое было, однако, блѣдно. Его опасное положеніе и безпощадная серьезность его противника, напряженное вниманіе секундантовъ, молча стоявшихъ въ сторонѣ, и возможность близкой смерти дѣлали эту минуту страшной, таинственной и почти торжественной. Рѣшался вопросъ чести. Всѣ чувствовали важность этого вопроса, и торжественность минуты была тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе они сознавали, что дѣлаютъ...

Грянулъ выстрѣлъ; всѣ вздрогнули. Кладуновъ взмахнулъ рукою, подогнулъ колѣна и повалился. Опрокинутый, онъ лежалъ въ снѣгу съ пробитой головой, разметавши кое-какъ руки; все лицо его и во-

лосы и даже снѣгъ возлѣ головы были въ крови. Подбѣжавшіе секунданты приподняли его, докторъ засвидѣтельствовалъ смерть, и вопросъ чести былъ разрѣшенъ. Оставалось только объявить эту новость въ полку, да какъ-нибудь поумнѣе передать извѣстіе матери Кладунова, которую оставили сиротой, убивъ ея единственнаго сына. Объ этомъ раньше никто не подумалъ, но теперь задумались всѣ. Ее всѣ знали и всѣ любили, и было необходимо ее подготовить постепенно къ недоброй вѣсти. Этимъ вѣстникомъ выбрали Голубенко, который долженъ былъ сейчасъ же ѣхать впередъ и все, по возможности, уладить.

Пелагея Петровна только что встала и заварила утренній чай, когда въ комнату вошелъ Голубенко, мрачный и смущенный.

— Прямо къ чаю, Иванъ Ивановичъ!—привѣтливо воскликнула старушка, встрѣчая гостя.—Вы, вѣрно, къ Володѣ?

Голубенко замялся.

— Нѣтъ, я... такъ, мимоходомъ.

— А Володя спитъ, ужъ вы его извините. Вчера цѣлую ночь прошагалъ у себя по комнатѣ, я его и будить не велѣла, благо—праздникъ. Можетъ быть, у васъ до него дѣло?

— Нѣтъ, я такъ...

— А то я велю разбудить?

— Нѣтъ, не безпокойтесь.

Пелагея Петровна, все-таки, не успокоилась и, что-то говоря, вышла изъ комнаты, а Голубенко, ломая руки, взволнованно шагалъ изъ угла въ уголъ, не зная, съ чего начинать. Наступала рѣшительная минута, но онъ терялся, боялся и проклиналъ судьбу, замѣшавшую его въ это дѣло.

— Вотъ вамъ, молодымъ людямъ, и вѣрь послѣ этого!—добродушно сказала Пелагея Петровна, возвращаясь къ гостю.—Я тутъ забочусь, какъ бы чашкой не

загремѣть, да васъ уговариваю не будить, а моего молодчика давно и слѣдъ простылъ! Да присядьте, Иванъ Ивановичъ, выпейте чайку; вы и то насъ совсѣмъ позабыли.

Она улыбнулась и съ затаенной радостью тихо добавила.

— А у насъ за это время сколько новаго!.. Володя ужъ навѣрно не утерпѣлъ и все вамъ разсказалъ; у него вѣдь, что на душѣ, то и на языкѣ. Я ужъ вчера, грѣшнымъ дѣломъ, подумала: „Ну, зашагалъ мой Володенька на цѣлую ночь—значитъ о Леночкѣ замечтался!“ Это ужъ съ нимъ всегда такъ: если шагаетъ всю ночь, значитъ поутру уѣдетъ... Ахъ, Иванъ Ивановичъ! Одного только и прошу у Господа, чтобы на старости лѣтъ привелъ порадоваться. Вѣдь мнѣ, старухѣ, ничего не нужно; одна у меня мечта, одна радость... Ужъ, кажется, и молиться больше будетъ не о чемъ, если Леночка съ Володей повѣнчаются. Ужъ такъ была бы я рада, такъ счастлива!.. Кромѣ Володи, мнѣ ничего не нужно. Дороже его счастья у меня ничего нѣтъ.

Старушка растрогалась и даже вытерла заслезившіеся глаза.

— Помните,—продолжала она,—у нихъ тутъ все что-то не ладилось... то между собой, то съ этими деньгами... Вѣдь вамъ, молодымъ офицерамъ, и жениться-то не позволяютъ безъ залога... Ну, такъ теперь все это уладилось: пять тысячъ я Володѣ нашла, хоть завтра подъ вѣнецъ! Да и Леночка мнѣ письмо написала, такое хорошее письмо... сердце радуется!

Продолжая говорить, Пелагея Петровна вынула изъ кармана письмо и, показавъ его Голубенкѣ, спрятала обратно.

— Такая милая дѣвушка! такая хорошая!

А Голубенко, слушая ее, сидѣлъ, какъ на горячихъ угольяхъ. Ему хотѣлось прервать эту рѣчь, хотѣлось сказать, что все кончено, что Володя убитъ, что черезъ

часъ отъ всѣхъ ея надеждъ не останется ничего, но онъ слушалъ ее и молчалъ и, глядя на это доброе лицо, чувствовалъ, какъ спазмы душатъ ему горло.

— Да что вы такой нынче сердитый?—наконецъ, спросила старуха.—На васъ просто лица нѣтъ!

Голубенко хотѣлъ отвѣтить: „да! и на васъ не будетъ лица, когда я откроюсь!“, но вмѣсто того, чтобы сказать что-нибудь, онъ отвернулся и началъ вертѣть усы.

Пелагея Петровна не замѣтила этого и, занятая своими мыслями, продолжала:

— У меня и на вашу долю есть поклонъ. Леночка пишетъ, чтобъ я кланялась Ивану Ивановичу, да заставила бы его пріѣхать къ нимъ вмѣстѣ съ Володей... Она вѣдь васъ очень любитъ, Иванъ Ивановичъ!... Нѣтъ, ужъ видно, не утерплю, покажу вамъ это письмо. Посмотрите, какое хорошее.

И Пелагея Петровна снова достала изъ кармана пакетъ, бережно вынула листикъ почтовой бумаги, исписанный мелкимъ почеркомъ, и развернула его передъ Голубенкомъ, который еще болѣе нахмурился и хотѣлъ было отстранить рукою протянутую записку, но Пелагея Петровна уже начала читать:

„Дорогая Пелагея Петровна, когда же, наконецъ, настанетъ время, что мнѣ будетъ можно называть васъ не такъ, а милой, дорогой мамой! Я такъ жду этого, такъ надѣюсь, что все это скоро, очень скоро сбудется, что и теперь болѣе не хочу называть васъ иначе, какъ мамой...“

Пелагея Петровна подняла голову и, переставъ читать, съ улыбкою взглянула на Голубенку полными слезъ глазами.

— Видите, Иванъ Ивановичъ!—добавила она, но, увидавъ, что Голубенко кусаетъ губы, и его глаза тоже овлажнились, встала, положила ему на волосы дрожащую руку и тихо поцѣловала въ лобъ.—Спасибо вамъ,

Иванъ Ивановичъ!—прошептала она, растрогавшись.— Я всегда думала, что вы съ Володей живете не только какъ друзья, а какъ братья... Простите мнѣ... я ужъ очень счастлива, слава Богу!

У нея даже закапали слезы, а Голубенко до того смутился и растерялся, что схватилъ ея костлявую холодную руку и началъ покрывать поцѣлуями; его душили слезы, онъ ничего не могъ выговорить, но въ этомъ порывѣ материнскаго сердца онъ почувствовалъ себѣ такой страшный упрекъ, что предпочелъ бы самъ валяться въ полѣ съ пробитой головой, чѣмъ выслушивать похвалы за дружбу и братство. Вѣдь еще какихъ-нибудь полчаса, и Пелагея Петровна узнаетъ всю истину, и какъ она назоветъ его черезъ эти полчаса? Не онъ ли, этотъ другъ, стоялъ молча, когда въ Володю цѣлились изъ пистолета? Не онъ ли, этотъ братъ, самъ отмѣривалъ шаги и вкладывалъ пули? Все это дѣлалъ онъ, дѣлалъ сознательно. И теперь, этотъ другъ и братъ сидитъ и молчитъ, не имѣя мужества исполнить своего долга.

Онъ робѣлъ и смущался, онъ презиралъ себя въ эту минуту, но не могъ принудить себя выговорить хоть слово. Его душу угнеталъ какой-то непонятный разладъ; ему было нестерпимо больно и душно. А время все шло... Онъ понималъ это, и чѣмъ болѣе понималъ, тѣмъ менѣе оставалось у него силъ, чтобы отнять у Пелагеи Петровны послѣднія счастливыя минуты. Что ей сказать? Какъ ее подготовить? Голубенко совершенно терялъ голову.

Онъ уже тысячи разъ успѣлъ мысленно проклясть всѣ дуэли, всѣ ссоры и всякое геройство, и всякую честь и, наконецъ, всталъ готовый не то сознаться, не то убѣжать. Онъ молча и быстро поймалъ руку Пелагеи Петровны, приникнулъ къ ней губами и, скрывая свое лицо, по которому внезапно заструились слезы, не помня себя, бросился въ прихожую, сорвалъ съ вѣ-

шалки шинель и убѣжалъ изъ дома, не сказавши ни слова.

Пелагея Петровна удивленно поглядѣла ему вслѣдъ и подумала:

„Вѣрно, тоже влюбленъ, бѣдняжка... Ну, да ихнее молодое горе—передъ счастіемъ!..“

И сейчасъ же забылась въ мечтахъ о своемъ близкомъ счастіи, которое казалось ей ненарушимымъ и полнымъ.

Конецъ.

Въ товариществѣ «ЗНАНІЕ» поступило въ продажу:

ШЕЛЛИ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ, ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА.

НОВОЕ ТРЕХТОМНОЕ ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНІЕ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Содержаніе перваго тома:

1. **Лирика.** 186 стихотвореній.
2. **Царица Мабъ.** Поэма.
3. **Примѣчанія Шелли къ «Царицѣ Мабъ».**
4. **Демонъ міра.** Поэма.
5. **Аласторъ.** Поэма.

Геліогравюра Дюжардэна, изображающая Шелли.
Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 руб.

Печатается **ТОМЪ ВТОРОЙ.**

Содержаніе второго тома:

1. **Возмущеніе Ислама** (Лаонъ и Цитна). Поэма.
2. **Царевичъ Атаназъ.** Отрывокъ.
3. **Строки, написанныя среди Евганейскихъ холмовъ.**
4. **Розалинда и Елена.** Современная эклога.
5. **Юліанъ и Маддало.** Бесѣда.
6. **Освобожденный Прометей.** Лирическая драма.
7. **Ченчи.** Трагедія.

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за пересылку не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу: Контора т-ва «ЗНАНІЕ», Спб., Невскій, 92.

Въ товариществѣ «ЗНАНІЕ» поступили въ продажу:

1. Эсхилъ. СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эсхила.
Цѣна **30** к.

2. Софоклъ. ЭДИПЪ-ЦАРЬ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.
Цѣна **40** к.

3. Софоклъ. ЭДИПЪ ВЪ КОЛОНѢ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.
Цѣна **40** к.

4. Софоклъ. АНТИГОНА.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.
Цѣна **40** к.

5. Эврипидъ. МЕДЕЯ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эврипида.
Цѣна **40** к.

6. Эврипидъ. ИППОЛИТЪ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эврипида.
Цѣна **40** к.

7. Платонъ. ПИРЪ.

Философская поэма. Иллюстраціи: снимки съ бюстовъ Платона, Сократа, Аристофана, Алкивіада; картины пира по древне-греческимъ вазамъ; снимки со статуй и рельефовъ; снимокъ съ картины «Пиръ» Фейербаха. Цѣна **60** к.

8. Лонгфелло. ПѢСНЬ о ГАЙАВАТѢ.

Переводъ И. А. Бунина. Въ стихахъ. Роскошно-иллюстрированное изданіе: около **400** рисунковъ въ текстѣ; портретъ Лонгфелло и **22** большихъ рисунка на отдѣльныхъ таблицахъ. Цѣна **2** р.

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за пересылку не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу: Контора т-ва «ЗНАНІЕ», Спб., Невскій, 92.

ЙИ.

схна.

фокъ

).

фокъ.

фокъ.

пда.

пда.

гона,

реч-

кар-

).

ван-

елю

р.

лку

есу

Stanford University Libraries
3 6105 124 451 225

PG
3470
T37A15
v. 1

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.